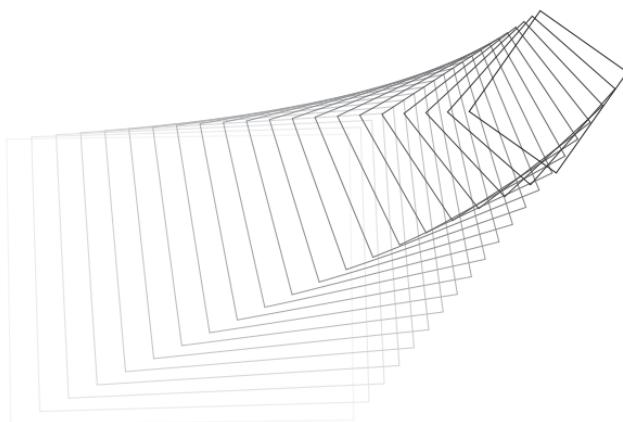


КАРТИНЫ РУССКОГО МИРА



Издано при финансовой поддержке
федерального Агентства по печати и массовым
коммуникациям в рамках федеральной целевой
программы “Культура России”.

**КАРТИНЫ
РУССКОГО МИРА:
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
МОДЕЛИ В ЯЗЫКЕ
И ТЕКСТЕ**

Томск 2007

УДК 811.161.1
ББК 81
К27

Авторы: *Р. Н. Порядина, Л. Г. Гынгазова,
Ю. А. Эмер, И. В. Тубалова, Ю. В. Королева,
Л. П. Дронова, С. А. Толстик, Д. А. Катунин,
Л. И. Ермоленкина, З. И. Резанова*

Рецензенты: докт. филол. наук *Н. В. Халина,*
канд. филол. наук *О. В. Седельникова*

Художественное оформление
Владислав Куприянов

К27 **Картины** русского мира: пространственные модели в языке и тексте / Р. Н. Порядина, Л. Г. Гынгазова, Ю. А. Эмер и др. Отв. ред. — проф. З. И. Резанова. — Томск: UFO-Plus, 2007. — 384 с.

ISBN 978-5-91532-004-7

В монографии раскрываются особенности национального миро-моделирования, отражённые в разных формах бытования русского языка и его дискурсах. Проблема рассматривается на примере одной из базовых категорий человеческого мышления — категории пространства, осмысление которого играет важную роль в понимании и представлении времени, общественных и межличностных отношений и других абстрактных сущностей.

Книга адресована всем интересующимся проблемами языка и культуры.

Images of Russian World: Space Models in Language and Text.
The monograph describes the peculiarities of national world-modelling reflected in a variety of forms of the Russian language and its discourses. The problem is discussed on the material of one of the basic categories of human thinking - the category of space. To understand this category is crucial for realising and picturing time, public and interpersonal relations and other abstract notions.

The book is recommended for general public interested in problems of language and culture.

УДК 811.161.1
ББК 81

© Р. Н. Порядина, Л. Г. Гынгазова,
Ю. А. Эмер, И. В. Тубалова, Ю. В. Королева,
Л. П. Дронова, С. А. Толстик,
Д. А. Катунин, Л. И. Ермоленкина,
З. И. Резанова, 2007
© UFO-Plus, 2007

ISBN 978-5-91532-004-7

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пространство принадлежит к числу естественных категорий, через которые обыденный человек воспринимает, переживает и рефлексирует мир, себя как часть мира. Переживание пространства — один из аспектов непосредственного существования человека в физическом мире, вследствие чего оно находит множественные отражения в визуальных, тактильных образах, как статических, так и динамических, действенных. Глубинное и в то же время естественное, данное в ощущении физическое пространство служит своеобразной гносеологической основой познания других аспектов бытия человека и мира, человек формирует умозрительное пространство души и пространство мысли, социальное и духовное пространство.

Фундаментальность этой категории, ее бытийная всеобщность находит бесконечные отражения в свидетельствах языкового опыта человека. Перефразируя известное выражение А. А. Потебни, можно сказать, что формирование научной, абстрактной категории пространства опирается на многовековую работу поколений безымянных мыслителей, зафиксированную в лексике языка, в его словообразовательных, морфологических, синтаксических структурах, формирующих его смысловую бесконечность. И в этом смысле пространство и язык предстают как соразмерные величины: фундаментальность категории обретает многоуровне-

вые, многомерные, разноспектные языковые интерпретации.

Проблема языковой репрезентации категории пространства предстает как одна из вечных тем языкознания, филологии, философии. Осознание смысловой неисчерпанности любой теоретической рефлексии данной проблемы предопределило то, что авторы монографии отказались от показавшейся излишней логизации объекта, представив палитру разных подходов к проблеме.

Исследования опираются на материал русского языка, моделируя образы пространства в русской языковой картине мира. Монография включает две части. В первой части “Пространственные модели мира” в центре внимания находятся собственно содержательные аспекты пространственного моделирования в языковой системе и дискурсах. Анализ трансформаций образов физического пространства как основы моделирования аспектов умопостигаемой реальности в различных текстах и дискурсах (Р. Н. Порядина) сочетается с описанием пространственных категорий, реализующихся в дискурсе языковой личности носителя традиционной культуры (Л. Г. Гынгазова).

Исследование способов текстовой и дискурсивной организации праздничного пространства, представленного в противопоставлении бытовому и выстраиваемого в соответствии с архаической ритуально-мифологической моделью (И. В. Тубалова, Ю. А. Эмер), дополняется описанием дискурсивных и жанровых вариаций текстовых воплощений пространственной семантики как фрагмента фольклорной картины мира (Ю. А. Эмер).

Проживая бесконечные вариации тестовых воплощений, смысловые категории, в том

числе и категория пространства, обретают устойчивые формы воплощения в языковых структурах: лексемах, морфемах, деривационных моделях и т. д.

Пространственные компоненты динамических фрагментов картины мира, зафиксированных в глагольной семантике, и их приставочные трансформации в современном русском языке описывает Ю. В. Королева.

Синхронно-динамический и синхронно-аналитический взгляды на способы языковой презентации категории пространства дополняются взглядом диахроническим. Глубокие исторические корни взаимодействия категорий пространства и общей оценки, пространства и категории бытийности выявляются Л. П. Дроновой. С. А. Толстик на основе комплексного историко-этимологического и лингвокультурологического анализа устанавливает варианты соотношения пространственных характеристик человека и оценочности в русской языковой картине мира.

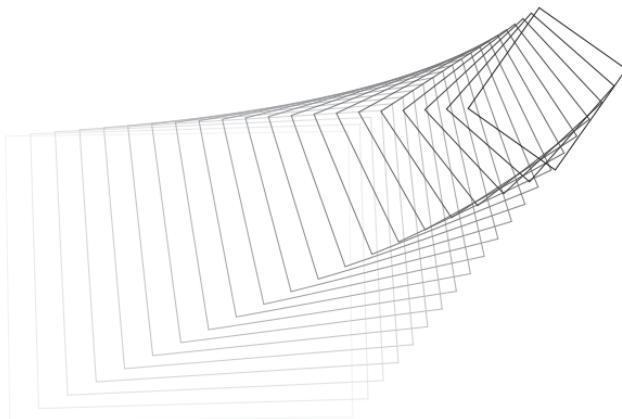
7

Авторы второй части “Метафорическое моделирование пространства” наряду с содержательным анализом актуализируют моменты “языковой техники” в процессах и результатах языкового пространственного моделирования, исследуя метафорическое моделирование сфер умозрительного — идеального пространства в качестве одного из основных приемов языковой интерпретации.

Д. А. Катунин вычленяет и описывает исходные пространственные значения, посредством которых метафорически интерпретируется категория времени в русском языке на системном (модельном) уровне. Метафорическое моделирование этической и эстетической оценки на основе пространственных образов состав-

ляет предмет исследования Л. И. Ермоленкиной. З. И. Резанова представляет варианты метафорического моделирования образов языка на основе семантики пространства в лингвистическом научном тексте.

1. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ МИРА



1.1. ДИСКУРСИВНЫЕ МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВА

1.1.1

ДУХОВНЫЙ МИР В ОБРАЗАХ ПРОСТРАНСТВА

В основу проведенного в разделе анализа положена идея общности моделей восприятия мира физического, природного и духовного. Образы пространственного топоса, прототипы географического пространства выступают как эталоны обработки информации о способе существования человека в природном и социальном мире. Организация природного универсума переносится на одухотворенный мир человека, проявленный в языке и культуре. Рассматривается модель движения в пространстве, модель пространственной границы, вертикальная модель “верх – низ”, объемная модель “внутренний – внешний” и дистанционная модель “близкий – далекий”, “приближение – удаление”.

Пространственные отношения предстают в наивной языковой картине мира как расположение предметов относительно человека и относительно других предметов¹. Определяю-

щим при этом является позиция человека, его взгляд на фрагмент топоса, потому что указание на положение предметов зависит от ориентационных предпочтений участников общения. Абсолютность (обязательность) участия человека в пространственно-временной структурированности мира объясняется тем, что прежде всего наличие другого и, следовательно, расположение человека и другого (предмета, лица) конституирует пространство, а наличие события, участником или свидетелем которого становится человек, творит время, синтезирует время и пространство своим динамическим проявлением. Подобная интерпретация пространственно-временных отношений выражена в стихотворении И. А. Бродского “Натюрморт”, где природа равна человеку по своим качествам, также обладает эгоцентричностью и творит пространство: *Вещь не стоит. И не // движется. Это — бред. // Вещь есть пространство, вне // коего вещи нет. // ... Дерево. Тень. Земля // под деревом для корней. // Корявые вензеля. // Глина. Гряды камней. // Корни. Их переплет. // Камень, чей личный груз // освобождает от // данной системы уз. // Он неподвижен. Ни // сдвинуть, ни унести. // Тень. Человек в тени, // словно рыба в сети.* Вещное описание бытия приводит к философскому пониманию пространства, не имеющего никакого другого свойства, кроме возможности быть заполненным². “Пространство не является простым вместилищем объектов, а скорее наоборот — конституируется ими, и в этом смысле оно вторично по отношению к объектам. Поскольку часто пространство ощущается, воспринимается именно через “эмансацию” вещей, его заполняющих, для описания пространственных отношений релевантны такие признаки, как “по-

ложение наблюдателя”, “характер и условия восприятия” и под.”³

Отношение “пространство — человек” видится И. А. Бродским через модель “пространство — самоутверждение”: *Всякое перемещение по плоскости, не продиктованное физической необходимостью, есть пространственная форма самоутверждения, будь то строительство империи или туризм*⁴. Высказанная поэтом мысль через инвариант модели “пространство — восприятие”, дополненной Бродским категорией “воля”, совпадает с философским осмыслением пространства: “Пространство — то, что является общим всем переживаниям, возникающим благодаря органам чувств”, форма всех явлений внешних органов чувств, “формальное свойство всякого восприятия внешнего мира, благодаря чему только и возможны наши внешние наглядные представления”⁵.

В силу первичности восприятия пространства, в силу наивысшей абстрактности и субъективности пространственные модели восприятия действительности оказываются естественным и удобным механизмом для осмысления отношений типа “человек — человек”, “человек — общество”, “человек — мир”.

Наиболее общими и распространенными являются следующие пространственные модели: вертикальная, поверхностная, фасад, внутренность, упорядоченность⁶. Модели физического пространства заимствуются как образцы осмысления при постижении явлений внутреннего, психического мира человека и переносятся на восприятие духовных сущностей. Примером может служить анализ концептов *земля*⁷, *ум, сердце, совесть, душа, мысль*⁸, *стыд, сознание, совесть*⁹, *мотив, причина, действие, цель*¹⁰, которые интерпретируются через вписанность в

разные пространственные модели, главным образом, имеющие вертикальную, горизонтальную, внутренне-внешнюю и круговую организацию. Внутренний, духовный мир человека осмыслиается по аналогии с внешним, по его образу и подобию. Невидимому, неосознанному придаются черты видимых объектов и отношений. Понятие *пространство* метафоризируется, что отражается в номинациях типа *социальное, культурное, информационное, семантическое пространство*. Центром метафорического пространства выступает человек. Антропологический мир проступает в семиотическое бытие в образах и именах пространства.

Понятие *духовный мир* понимается широко, исходит из употребляемого в настоящее время философского понятия духа как противоположного природе¹¹. Одна из форм бытия духа — “объективный дух” — это совокупность возможных предикатов к субъекту “народ”, он проявляется в общем духовном достоянии, к которому относится прежде всего язык, господствующие ценности, мораль, мировоззрение; в наиболее чистом и ясном виде объективный дух проявляется в сфере логического: в нормах мышления, в понятии и суждении¹². Духовный мир — это ментальность, явленная посредством языка. Выработанные модели видения предметных отношений переносятся на интерпретацию отношений в системе “общество”: межличностных, социальных, мифологических, которые относятся к явлениям духовного порядка.

Представим анализ нескольких фрагментов мира духовной жизни человека, в которых основным предметом рефлексии выступает способ существования человека в природном и социальном мире. В выбранных для описания фрагментах воззрения об устройстве жизни

выстраиваются на базе пространственных прототипов восприятия. Задача исследования состоит в обнаружении пространственных моделей, задействованных при осмыслинении каждого из рассматриваемых ниже тематических блоков, способов их языковой и текстовой представленности.

Мифопоэтическая трактовка “пути” как “преодоления преграды”

Пространственная динамическая модель “движение (перемещение) в пространстве” воплощается в образе пути, который предполагает начало и конец, приход — уход, встречу и разлуку, преграду и ее преодоление.

На основе общих сем ‘начало’, ‘конец’, ‘движение’, ‘направление’, ‘образ жизни’, образующих значение слов *путь* и *жизнь*, строится метафора “жизнь — это путь”. Динамическая модель концепта **ЖИЗНЬ**, обозначенная значениями ‘существование вообще, бытие в движении и развитии’, ‘состояние организма в стадии роста, развития и разрушения’, и временная модель, представленная значением ‘время от рождения до смерти человека или животного’¹³, дополняются пространственной, воплощенной в словосочетаниях *жизненный путь, на дорогах жизни* и поэтических сравнениях и метафорах: *Жизнь прожить — не поле перейти* (Б. Пастернак. Гамлет); *Нас быстро годы почтовые // С корчмы довозят до корчмы, // И снами теми путевые //* Прогоны жизни платим мы (Е. Баратынский. Дорога жизни); *Земную жизнь, пройдя до половины, // Я очутился в сумрачном лесу, // Утратив правый путь во тьме долины* (А. Данте. Божественная комедия). Ряды метафор порождаются перенесением маркеров пути на важней-

шие этапы жизни, в результате возникают лексические замены по моделям “начало / конец” — “рождение / смерть”, “приезд / отъезд” — “встреча / разлука”, “сойтись / разойтись” — “женитьба / развод”, “свобода / преграда” — “счастье / несчастье”.

То, что нарушает плавное течение жизни, воспринимается как преграда. Собственно слово *преграда* употребляется в русских среднеобских говорах в прямом значении — ‘то, что преграждает путь’: *Какая бы только не была преграда — всё, никаких отступлений [на войне]*¹⁴. Словами *трудность, несчастье, горе, напасть, война, смерть* и другими подобными называется то, что человеку надо пережить, преодолеть, как преграду, на жизненном пути: *Сколько дней у бога напереди, столько напастей*¹⁵; *Нужно все трудности переживать — тода будешь ты человеком; Ой, столько пережить было токо, столько пережить горя; Седьмой год уж муж умер, контуженный, ленинградскую блокаду пережил; Чё люди в войну не переживали; Никого я не видала, кроме тяжелой работы, трудностей, бедноты и всё; Сколько, правда, человек перенесёт всяких трудностей!; А тут эти вумерли, сынок да сноха, я так ревела, без сознания издалась, и вот полгода уже прошло, и всё плачу каждый день. До чё мне их жалко, трудно пережить!; Пожар перетерпела, обокрали меня, всё пережила; Мне не всё, говорит, плакать, // Мне не всё перетужить, // Половина нужно горечка // На счастье положить (частуш.)*¹⁶.

Если в современных диалектных текстах понятие *препятствия* детализируется лексическими абстрактными именованиями разных проявлений несчастья, которые случаются в жизни человека, то в фольклоре оно получает конкретно-образное, символическое развитие.

Трагические события сопрягаются с обозначением водного пространства и символикой смерти: герой сообщает о намерении утопиться (*Потеряла колечко, // Потеряла я любовь. // Как по этому колечку // Буду плакать день и ночь, // Пойду в море утоплюсь*¹⁷) или гибнет в воде по чужой воле: *И старшая младшую // Столкнула с бережка: // “Тони, тони, сестрица, // До самого до дна. // Скажи, скажи, сестрица, // Холодна ли вода?”*...

Символ направлен на обнажение принципа жизни¹⁸. Наблюдение за миром природы проецируется на законы человеческого существования. В этом состоит суть мифологической структуры мышления¹⁹. Естественные преграды, возникающие на пути движения человека, ассоциируются с трудными жизненными ситуациями, а необходимость продолжить путь и наладить дорогу связывается в сознании со способами преодоления препятствий любого рода. Мифопоэтическая трактовка “пути” как “преодоления преграды” получает в разных культурах широкое развитие. *Вода* в значении ‘водоём’, *река, море* являются наиболее распространёнными образами преграды в русском фольклоре. С другой стороны, конфликтные ситуации, происходящие при взаимодействии человека с природой, тяготеют к мифологизации, к выработке поэтических аллюзий, в каком виде и проникают в народнопоэтическую традицию. Вода создает преграду на пути, поэтому она может символизировать границу между пространствами, которые интерпретируются по-разному. Поскольку в русском фольклоре вода отождествляется со смертью, реконструируется мифологическая модель “в том месте, где начинается вода, проходит граница земного и неземного, враждебного мира”, что подтверждается сочетанием

слов, содержащих семы ‘водное пространство’ и ‘смерть’, в одном тексте. Например: *Шаг за шагом наступают до белой реки... // Скрыла, скрыла мертвого Чапаева // Мутная вода...;*; *Дочка вышла, течет реченька. // Она быстрая. Плынет мамонька. // Бело платьице раздувается //* Да за больши кусты задевается; У девушки беда случилась: // Меня милый изменил. // Кину два платочка на воду – // **Топите** за один; С сестрой мы в лодочку садились// И быстро плыли по волнам. // Пустил злодей злодейску пулью. // Убил красавицу-сестру; Вышла на море морской глубины, // Где хлещет волна голубая: // “О! Боже, простишь ты меня”. // **Навеки во бездну упала...;** От и леса, и рек, // Где любил я бывать... // Вышла в сад погулять, // Там цветочки рвала, // Стала в воду бросать... // Быстро села в челнок, // **Поплыла** доставать... // Перевернулся **челнок**, // **Утонула** она.

18

Символы смерти нередко поддерживают друг друга в пределах одного текста, создавая динамику повествования, повышая эмоциональность восприятия семантическим повтором: *Речка быстрая, вода чистая. // Как во той воде дева мылася, // Дева мылася, размывалася, // Золотой косой любовалася. // Как лихой казак вел коня поить, // А ревнивый муж вел жену топить. // – Не топи меня рано с вечера, // А топи меня поздней ноченькой...*

Ночь, как время действия тайных враждебных сил, аспектирует темпоральный план символа смерти: *Он расстрелян прошлой ночью // И в могиле крепко спит; Ночка темна, нету звезд, // Едет вражеский разъезд. // Эх, герой, на разведке боевой... // Но разведчик промолчал, // Штык в груди его торчал...*

Крыльцо является символом границы своего и чужого мира. Если в сюжетной линии лири-

ческой песни герой сходит с крыльца, он встречается со смертью: *По милом тосковала и ночи не спала, // И выйдя на крылечко, все я его ждала. // ... Пойду я в лес зеленый, где реченька тепчет, // В холодные объятия она меня возьмет.*

Лес, хотя и является чуждым, труднопроходимым пространством, выступает в русской фольклорной традиции как место тайного укрытия, например: *Мы с миленочком моим // По лесу гуляли. // Только сплетницы-соседки // Мужу рассказали; Ярко светит луна, // Сохранились за листвой, // По дороге по лесной // Скачут трое ковбоев.* Лесное пространство представляет собой естественную среду обитания русского народа, чем, видимо, объясняется его, по большому счету, невраждебность к лирическому или сказочному герою. В сказках лес служит преградой для преследователей и местом обитания защитника или помощника главных героев.

Мост служит символом преодоления преграды: *Через речку быструю // Я мосточек выстрою. // Ходи, милый, ходи мой, // Ходи летом и зимой.* Разрушение моста аналогично его отсутствию: герой оказывается перед непреодолимой преградой — смертью: *Через речку мосты мостят // Против милкиных ворот. // Мостовина подломилась — // Мой милый потонул; ... Шел казак на побывку домой. // Через речку дорогой прямой. // Обломилась доска, подвела казака, // Не вернулся домой холостой.*

В мифопоэтической традиции “наведение моста открывает путь из старого пространства и времени к новому, из одного цикла в другой, как бы из одной жизни в другую, новую”²⁰. Мост строится на самом опасном месте, где путь прерван и угроза со стороны злых сил наиболее очевидна. В жанре русской народной сказки типичной является ситуация преодоления труднопро-

ходимого пространства с помощью появляющейся впереди дороги, тропинки, прокладываемой волшебным предметом. В народном поэтическом творчестве мост выступает прежде всего как образ связи между разными точками сакрального пространства. В этом смысле мост изофункционален пути, точнее, — наиболее сложной его части²¹, поэтому образ дороги, пути функционально тождественен символизму моста. Дорога выступает символом беспрепятственной, свободной коммуникации: *Ухажер через дорожку // Часто бегает к окошку. // Ухажерочка моя, // Хожу проведаю тебя; По дороженьке иду: // Дорожка та или не та. // Люби, миленький, меня, // Пока никем не занята.*

20

Как указывает В. Н. Топоров, для архаичной славянской традиции восстанавливается текст, ядром которого является мотив мощения моста с целью достижения максимального блага — богатства, потомства, безопасности. Символы перехода из одной жизни в другую, счастливую, участвуют в ритуальных действиях на рубеже старого и нового года. В это время воздвигается мировое древо. Существуют фольклорные мотивы строительства за одну ночь чудесного золотого моста с деревом и птицами в канун нового года, превращения дерева в мост. Тексты о мосте входят в состав колядок²².

Метафора “жизнь — это путь” имеет глубокие мифологические корни. Сравнение жизни с дорогой исходит из присущего мифологическому способу восприятия ощущения внутреннего родства человека и мира, из признания единых законов существования природы и общества, идеи их продолжения друг в друге²³. Проведение параллелей между явлениями природного и человеческого бытия составляет основу мифологического образно-ассоциативного мироощу-

щения. Образный тип познания, как фундаментальный когнитивный механизм и доминанта мифологического мышления, крепко укоренен в сознании современного человека, в мировосприятии которого сосуществуют мифопоэтический и логический тип мышления.

Динамическая модель линейного пространства в символах разлуки и встречи

Мотивы целенаправленного соединения пространства и перехода в новый жизненный цикл закрепляются в понятии *счастливая встреча*, символами которой в народнопоэтической культуре русских среднеобских говоров выступают мост, дорога, скамейка: *Я хотела утопиться // С небольшого мостика. // Удержал меня мальчишка // Небольшого ростика; Шла струшка той дорожкой, // Услыхала сироту, // Приютила и согрела // И поесть дала ему; Мы с миленочком моим // Целовались на мосту...; Я стоскуюсь по тебе, // Пойду по той дороженьке; Уточка моховая, // Где ты ночесь ночевала? // – Под кустом на болотце, // Под мостом на песочке. // Шли-пошли скоморошки...; Надену я платье, к милому пойду, // А месяц укажет дорогу к нему; Нам в Лучаново идти, // По дороге мураси. // Ну, и что ж, что мураси, // Зато ребята хороши. В частушке Дорог много, дорог много // Но тропиночка одна, // Ты женись, бери другую, // Сиротой не буду я героиня как бы дает герою разрешение на встречу с другой.*

21

Скамейка специально создается для “посиделок”, как бы образуя место пересечения путей. Это не просто место встречи, но символ счастливой встречи, приятного общения, любовного свидания: *Я не сам, она сама // Скамейку поставила. // Я не сам, она сама // Любить*

себя заставила; Пела, пела да и села // На скамейку, на край. // Милый лепится как сера. // Нет охоты, да гуляй; Мы сидели с тобой на скамейке, // А пред нами все пел соловей; Меня мама била, ой, // Об скамейку головой. // Вот тебе изба читальная, // Вот тебе и дорогой.

Вода, крыльцо, порог выступают символами несчастливой встречи, которая часто является предвестником смерти. Например: *Не успела оглянуться // Да сын ступал через порог. // Не успела слово молвить // И богу душу отдала; На взморье мы стояли, // Мы смотрели, как волнуется вода. // Ни туман с моря поднялся, // Сильный дождичек прошел... // А в окопе кровь, вода. // Не видаться мне от роду // С родимыми никогда.* Нередко ситуация роковой встречи, сулящей несчастье, связана с изменой: *В одном прекрасном месте, // На берегу реки, // Стоял красивый домик, // Там жили рыбаки. // ...Охотник рассердился // И к дому поспешил. // Подходит близко к дому // И видит у крыльца, // Рыбак с женой в объятьях, // Целует не спеша. // Охотник снял винтовку, // Стреляет в рыбака, // Рыбак упал на землю, // Кровь ала потекла. // “Ах, жинка, моя жинка, // Изменница моя, // Мене ты изменила, // Другого ты нашла”.*

Символика несчастливой встречи у образа крыльца реализуется в случае направления движения героя из внутреннего пространства дома во внешнее: *Вот слышится голос коляски, // Поспешно сбежала с крыльца, // И что же я вижу: мой милый // Другую привез из венца. // Не помню, что было со мною, // Не помню, как в спальню дошла, // Револьвер, заряженной пулью, // Дрожащей рукою взяла... // Его негодяя не жалко, // Но жалко, погибла она.*

За несчастливой встречей следует разлука, в крайнем проявлении — смерть. Если образу

крыльца в тексте лирической песни не сопутствует основной символ смерти вода и герой не переступает крыльца, оставаясь внутри дома под защитой своего мира, то крыльцо является символом разлуки: *В тиши ночной, в тиши глубокой // Стояла тройка у крыльца. // С прекрасной девой черноокой // Прощался мальчик навсегда...*

Ночь и дерево выступают основными символами разлуки, после которой возможна новая встреча: ...*Всю ночь не спала, // На вороного коня // Уздечку плела!; Оставайся, мил, со мной // Хоть одну ноченьку... // Уже тихая заря, // Расставаться нам пора; Небо темно-синее, // Вечер к ночи клонится, // Не послушать сердца ли, // Не пойти околицей. // Может быть, и встретимся // Под березкой тонкою, // Может быть усядемся // Рядом под сосенкою. // Только нам не встретиться...;*; *Под окошком елочки, // Вершиночка орехова, // До свиданья, до свиданья, // Я в Сибирь поехала; Елочка-сосеночка, // Боялся наколюся я. // Жалко мне миленочка, // С которым расстаюся я; Росла верба, // Росла и груша, // Где я садила. // Нету мово маленького, // Кого я любила, // Нету его и не будет. // Поехал в Одессу; Под зеленым дубом, // Расставалася девочонка // С парнем черночубым; Как у нас под окном расцветала сирень, // Расцветали душистые розы... // Долго счастья ждала в эту темную ночь. // Поглядела и прочь от тебя отошла, // Потому что ты любишь другую. // Полюбил ты ее, полюбил горячо, // Наслаждайся ее ты любовью, // А меня позабудь, позабудь, милый мой, // Я забуду тебя, но не скоро.*

23

Утрата символа счастливой жизни, в частности кольца, также знаменует собой разлуку: *Потеряла я колечко, // Потеряла я любовь... // Как по этому колечку // Буду плакать день и ночь. // Где девался тот цветочек? // Он доли-*

ну украшал. // Украсил милой словами, // Сам уехал навсегда.

Особая роль в фольклорной символике разлуки и встречи отводится птицам. “Птицы означают силу, которая способствует обдуманной речи, то есть заранее продуманной, прежде чем слово станет сверкающим деянием”²⁴. В целом символическую функцию образа птицы в фольклорном тексте можно назвать информативной. Обладая знанием, птица, способная легко и быстро преодолевать пространство, может передавать информацию на расстоянии. Она выступает посредником в общении, символом встречи, осуществленной в слове, что в полной мере подтверждается следующими контекстами: *Сизые воробушки, // Слетайте выше нёбушки, // Скажите милому мому, // Что низко кланяюсь ему; Спуститесь, пташечки, пониже, // Разройте мамоньку мою. // Она пусть встанет и посмотрит // На жизнь сиротскую мою; Прилетело стадо белых голубей, // Крылышками все подворье размели, // Голосками вдовушку возбудили. // Ты послушай, что люди говорят... // Люди бают, все вдовушку ругают: // Дура баба, молодая удала, // Вышла замуж за седого старика; Ты, кукушечка ряба, сера, // Не на ту березу села, // Пересядь на елочку, // Скажи поклон миленочку.*

Птицам приписывается умение говорить. Они сообщают любую информацию: о будущем, прошлом, настоящем, о встрече или разлуке. Им сопутствуют глаголы речи, знания и слухового восприятия, например, *сказать, говорить, послушать, узнать*. Поскольку лирическая песня в основном повествует о личной драме, словесный ряд бывает певцом разлуки: *Пойду в сад, в саму пучину, // Буду слушать соловья, // Соловей поет разлуку, // Не стерплю, заплачу я; Мы сидели в саду на скамейке, // А перед нами все пел соловей*.

вей. // Он все пел заунывную песню, // Про разлуку он нам говорил; Во зеленом, во садочку, // Ох, соловей с пташкой поет, // Ох, соловей с пташкой поет, // А нам с тобой, друг мой мильный, // Разлуку, ой-да придает. // Разлуку ой-да придает. // Ох, разлука, ты разлука, // Чужая долина, ой-да сторона, // А никто нас не разлучит... // Ох, да не солнце, ох, да не луна. // А на что нам разлучаться, // Ах, на что в разлуке жить? // А нам лучше повенчаться // Ой-да любовью дорожить.

Птицы в мифопоэтическом мире выполняют роль предсказателя. Появление в начале повествования образа поющей птицы создает мотив предзнанния, предрешенности, неотвратимости тех событий, которые произойдут с героям, что повышает эмоциональность произведения. Птица порой оказывается единственным свидетелем случившегося, как в песне “Среди при долине”, где соловей выступает предвестником трагических событий – разлуки с родными, потери свободы, объявления о расстреле, смерти героя: *Среди при долине // Громко пел соловей. // А я мальчишка забытый, // И никто не узнает, // Где могилка моя. // День и ночь я страдаю, // Себе покоя ищу. // А быть может, в могиле // Себе счастье найду. // Повели, посадили, // Но я думал шутя. // А на утро объявили, // Что расстреляют меня... // Ох, и боже, мой боже, // Я еще жить хочу. // Неужели вы хотите // Отнять песню мою. // Похоронят меня, // И никто не узнает, // Где могилка моя...* Птица – источник и хранитель информации, только она знает о судьбе героя и хранит память о нем: *Вот умру, и умру я, // Похоронят меня, // А родные не узнают, // Где могилка моя. // На мою на могилу // Там никто не придет, // Только раннею весною // Соловей пропоет.*

Многозначный образ птицы имеет множество мифopoэтических реализаций. Птица олицетворяет того, кто встречается с героиней (*У нас есть такой бесстыжий, // Соловей – холера рыжий, // Кто к хозяйке в гости лазил? // Соловей наш долговязый*), или героиню, которая встречается с родными: *Через три я годика пташкой прилечу. // Сяду я у маменьки в зеленом саду. // Запою я песенку разунылую.* Как посланник духовного мира, птица нередко отождествляется с героем, его свободной душой: *По лугам вода разливалася, // По садам пташки разметались. // Одна пташечка там осталася, // Там остался молодой солдат.*

Птицы являются символом свободы в силу способности легко преодолевать расстояние и в силу восприятия воздушной среды их обитания как не имеющей преград: *А не я ли была пташечка, // А не я ли соловей, // А теперь меня поймали – // Нету волюшки моей.* По аналогии с воздушным птицы существуют в духовном, информационном пространстве.

Интересную трактовку получает мотив встречи – разлуки в песне *Чего, соловейко, смутен, невесел? // Повесил головку, зерна не клюешь? // Склевал бы я зерна, да во клетке нет, // Спевал бы я песни, да голоса нет. // Золотая клетка спогубила меня. // Молодая девка в саду гуляла. // Наколола ножку, сделалась больна. // Кричала: “Тукола дайте, доктора”. // Приезжает доктор, парень молодой, // Снимает фуражку, садится за стол. // Спрашивает девку, чем больна. // Болят ручки, ножки, болит голова. // Хватит тебе, девка, доктора дурить, // Пора тебе, девка, сына породить.* Описанная в песне ситуация предполагает следующие события, оставшиеся за рамками сюжета. Ситуация любовного свидания героини приводит к потере сво-

боды, прощанию со старой, девичьей, жизнью и, как следствие, переходу в новую жизнь, где она становится матерью, которая как бы встречается со своим ребенком. Мотив потерянной свободы поддерживается параллелизмом с заключенной в клетке птицей. Обращение к птице в начале повествования инициирует мотив предсказания, появления новой информации. Тайное становится явным. Приключившаяся с героиней история моделируется событийно серией закодированных в тексте встреч и разлук: встреча — свидание — сообщение новой информации — прощание со старой жизнью — переход в новую жизнь — встреча новой жизни. Происходит тройная встреча — со словом, с новым “статусом” и с новым человеком.

Символы разлуки и встречи, воплощенные в серии образов, — это компоненты линейного пространства, относящегося к фундаментальным схемам представлений. Они характеризуют пространство как динамическое, векторно направленное, где персонажи перемещаются в направлении друг к другу и друг от друга, сходятся и расходятся, сближаются и удаляются. Это универсальное, “вечное” движение линейного пространства.

27

На языковом уровне описанная модель воплощается главным образом глаголами разноподправленного движения: *приходить — уходить, сойтись — разойтись, сбежаться — разбежаться, столкнуться — разминуться, свести — развести* и др. В значении слов *встреча* и *разлука* не актуализируется пространственная динамическая перспектива. В отглагольных именных дериватах фиксируется результат, конечная точка этого движения. В некоторых фольклорных жанрах, особенно лирической песне и частушке, встреча и разлука — настолько распространены, что теряют свою конкретную смысловую окраску.

ненный мотив, что его трудно не заметить. Он реализуется в тексте многопланово и многообразно, во всей полноте пространственного миромоделирования.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ,
ВОПЛОЩЕННАЯ В СИМВОЛАХ
РАЗЛУКИ И ВСТРЕЧИ

характер пространства	символ
РАССТОЯНИЕ	<i>птица</i> $\leftarrow \rightarrow$
НАПРАВЛЕНИЕ (ближение)	<i>мост, скамейка, дорога</i> $\rightarrow \leftarrow$
(удаление)	$\leftarrow \rightarrow$
	<i>вода, крыльцо, ночь, дерево</i>

28 ДВИЖЕНИЕ

ТОЧКА \times \times \times \times \times
дверь дом крыльцо ворота дерево

ПОВЕРХНОСТЬ

дорога, река

Движение разворачивается в направлении от внешнего к внутреннему пространству дома:
При лужке, лужке, // При широкой воле, //
При знакомом табуне // Конь гулял на воле... //
Ты лети, лети, мой конь, // Лети, торопися. //
Перед милкиным крыльцом // Встань, остановися. //
Перед воротами // Топни копытами,
// Чтобы вышла красна девка // С черными бровями. //
Но не вышла красна девка, // Выши-

ла ее матери: // – Здравствуй, здравствуй, // Милый зять, // Пожалуйте в хату. // – А я в хату не пойду, // Пойду во светлицу, // Разбуджу я крепкий сон, // Красную девицу; Охотник раз собрался // За дичью в лес сходить. // На встречу шла цыганка – // Мастачка ворожить... // А сам тропой знакомой // Он к дому поспешил. // Подходит близко к дому // И видит у крыльца...; Зашла я на крылечко, // Ступила на порог... // По комнатам вела. Если содержание лирической песни сводится к описанию встречи героев, внутреннее пространство дома детализируется: К крылечку подхожу я. // Своей дрожащей рукой // Я дернула звонок. // Ко мне служанка вышла // Мне двери открывать. // Она с гордою насмешкой // Меня по комнате вела, // Все двери были открыты, // Одна только заперта. // Открыла в спальню двери...

Крыльце символизирует границу между внутренним и внешним пространством. Расстаются герои во внешнем, враждебном пространстве, поэтому ситуация разлуки поддерживается символикой воды, ночи, дерева. Более сложная траектория движения сопутствует ситуации несчастливой встречи, изменения, которая влечет за собой разлуку с характерной для нее направленностью во внешний мир. Сначала пространство разворачивается из внешнего во внутреннее, далее в обратном направлении. Например: На муромской дорожке стояли три сосны. // Со мной прощался милый до будущей весны. // Он клялся и божился с одной со мною жить, // На дальней на сторонке одну меня любить. // Уехал мил далеко, в глуху степную даль, // Оставил мне на сердце тоску да лишь печаль. // По милом тосковала и ночи не спала // И, выйдя на крылечко, все я его ждала... // Мой миленький

приехал с красавицей женой. // Я у ворот стояла, когда он проезжал... // Пойду я в лес зеленый, где реченька течет, // В холодные объятия она меня возьмет; Весенней и летней порою // Вышла я в сад погулять... // И тут он назначил свиданье // Зеленою рощей гулять... // Когда мы домой возвращались, // В саду потухали огни... // Поспешно бегут к крыльцу... // Не помню, что было со мною, // Не помню, как в спальню зашла... // Ее хоронили в той роще...

Символы разлуки и встречи имеют неодинаковое происхождение. Одни из них связаны с архетипом организации пространства, с типом ландшафта, такими как река, мост, дорога. Другие возникли как результат семиотического противопоставления в системе двоичных признаков. Наиболее значимой для исследуемой символики является семиотическая оппозиция “внутренний – внешний”. Домашнее и рукотворное пространство представлено образами дома, скамейки, тропинки и другими подобными. Природное, нерукотворное и не домашнее относится к внешнему, враждебному, разлучающему миру. Крыльце образует границу миров, поэтому включенность его в то или другое пространство зависит от направления движения. Если сюжетный вектор развивается от внешнего к внутреннему пространству при отсутствии обратного движения, крыльце входит в систему благополучных для героя знаков, означает счастливую встречу. Если повествование разворачивается во внешнее или происходит в природном пространстве, крыльце символизирует опасные проявления мира: несчастливую встречу, разлуку, смерть. У третьей группы знаков символика встречи – разлуки возникает на об разной основе. О богатой реализации ассоциативного потенциала образа птицы велась речь

выше. Темнота, как основной признак ночи, делает предметы невидимыми, неразличимыми. Также и герои не видятся в разлуке. Ассоциация между зрительной невидимостью и физическим отсутствием позволяет образу ночи поддерживать символику разлуки.

При анализе символической составляющей фольклорного текста необходимо принимать во внимание многозначность символов, которая строится на разной интерпретации архетипа. Например, архетипичность реки схожа с архетипом крыльца. Если крыльцо символизирует границу внутреннего и внешнего мира человека, то река находится на границе земного и потустороннего мира. Она находится во внешнем мире и, если интерпретируется как часть земного пространства, символизирует разлуку: *Вы раскиньте сети // Через быстры реки. // Вы поймайте щуку // Парню на разлуку; Не кукуй, кукушечка, во сыром бору. // Не рони-ка слезоньки во быстру реченьку. // Быстрая речка без того холодна. // Я сирота на чужой стороне // ...Взгляну в окошко — гуляет весь народ. // Весь народ гуляет, маво дружка нет; По серебряным волнам, // По златым песочкам, // Долго, долго я искал // Милкины следочки.*

31

Олицетворение – распространенный мифopoэтический прием. Дерево как часть внешнего мира сопутствует разлуке, но оно является и символом жизненной силы, поэтому в случаях олицетворения или параллелизма замещает женские образы. В березе воплощен образ девушки:²⁵ *Ох, ты береза белая, // У канавы не клонись. // Дорогая подружечка, // За хорошим не гонись.* Калина олицетворяет женщину, вдову: *В Кривом Роге там случилася беда. // Там убили молодого казака. // Схоронили при широкой долине, // Выкопали глубокую могилу, //*

*Поставили с частоколом купоросный крест, //
Посадили червонную **калину**. // Ой, рости, рас-
ти, червонная калина, // Ой, гуляй, гуляй, моло-
дая дивчина! // Прилетело стадо белых голубей,
// Крыльшками все подворье размели, // Голос-
ками **вдовушку** возбудили.*

Описанные символы и тип организации пространства образуют символическую модель мифopoэтического пространства встречи — разлуки.

Вертикаль власти

Бытийные и социальные отношения в наивной языковой картине мира интерпретируются посредством вертикального моделирования, при котором семиотическая оппозиция “верх — низ” оказывается наиболее выраженной и востребованной. При анализе важнейшего концепта сельского жителя ЗЕМЛЯ обнаруживается наложение пространственного и витально-бытийного признаков:²⁶ ‘верх / низ’ (*Вырастет высокущий, под потолок, ветки толстые; Они уйдут туды, в землю, грызуны...; Куды Анна Васильевна девалась, провалилась сквозь землю*) и ‘жизнь / смерть’ (*Она же родится, рожь; Мой муж в земле, не пропасть бы мне; Вот Прокофий Пармёныч в землю ушёл*²⁷).

Социальная дифференциация общества задается пространственной вертикальной моделью, которая имеет многократную и пропорциональную реализацию: *вышестоящие / нижестоящие инстанции, высшее / низшее сословие, высшее общество / средний круг / маленькие люди, высокий / низкий чин, повысить / понизить в должности, высоко вознестись / низко опуститься, верховный главнокомандующий, вертикаль власти, высшие силы и др.* При пере-

даче социальных отношений задействована семантика ‘верха’ и ‘низа’, воплощенная в метафорах, прямых лексических номинациях (*властвовать, приказывать, льстить*), словообразовательных средствах, например, приставках *над-* и *под-*: *надзоритель, надсмотрщик, подчиненный, поднадзорный, подданный*.

Человек выступает субъектом подчинения и субъектом власти, образуя центр “вертикали власти”. Он занимает нижнюю позицию по отношению к миру власти и верхнее положение среди лиц зависимых и подчиненных. Подчиняется высшим силам, социальной власти и равному, обладающему в данной ситуации более высокими полномочиями и возможностями. Взрослый человек способен активно участвовать в социальной иерархии. Он занимает более высокую социальную позицию по отношению к подчиненным, более высокую онтологическую позицию по отношению к детям, старикам, домашним животным, о которых заботится. В определенной ситуации лицо может оказаться выше своего собеседника, например, если от него зависит выполнение просьбы. Описанная модель власти — подчинения сводится к следующей схеме:

33

УРОВЕНЬ ВЛАСТИ	СУБЪЕКТ ВЛАСТИ	СУБЪЕКТ ПОДЧИНЕНИЯ
онтологический	высшие силы	дети, животные
социальный	социальная власть	социальное подчинение
ситуативный	ситуативное превосходство	ситуативная зависимость

Власть божественных и природных сил над человеком выражается различными показателями текста, реализующими магическую функцию языка, к которым относятся номинации высокого / низкого пространственного и социального положения адресата и адресанта. Пространственный характер отношений внутри модели “Бог – человек” задается противопоставлением небо – земля, верх – низ и поддерживается социальной оппозицией власть – смирение, господин – раб.

Вертикальное маркирование сакрального смирения закреплено в традиции бить поклоны при входе в церковь и богослужении. Семантика ‘верха / низа’ реализуется разнообразно: через указание на реалии, которые в материальном мире находятся на голове или над головой и служат средством защиты (*покров мой Дух Святый*), словами земной, небесный, небеса: о изобилии плодов земных ... *Господу помолимся; Царю Небесный, Утешителю, Душе истины; вознеслся еси на небеса; иже еси на небесех.* Интеграция небесного и земного пространства преобладает над дифференциацией: *на небеси и на земли покланяемый и славимый, Христе Боже; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.* Словами власть, сила, смирение, покорность, их синонимами и производными реализуется оппозиция власть – смирение: *сохрани мя ... Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою; Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя; Яко призре на смирение рабы Своей* (Молитвослов).

Для выражения позиции подвластного используется социальная терминология. При общении с высшими силами и в молитвах, и в заговорах человек называется *рабом: Умилосердись, Господи, ... избави от всякаго зла, спаси рабов Твоих (имена), пошли им отраду...; Иисусе*

Христе, многаго ради милосердия Твоего никогда же отлучайся мне раба Твоего, но всегда во мне почивай (Молитвослов). Низменная позиция человека, находящегося в полной власти высших сил, подчеркивается определениями *непотребный, недостойный, божий раб: Пресвятая Дево, услыши глас непотребного раба твоего...; Даждь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение...; Помилуй мя, Творче мой, Владыко, унылого и недостойного раба Твоего...* (Молитвослов); *Красная Мария кровь с медом варила, раны заливала рабу божьему (имя)*²⁸. Социальная тема власти звучит и в номинациях *Господи Вседержителю, Владыко Боже, Царю небесный, Начальнику жизни нашея, Воеводе победительная, Царствие Твое*. Духовная власть отождествляется с проявлениями земного социального господства.

Обращение к божественным и природным силам имеет устойчивую закрепленную текстовую форму, структура которой строится по модели: обращение, сопровождающееся эпитетами, призванными вызвать милость высших сил, называние имени,зывающего о помощи и защите, выражение просьбы и закрепка типа *Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь; ...ныне и присно, и во веки веков. Аминь*. Например: *Царь-огонь, свежая искра, у раба (имя) чтоб кожу не драло, кость не ломало, рот-говорок, язык-замок. Аминь; Святый Боже, святый крепкий, помилуй мя, раба божия (имя), унеси мою болезнь в тридесятую землю... Господи, помилуй, аминь*²⁹. Заговоры отличаются более краткими речевыми формулами, в которых обязательно лишь заклинание: *Куда ночь, туда и сон*. Однако большая часть заговоров начинается с обращения к вершителю, к которому адресована просьба: *Батюшка Никола, помоги мне все продать;*

Спаси и сохрани, господи, двери, окна, отдушины и продушины; Хозяин-домовой, пойдем со мной; Святой Парамон, возьми свой сон; Господи Иисусе, из поля-поленины бежит конь карь, а кровь не кань!; Святой ангел, Бог-хранитель, храни и помилуй нас; Месяц-млад, вот тебе золотые рожки, а мне дай доброго здоровья и кучу денег; Черт, черт, поиграй да обратно отдай; Враг-сатана, откачнись от меня; Матушка — святая водица, красная девица, ты моешь крутые берега, желтые песка...; Банная вода, молитва дана, Господи Иисусе, помилуй нас, в бане пристало и в бане отстань³⁰.

Магическая функция языка проявляется в некоторых речевых формулах, используемых в быту. Ориентация на общение с верхним “субъектом” рождает табуированное употребление производных со снисходительными и уменьшительно-ласкательными суффиксами, чрезвычайно продуктивных в диалектной речи. Табу относится к охранительным вербальным ритуалам и заключается в том, что в одних случаях нельзя говорить плохо о плохом, а в других — хорошо о хорошем, чтобы не прогневить высшие силы пренебрежением к тому, что они дают, или излишней уверенностью в их благосклонности³¹.

При обращении к теме природных явлений или ритуального обряда включается механизм охранительного вербального ритуала, смысл которого заключается в запрете отзываться неуважительно к проявлениям высшего порядка. В речи этот запрет реализуется посредством коммуникативной стратегии повышения, возвеличивания адресата. Эта стратегия распространена также в молитвах: *славнейшую без сравнения серафим ... сущую Богородицу Тя величаем; Преблагословенна еси, Богородице Дево; Слава Тебе, показавшему нам свет; хвалю и прославлено*

имя Твое во веки; славную Владычицу нашу Богородицу; Благословите Господа вся силы Его, слуги Его, творящии волю Его. Благословите Господа, вся дела Его, на всяком месте владычества Его...
(Молитвослов).

Одной из техник воплощения стратегии на повышение является прием выражения симпатии, который активно используется в диалекте введением в речь уменьшительно-ласкательных форм, называющих предметы церковного обряда: *Мать прощает с отцом и отдает ей иконушку эту; ... и то четыре иконушки у него. А когда у нас церковь сломалась, кто попало расташил по квартирам иконушки-то эти; Горела лампа на божничке; Священник отпевал, вот был тут священник... Он отпевает, там кадилочка у него; Она высокая была? — Церквенька-то?*³²

Природные явления в глубине человеческого сознания, закрепившего память архаического мироощущения, ассоциируются с выражением благосклонности / неблагосклонности высших сил. Явления природы прямо отождествляются в народном сознании с божественной силой: *Ишь, громушка загремел батюшка. Это же, как называли, божественное; Не богонька гремит там?; Боженька погромыхивает; Ой, небушко-то како. Красно солнышко, обогрей. Это красивые слова. Это божественное все. Все связано с Боженькой.* Деминутивные производные с актуализированной семантикой положительного отношения выступают в номинациях природных явлений: *Солнышко закатилось. Праздник прошел; Вицяра громушко погрянул, пошел дожжичек; Ильин день второго августа. Илья Пророк. Громушка гремит; Как на небушке много туч, грибной год будет; Ну, сказать назавтра. Красновато нёбушко оказываца, дождь.*

Табу “о явлениях природы нельзя говорить плохо” ярко проявляется в случае употребления деминутивов при описании событий с неблагоприятными, опасными, пагубными последствиями: *Корову-то громик убил; А в прошлом году гранома громушком убило; Батюшка Илья Пророк, успокойся. Ой, батюшка-громушка. Ребятишки, идите домой, громушка гремит; Стоит погодушка вон кака. В мае-то как вся мочка, все замерзло, бурга эта как подымется и несет все. Падера подула. Подула матушка-погодушка.* Функция табу заключается в боязни прогневить высшие силы, стремлении умилостивить их и уберечься в будущем от опасной природной стихии.

При реализации магической функции высказывание направлено на саму действительность, на ее преобразование. Человек вступает в общение с высшими силами, от благосклонности которых зависит его благополучие, с целью воздействовать на них так, чтобы воплотилось желаемое, сложилось благоприятное для него положение дел. При этом определяющими для выбора коммуникативной стратегии являются два мнения: 1) адресат может тем или иным способом повлиять на действительность, 2) “высшая сила не допускает чрезмерной уверенности человека ни в прочности того хорошего, что он имеет или надеется иметь, ни в наступлении чего-то плохого”³³. Вырабатывается стратегия скрыть реальное положение дел, если оно удовлетворяет человека. О предмете речи говорится как о не заслуживающем внимания и одобрения, чтобы не вызвать зависти. Используется коммуникативная стратегия умаления, уничижения. Для этой цели язык создает словообразовательные модели со снисходительными суффиксами *-ишка / -ишко, -онка / -ёнка: Ну, ниче-*

*го у ей **старичишка**, проворный старичок; Я раньше пахала, были кони: Бурка и ешо забыла, сам красивый **конишка** был; Он посмотрел: ну, ладно, **кобыленка** вроде хороша; Осётр вообще большой, маленький не быват. Так небрежитель- но говорят: так **осетришка** поймал. А он все равно большой; **Морковенка** она ниче, хороша была.* В приведенных примерах положительно оцениваемые лицо, животные, рыба, растение именуются производными со снисходительны- ми суффиксами. Прилагательными *проводный, красивый, хороший, большой* выражается положительная оценка предмета речи. Натурфакты оцениваются положительно, если удовлетворя- ют своему функциональному предназначению. Культивируемые растения должны оправдать потраченные при выращивании их усилия, что случается при хорошем урожае, особенно если его хватает для продажи: *Ведрами в прошлый год брали брюквишку и редьку; Третёвни в город ез- дила огурчишки продавать, да лучишку прихва- тила.*

39

Высказывания-табу порождаются сознани- ем, что в земной жизни не все зависит от воли человека. Слова *здоровье, жизнь* маркируются снисходительными суффиксами из боязни ли- шиться божественной милости (*Теперь житиши- ка хорошая*) или во избежание гнева за дерзость просьбы и мысли о возможной благосклонности высшей воли: *Тако ранешно наше житьё-бытьё было. Житишишко говорили. Скажешь: “Хоть бы здоровьишко было”;* Да она сама знат, как *здо- ровьишко* позволит.

С целью снискать расположение высших сил не допускается отрицательное отношение к реалиям неблагоприятным. Исследователи Л. А. Новикова и Л. И. Рахманова отмечают, что в русских говорах слова с отрицательным значе-

нием, например, названия болезней, больных частей тела, употребляются с деминутивными суффиксами³⁴. Подобные словоупотребления характерны и для среднеобских говоров: *Итнялась моя нога, болюшка; Плечушки мои болят; Сейчас поглядишь: спинушка болит, бочушка болит; Болят у меня рученьки; Болят мои рученьки. Ты же их ласкаешь к себе. Изработали мои рученьки; Все, итходили ноженъки; Ноженъки мои теперь не ходют; Как переночевать, так врачей вызываем. Все с сердечком; Таки нарывы были... Болюшечка кака сядет, дак никто не пойдет работать; Другой раз заболит: “Вот, — говорит, — спинушка у меня заболела”.* А вообще-то спина; У меня рученьки заболели. “Руки” так не скажешь. Это грубо. Стремлением не усугублять страдания рождаются подобные высказывания с эмотивным табуированием. Применяется также коммуникативная стратегия умаления, однако это не умаление уберегаемого от сглаза. Она исходит из другого мотива речевого поведения — показать, что человек находится в полной власти Всевышнего, что ниспосланное Богом он несет со смирением и покорностью. Убеждение, что страдания — это кара Господня и даются они за грехи, определяет адресацию слова, призванного задобрить высшие силы отсутствием гнева, сознанием справедливости наказания, пониманием своего места. Умаление перед высшими — основная стратегия общения с верхним в иерархии власти субъектом.

Итак, в магических высказываниях, содержащих систему речевых запретов “не говорить хорошо о хорошем, плохо о плохом, плохо о сакральных и природных явлениях”, в первом случае функционируют формы со снисходительными суффиксами, реализуя стратегию умаления. Второму и третьему запрету соответствует стра-

тегия на повышение, одним из средством воплощения которой являются модели с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Магическая функция языка выявляет такое качество ментальности, как неагентивность — ощущение, что людям неподвластна их собственная жизнь, что их способность контролировать события ограничена, склонность к смирению и покорности³⁵.

На **социальном уровне власти** также используются в основном стратегии на повышение и понижение. Прежде всего они проявляются в общепринятых формах обращения к лицу выше- и нижестоящему, семантика которых выстраивается на основе отсылки к пространственному архетипу “высокий / низкий”, яркой иллюстрацией чего служит специфический жанр средневековой Руси — челобитная. Самоназвание жанра, произведенное от обязательной для челобитной фразы *челом быть*, подчеркивает направление движения сверху вниз: *Господину государю великому князю Ивану Васильевичу всеа Руси холоп твой, господине, Яков Захарьин челом бьет; А я тебе, государю своему, мало пишу, а много челом бью.* Тактика самоуничижения, передаваемая определениями *нижайший (раб), униженным (молением)*, снисходительными и сокращенными собственными именами, маркирующими мир “холопа”, вызвана идеологией общения с позиции снизу вверх: ... *холопи твои, государь, Данило да Васюк Шуйский...;* *Как тебе, государю, полюбится службишко мое, холопа твоего?; Прошу покорным униженным молением...;* як поедут мои служебники ко мне из моего убогаго *именъишка...;* разорен до основанья и живот свой мучил в *деревнишке за приставы и скитался меж двор с женишком и с людышками от его государева изменника;* ... *тот пан приезжает еженочие в то мое дворище-*

*ко и меня, государь, из дворишка выбивает и хлебенка моево недасть. А семышико, государь, и остальное животинишко з голоду помирает...; Государю моему батюшку, великому старицу Тиха Обросимовичю сынишико твой Гришка челом бывает³⁶. Вместо самоназвания холоп твой, действующего с XV в. в качестве обязательной этикетной формулы, в обращении к верховной власти с 1702 г. вводится обращение *нижайший раб*³⁷.*

Как отмечает А. Я. Гуревич, “вместо тесных “горизонтальных” связей между лицами одинакового статуса преобладали “вертикально” направленные отношения подданных к государю”³⁸. Это проявляется в заимствовании этикетной формы обращения к Государю для письменного общения между родственниками, представителями церковной общины. Обращение строится по единому образцу: “Государю (*титул / имя по родству, полное собственное имя адресата*), (*титул / имя по родству, имя автора в снисходительной форме*) челом бью / бывает”. Например: *Государю милостивому, пану Яну Петру Павловичю, вскомленик твой Тимошка Бьюгов челом бывает; Государю великому старицу, келарю Аврамью, чернец Семион челом бью; Государю моему брату Ивану Гавrilовичю да государю моему зятю Федору Окулевичю да сестре моей Овдотье Гавrilовне да Фетинье Гавrilовне Иванко Гавrilов челом бывает; Государю моему князю Василью Васильевичю, брат твой Ондреец Голицын челом бывает.*

Образ пространственной координаты для выражения социальной иерархии используется в табеле о рангах, где узаконены обращения к чиновникам: *ваше высокоблагородие, ваше пре- восходительство, ваше высокопревосходительство*. Принятое обращение в слове закрепляет высокую социальную позицию чинов высшего

класса. Восхождение одних предполагает пренижение других, что и воплощается с неизбежностью на речевом уровне в коммуникативных тактиках возвеличивания и умаления.

Тактика умаления собственной значимости призвана выразить ничтожность подчиненного и тем самым возвеличить важного человека, поднять его на недосягаемую высоту. Демонстрируется покорность, любовь к начальнику, выражается понимание своего места, того, что “маленький человек” недостоин предстать перед очи высокого лица и потому готов принять его праведный гнев. В подтверждение приведем примеры из классических произведений русской литературы: *Городничий: Осмелюсь ли просить вас... но нет, я недостоин. ... Я бы дерзнул... У меня в доме есть прекрасная для вас комната, светлая, покойная... Но нет, чувствую сам, это уж слишком большая честь... Не рассердитесь — ей-богу, от простоты души предложил* (Н. В. Гоголь. Ревизор); *И почему, Лебедев, вы стоите теперь на цыпочках, а подходите ко мне всегда точно желаете секрет на ухо сообщить? — Низок, низок, чувствую, — неожиданно отвечал Лебедев...; Сврал! — крикнул племянник ... — Да зачем же вы это, ах, боже мой! — Из самоумаления, — прошептал Лебедев, все более и покорнее поникая своею головой* (Ф. М. Достоевский. Идиот). Сама попытка обратиться со словом к высокому чину почитается за дерзость: “Ваше превосходительство, — хотел я было сказать, — не прикажите казнить, а если уже хотите казнить, то казните вашею генеральскою ручкою”. Да, черт возьми, как-то язык не поворотился, и я сказал только: “Никак нет-с” (Н. В. Гоголь. Записки сумасшедшего).

Для выражения интенции вежливости, почтительности, подобостраствия используется

механизм удлинения фразы. Для этого в русской речи употребляется постпозитивная устаревшая частица *-с*, которая имеет свободную сочетаемость: *так точно-с, знаем-с, истинная правда-с, очень благодарен-с*. Высказывания распространяются приращениями к глаголам типа *покорнейше (прошу), нажайше (благодарю, кланяюсь)*, модальными словами, глаголами и частицами: *позвольте вам предложить, не извольте беспокоиться, как вы изволили видеть, не угодно ли будет вам, не угодно ли приказать, если будет на то ваше желание, я бы хотел вам посоветовать*. Примечательно, что в русской речи для демонстрации смущения, восхищения и подобострастия используется техника заикания. Существуют формы неречевого заискивания и угодничества: *Лебедев оглянулся и, увидев князя, стоял некоторое время как бы пораженный громом, потом бросился к нему с подобострастною улыбкой, но на дороге опять как бы замер, проговорив впрочем: – Си-си-сиятельнейший князь!; Лебедев подобострастно и жадно продолжал засматривать ему в глаза* (Ф. М. Достоевский. Идиот). Против подобного поведения выступает герой А. С. Грибоедова: *Служить бы рад, прислуживаться тошно.*

Пространственная оппозитивность социальных отношений между начальником и подчиненным делает тактики умаления и возвеличивания взаимообратимыми: нижестоящий, претворяя позицию снизу вверх, использует приемы самоумаления и возвеличивания вышестоящего, а для последнего при демонстрации интенции превосходства характерно само-возвеличивание и унижение подчиненного или лица, более низкого в социальной иерархии: *Он был очень доволен своим чином, в который был произведен недавно, и хотя иногда, ложась на ди-*

ван, он говорил: “Ох, ох, суета, все суета! что из того, что я поручик?” — но втайне его очень льстило это новое достоинство... Он в разговоре часто старался намекнуть о нем обиняком, и один раз, когда попался ему на улице какой-то писарь, показавшийся ему невежливым, он немедленно остановил его и в немногих, но резких словах дал заметить ему, что перед ним стоял поручик, а не другой какой офицер (Н. В. Гоголь. Невский проспект). Применяется тактика самопрезентации с целью возвыситься перед аудиторией: Хлестаков: Я такой! я не посмотрю ни на кого... я говорю всем: “Я сам себя знаю, сам”. Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш... (Н. В. Гоголь. Ревизор). Пародия на тактики самопрезентации и возвеличивания в символичной форме представлена в романе Т. Н. Толстой “Кысь”: Вот как я есть Федор Кузьмич Каблуков, слава мне, Набольший Мурза, долгих лет мне жизни, Секретарь и Академик и Герой и Мореплаватель и Плотник, и как я есть в непрестанной о людях заботе, приказываю”.

Покорность подчиненных вызывается и поддерживается тактиками устрашения и обвинения. Формула обвинения содержится в царском наказе русским послам: *А государю холоп без вины не живет*³⁹. Тактика устрашения живописно передана Н. В. Гоголем: *Приемы и обычаи значительного лица были солидны и величественны, но не многосложны. ... Обыкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз: “Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?” ... Тут он топнул ногой, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно* (Шинель); “Извольте, господа, я при-

нимают должность, ... только уж у меня: ни, ни, ни!.. Уж у меня ухо востро! уж я...” И точно: было, как прохожу через департамент, — просто землетрясенье, все дрожит и трясется, как листы... О! я шутить не люблю. Я им всем задал острасьту. Меня сам государственный совет боится (Ревизор).

Ситуативный уровень “власти” определяется отношением между равными собеседниками, когда социальный признак “начальник — подчиненный” отсутствует или нивелируется, однако имеется ролевое психологическое пре- восходство одного участника общения и зависимость другого. Существует такой тип речевых ситуаций, в структуре которых ролевая характеристика коммуникантов описывается моделью “хозяин — не хозяин”. К ним относятся посещения, визиты, приглашения, просьбы. Позиция зависимого субъекта определяется его нахождением на “чужой территории хозяина”. В широком смысле проситель, если он не избирает тактику нападения, стремится вызвать благосклонность “хозяина” ситуации, избежать возможного недовольства, отказа, заручиться его поддержкой на сотрудничество, добиться согласия выполнить просьбу. Используются тактики поведения, реализующие стратегию кооперации, среди которых наиболее востребованными оказываются тактики вежливости, искренности, привлечения внимания, извинения, приглашения, просьбы. Например: *Извините, пожалуйста, что я об этом поведу речь, — сказала Любовь Николаевна, — но мне ночевать негде; Михаил Никифорович, сделайте наконец одолжение, присядьте к столу!; Я бы хотела попросить вас об одолжении. ... Вы подумайте, и завтра мы встретимся...* (В. Орлов. Аптекарь). Стратегия кооперации воплощается также тактиками выраже-

ния симпатии, убеждения, уговора, обещания, вознаграждения: *Кухарочка! — сказал первый приближенный императора. — Я определю тебя на штатную должность при кухне и выхлопочу тебе позволение посмотреть, как кушает император, если ты сведешь нас к соловью! Он приглашен сегодня вечером ко двору!* (Г.-Х. Андерсен. Соловей); *Слушайте, Эйхенбаум, — сказал ему Король, — когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхенбаум, памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность, Эйхенбаум, и поступлю в ваше дело компаньоном. У вас будет двести коров, Эйхенбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу...* (И. Э. Бабель. Король).

В диалектной речи в ситуациях приглашения и просьбы используются уменьшительно-ласкательные формы обращений и ключевых слов, которые являются одновременно средствами выражения вежливости, извинения за беспокойство, благодарности за помошь, способом снятия напряжения и расположения собеседника: *Хозяюшка, подай крыночку молока; Поней чайку; Ой, давайте попотчеваемся, чайку попьем; Сахарку с чайком нет, а чё делаешь?*; *Он зашел в баню, а там тётенька. Гражданочка, не бойтесь, хозяйушка; Некого попросить, говорю: будь любезный, паренёк, вот недалеко, рядом.*

47

Интенция вежливой просьбы заключается в том, чтобы эксплицировать “высокое” положение “хозяина” ситуации, дать понять, что тот своей волей выбирает путь благородной помошь, тем самым повышается статус адресата, проситель при этом занимает несравненно более низкую позицию: *Ну, Данилов, милый, ах, ка-*

кой ты несносный, ты же обещал быть мне другом... Ну смилийся, государыня рыбка! Ну-у... А, Данилов?.. (В. Орлов. Альтист Данилов).

Перевод просьбы в шантаж, переход от позиции зависимого просящего в нападение сопровождается тактиками угрозы, обвинения с целью усовестить адресата: *И потом, наконец, прости, что я тебе об этом напоминаю, но ты ведь мог быть отцом моего ребенка... Даже отцом многих моих детей...* — Последние слова Клавдия произнесла **с прежней лаской, но и с угрозой**, словно давая Данилову понять, что **имеет все права** на исполнительный лист и из-за несговорчивости Данилова своими правами вынуждена будет воспользоваться, хотя это — крайний случай *и дурной тон.* ... — **Если ты мне не поможешь, я повешусь**, ты меня знаешь... (В. Орлов. Альтист Данилов); *И вспомните, Эйхенбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить?* (И. Э. Бабель. Король).

В ответ на просьбу адресат либо отказывается ее выполнить, либо соглашается, нередко оговаривая дополнительные условия: *Ну ладно, — вздохнул Данилов. — Но я могу только по утрам...;* — *Кабы заглянуть... — Да пожалуйста... — жалобно сказал Данилов.* Отказ исполнить волю просителя требует дополнительных объяснений. Используются тактики отклонения обвинений, снятия ответственности, оправдания, провокации: *Помилуй... — начал было Данилов; Но я-то тут при чем!* — *тенором взвился Данилов. — Я же тебе давно не муж. Мы разведены судом!*; *Правила очереди серьезные и незыблевые, мы исключений не делали и делать не намерены. ... И вообще ... у нас нет никакой необходимости вступать в дискуссии со случайным посетителем* (В. Орлов. Альтист Данилов); *Бузыкин, а ты*

уже начал... Может, у тебя остались какие-нибудь черновики, бумаги? Может, ты отдашь мне их, Бузыкин? – А полы тебе помыть не требуется? А-то я вымою, ты свистни! (А. М. Володин. Осенний марафон).

“Хозяин” ситуации может прибегнуть к коммуникативной атаке, перейти в нападение, что вызывает защитную реакцию. Позиция нападающего “право имею” предполагает взгляд сверху. Стратегия агрессии претворяется тактиками оскорблений, угрозы, требования, обвинения: *“Грубиян! – закричал он в величайшем негодовании, – как ты смеешь целовать мою жену? Ты подлец, а не русский офицер. Черт побери, мой друг Гофман, я немец, а не русская свинья!”;* *Между тем Пирогов слегка наклонился и с собственностью ему приятною сказал: – Вы извините меня... – Пошел вон! – отвечал протяжно Шиллер. ... – Мне странно, милостивый государь... вы, верно, не заметили... я офицер... – Что такое офицер! Я – швабский немец. Мой сам (при этом Шиллер ударил кулаком по столу) будет офицер...* (Н. В. Гоголь. Невский проспект). В последнем примере гостем, вторгающимся на “чужую” территорию, применяется стратегия кооперации; на его извинение, оправдание хозяин отвечает грубостью.

Собеседники могут поменяться ролями, как в гоголевской “Шинели” “значительное лицо” из гонителя превращается в гонимого, а гонимый Акакий Акакиевич, творя возмездие в образе призрака, обретает сверхчеловеческую власть и становится гонителем. Для воплощения своего замысла герой использует тактики устрашения, угрозы, обвинения, требования: *Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. ...ужас значительного лица превзошел все гра-*

ницы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, произнес такие речи: “А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об моей, да еще и распек, — отдавай же теперь свою!”

Если в позицию нападения встают обе стороны общения, то происходит предельный вариант развития ситуации — ссора. При ведении конструктивного диалога или дружеской беседы, если отсутствует нападающий, а собеседники имеют равный социально-должностной статус, не возникает ситуация угрозы и необходимость защищаться. Общение “на равных” в ситуации взаимной агрессии или кооперации не вписывается в пространственную модель верха — низа, которая на ситуативном уровне “власти” реализуется по преимуществу речевыми стратегиями и тактиками. Любое неравенство участников коммуникации (ситуативное, социальное или онтологическое), использование стратегий на повышение, понижение статуса лица и наложения обязательств являются непременными условиями, при которых зарождается и получает семиотическое развитие когнитивная модель “вертикали власти”.

В отличие от социального и ситуативного уровней проявления власти / подчинения, главная идеология которых заключается в сохранении определенного порядка, созданного обществом и закрепленного в ритуальных формах поведения, **онтологическое превосходство взрослого человека** обусловлено причинами природного, естественного характера, законами филогенеза. Взрослый человек способен самостоятельно действовать и свободно ориентироваться в материальном мире, принимать реше-

ния, вырабатывать долгосрочную программу, стратегию личного и социального благополучия и безопасности, и в норме имеет физические силы реализовать запланированное. Он обладает умениями и навыками, определяющими его социальную ценность настолько, насколько они направлены на сохранение и увеличение благосостояния общества. Готовность в полной мере принять ответственность за семью и разделить заботы коллектива служит признаком зрелости личности. Взрослый человек становится полноправным хозяином “своего” мира, который он создает и сохраняет. Как творец, он заботится о своем творении. Дети и домашние животные нуждаются в помощи и защите взрослого человека, находятся в полной его власти. Подобный тип “власти” реализуется главным образом через покровительство, любовь и заботу.

Взаимоотношения взрослых и детей во всем многообразии передано в произведении А. Линдгрен “Эмиль из Леннеберги”. Любовное, заботливое отношение к детям выражено в следующих фрагментах произведения: *Приотившись на полке посреди колбасной кожуры, он спал, этот чудесный, этот золотой мальчик. А его мама так обрадовалась, словно нечаянно-негаданно обнаружила в шкафу слиток золота. Эка важность, что Эмиль слопал всю колбасу! В тысячу раз лучше найти на полке Эмиля, чем даже несколько килограммов колбасы. И папа думал то же самое. ... Подумать только, одинединственный мальчишка, объевшийся колбасой, может осчастливить столько людей сразу!*; Эмиль без конца проказничал и был настоящий сорванец, но Альfred не обращал на это внимания. Он **“все равно любил Эмиля...;** “Хочу ружейку!” — вопил он на чистейшем смоландском наречии и совсем не радовался, когда **ма-**

ма, ослышавшись, приносила его кепчонку. “Не хочу шапейку!” — орал Эмиль. — “Хочу ружейку!” **И мама приносила ружье;** “Эмиль — чудесный малыш, — сказала мама, — и мы **любим** его таким, какой он есть!” Хотя мама и **защищала** всегда своего Эмиля, сама она немного **беспокоилась** за него; “Марш в столярку, пока пана не вытащил ногу из крысоливки. А не то тебе несдобровать!” **И, схватив Эмиля за руку, мама потащила его из дома.**

Взрослые заботятся о здоровье и безопасности ребенка, поэтому осуществляют контроль за его поведением: *Один парнишка вчера вот тут бегат маленький: “У тебя чё руки-то таки грязны?”; Не ходи по земле. Иди тропинкой, там стой, тротуарчиком.* При обучении детей практическим навыкам обращенная к ним речь пересыпана указаниями на рекомендуемые действия, активно задействуются повелительные формы: *Пихай ручку. Лезь головкой, лезь; Иди к нам сам, на ножках.*

Общение с детьми отличается регулярным использованием слов с уменьшительно-ласкальными суффиксами, например: *На крылечек беги; А папенька твой де?; Счас мамочка придет, она только хлебушка купит; [Почему говорят “рученьки, ноженьки, головушка”?] — Ну а как же? Это есть жалость к ребенку. Жалеешь ты его. Ну как я его назову, как? Ну я и говорю: “Рученъки, ох вы мои рученъки”.* Это жалость есть, кака-то отзывчивость, так и назовёшь... *Ну что лежит ребёночек, копошится. Поглядела, ну что, кусок мяса красного. А говорю: “Хороший сынок, хороший...” Каждому свой хороший. И мне хороший, а я жалела, скажу: “Капышиночек мой”.* *Ну всяка говорила; Мать говорит пацану: “Ноченька наступает, надо спать”. Не будешь же говорить “ночь”. “Ночь” — это твердое слово. А “но-*

ченька — мягкое. А уже на взрослого и матом, и хватом. Иконическое соответствие суффиксальной семантики адресату делает формы субъективной оценки органичным средством, обслуживающим данный тип коммуникации, придавая ему яркую эмоциональную окраску. Эмоциональность позволяет контролировать адресата на психическом уровне и образует суггестивный канал общения с эффектом терапевтического действия. Выражение положительных эмоций призвано передать доброе намерение, снять страхи, успокоить ребенка, задать эмоциональный настрой отношения к миру. Таким образом воплощается стратегия на повышение, целью которой является не только повышение самооценки, психологического комфорта адресата, но и создание условий для положительного восприятия действительности.

Как замечает О. С. Иссерс, при близких отношениях апелляция к дружеским чувствам, выражение симпатии, признательность и лесть более эффективны, чем тактики угрозы и наказания⁴⁰, хотя в ситуации недовольства детьми или родителями используется и стратегия на понижение. Например: *Антон Свенсон стряхнул сынишку с шеста, будто спелое яблоко с дерева, и схватил за ухо. “Ах ты, неслух! — заорал он. — Где ты пропадал? Как ни пойдешь с тобой, **вечно ты потеряешься!**”*; *Вот вечно так, — с горечью думал Эмиль. — Стоит взять отца с собой, как он сразу куда-то запропастится* (А. Линдгрен. Эмиль из Леннеберги). Стратегия на понижение реализуется в выговорах и наказаниях: *Вот Ленка-то у них [соседей] избалованная, вертится везде. Я говорю: “Ох, была бы моей диткой, я б тебя налупила”*; *Вроде и не баловала я егошибко, хоть и любила, но заслужит когда, дак и наказать, бывало, не постесняюсь.*

Для детей и домашних животных забота взрослых является жизненно необходимой. Она состоит в обеспечении одеждой, питанием, в создании пригодного и удобного жизненного пространства: *Сама искрою рубашонки, штаншки ребятишонкам; Чем я сыночку накормлю?; На печку, значит, сделают два порога, чтобы это... залазить можно. А то ребятишонки маленьки, не могут залезти; А туда вот ездили, овечек пасут, много; Только две булки в руки дают, а поросышишки маленьки, дак им дают, они маленько скотине [хлеб]; Клевок потеплее, чем конюшня, поменьше, там держат овечек, поросят, — в общем, мелку скотину; Клевушка есть у нас — для поросёночка построили; Де скот, там свиньям катух делали, натаскивали сено, там поросились, туды подлезают под него и там тепло, в катухе и куры были.*

54

В заботе нуждаются постаревшие родители. Им оказывается, как правило, помощь в тяжелой физической работе: *Внучка была, помогла матери картошку копать и уехала.* В идеале повзрослевшие дети заботятся о здоровье, материальном достатке и душевном комфорте родителей: *Пойду [в баню], Мишенька мне наказывают: “Мама, не мойся жарко, не поддавай”; Сынки-то приедут, себе наберут. По ягоду, по черемуху пойдут, мне наберут; Пододеяльник дочерь привезла; Юрка как-то говорит отцу: “Папа, ты маму не обижай”.*

Контроль за поведением крупных животных, представляющих опасную для человека силу, крайне важен. Послушное животное позволяет произвести над собой действия в непосредственной близости. Привязанность животного к хозяину, основополагающая в дрессуре, вырабатывается заботливым, ласковым обращением. В диалектной речи для достижения

названных целей при общении с животными используются ласковые интонации, имена с уменьшительно-ласкательными суффиксами, прилагательные положительной оценки, маркеры включенности в личную сферу говорящего. Соединяясь вместе, перечисленные средства образуют текстовую модель типа *коровушка ты моя хорошая*. Элементы модели свободно варьируются, могут неоднократно повторяться в монологе: *А когда доить приходишь, вот доить корову*: “Коровушка ты моя хорошая, милая ты моя”; *Я ей все время наговариваю*. Это ласкаешь скотину: “Милая ты моя коровушка да милая ты моя ласковая”; *Овцу — овечушка — так уж жалостно ее называешь*, вроде как любишь ее сильно; *Овечушка хозяйка говорит на овцу, котора маленька ешио*, или когда стричь надо, она ласково говорит овечушка, чтобы смирно стояла. Для управления действиями животного создаются специальные знаки, жесты. Кличка также служит знаком повиновения, так как означает присутствие хозяина, позволяет привлечь внимание животного. Хозяин оценивается по его отношению к животным, к “подвластному” миру в целом: *Коровёнка говорят. Вон коровёнка твоя. На любую можно сказать. А ежли беспутная хозяйка, она так и называет. А хорошая хозяйка “коровка” назовёт, и кличка есть у нее*. Хозяин беспокоится о здоровье и безопасности животных, ухаживает за ними: *Мать? Веринаром, на комплексе коровок лечит; Скотинушку держали. Коровушек доили, поили; Идите домой, я пойду за короукой. Далеко удёт, тады будешь лазить*.

55

Обозначим **основные результаты исследования**. Онтологическая, заданная положением дел в природном мире, модель “вертикали власти” предполагает двух субъектов власти и под-

чинения. Взрослый человек властвует над частью природного мира, который он приручает и творит, на правах сильного, способного о нем позаботиться. В мир, “подвластный” человеку, входит все, что нуждается в его защите и покровительстве и за что он принимает на себя ответственность. Такой порядок, обеспечивающий развитие рода, “завещала” человеку природа.

Мир сущий мыслится во власти высших сил, человек вступает в общение с ними в попытке заключить “договор” о непрепятствии его воли. Он вырабатывает правила, которые позволяют заручиться поддержкой божественных сил. Для этого используется генеральная стратегия — непротивления существующему в мире порядку вещей, на коммуникативном уровне реализуемая стратегиями на повышение субъекта власти и понижение согласного подчиняться. Сначала создается идеология власти, “расписывающая” верхние и нижние позиции, затемрабатываются семиотические способы ее закрепления и коммуникативные механизмы поддержания.

Власть всегда направлена на поддержание порядка. Социальная власть стремится сохранить существующую социальную иерархию. Иерархия, организованная по моделям “старший — младший”, “начальник — подчиненный” и др., задумывается как механизм эффективного управления коллективом. Власть и подчинение предполагают друг друга, одно невозможно без другого. Образцовое подчинение стремится сискать одобрение начальства. Позиция нижестоящего сводится к просьбе о помощи, благосклонности, защите, бессрочной или разовой. Решение принять или отклонить просьбу на ситуативном уровне руководствуется интенцией сохранить “свой” мир, в том числе установлен-

ный в нем порядок, свое “лицо”. Согласие выполнить просьбу может быть вызвано стремлением сохранить добрые отношения с просителем, получить выгоду. Отказ связан с чрезмерным “наложением обязательств”, угрозой “лицу”, желанием избежать опасности, неприятностей, хлопот.

Позиции превосходства и зависимости создают “вертикаль власти”, на всех уровнях которой действуют коммуникативные стратегии на повышение и понижение, языковые средства с пространственной семантикой ‘верх’ / ‘низ’, со значением господства, смирения, покровительства.

**“Свое” и “чужое” в интерпретации
пространственных моделей
“внутренний / внешний”, “близкий / далекий”**

57

Мир, подвергающийся рефлексии, небезразличный для человека, предстает в предметных и абстрактных образах как пространство, членимое по признаку ‘свой / чужой’ и возводимое к моделям “ближний – дальний”, “внутренний – внешний”. Когнитивная сущность категории “свой / чужой” связана с доминантой различия “себя” и “другого”, с осознанной идентификацией лица как члена группы⁴¹, с феноменом собственности, идеей разделения сущего по принадлежности к разным субъектам, с дифференциацией мира по степени отчуждения. Градация “своего / чужого” материального, социального, духовного мира по признакам ‘ближний’ – ‘дальний’, ‘внутренний’ – ‘внешний’ обнаруживает фиксированную структуру произведенного в результате рефлексии членения, которая условно реконструируется в статическую модель. Динамическая модель учитывает преоб-

разования, происходящие между “своим” и “чужим” пространством, и в основном задается движением по направлениям “извне внутрь”, “изнутри вовне”.

Пространственная оппозитивность “своего” и “чужого” закрепляется лексически. Согласно исследованию Л. Г. Гынгазовой, земля в пространственном смысле осознается представителем диалекта как нечто конкретное, знакомое, близкое, освоенное, присвоенное, своё. Всё, что оказывается за пределами такого представления, выражается другими лексическими единицами. Значение ‘мир, место обитания людей’ передается словосочетанием *белый свет*: *Ну она весь белый свет объехала; Я с матросом улечу на край бела света; Не будет ни птицы, ни рыбы, по небу будут железны птицы летать, белый свет тенётами будет опутан*. Смысл ‘местность, край, в котором живут’ закреплен за словом *сторона*. Чужое пространство маркируется номинациями *чужая сторона, другая сторона*⁴²: *В тёплу сторону вутка улетат, гусь; Топерь он на чужой стороне*.

В фольклоре пространство делится на *родимую сторонку, родной край и чужую сторону, чужую неволю, чужбину*. Например: *Запевай, моя подруга, // Я как надо подпою. // Хорошо в родном колхозе, // Хорошо в родном краю; Продвигла милого // На чужую сторону; Не увидев родимой сторонки...; Зачем меня тятя просватали, // Зачем загубил молоду – // Отдал на чужую сторонку, // В такую большую семью*. На чужбине герой лирической песни чувствует себя незащищенным, несвободным и одиноким: *А я мальчик на чужбине // Позабыт от людей; На чужой стороне // Солнышко не греет, // Без родимой маменьки // Никто не пожалеет; Встанька, мамонька, пораньше // И послушай по заре,*

// Не твоя ли дочка плачет // На чужой на стороне; Сиротинка я росла, // Как во поле былинка. // Моя молодость прошла // По чужой неволе. Моделирование по признаку ‘свой / чужой’ осуществляется в основном эпитетами *родной – чужой* и закрепляется пространственной оппозицией “близкий – далекий”: *А теперь уж что случилось – // Разлучают нас с тобой. // С чужой дальней стороной, // Распроклятою тюрьмой; И зарыты мои кости в чужедальней стороне; И вспомнила дом свой родной...*

Категоризация мира по признаку ‘свой / чужой’ осуществляется относительно субъекта речи (говорящего) или лица, о котором сообщается в тексте. Субъект высказывания образует центр “своего” мира, за границей которого может начинаться мир “чужой”, если близкие люди отдаляются и человек испытывает одиночество. Например: *Когда начал бегать [муж], я перестала для него стараться; Сашенька не едет меня проводовать, нешибко я ему нужна; Живу одна, вырастила их, так они про меня забыли. Злюсь иногда, но понимаю, взрослые стали. Зачем я им теперь.*

В диалектной речи рассказ о себе содержит повествование о “своих” и о “своем”, что позволяет сделать следующий вывод: в понятие “свой мир” в сознании представителей диалекта входит вещный, природный и персональный мир, “принадлежащий” лицу, по отношению к которому производится категоризация. Нормативность такого восприятия “своего” в диалектном дискурсе доказывается высказываниями, где выражается неприятие “своего” мира и при этом он называется *своим*, например: *Вот смотрю я на них – не могу нарадоваться. А свои мне не любы. Ничего не хотят делать; Я говорю ей в глаза: вот сын у тебя хороший – и помогают и все де-*

лат, что не скажешь. А мой-то лодырь не знает ничего; А что делать, терпеть надо, хоть и не могу. Жалуется она постоянно, что ругаю ее. Но она мне не чужая, все-таки внучка; Дом-то какой год уж стоит небеленый. Ставни все поскошены, а своим-то ничего не надо. Вот думаю, что ли к чужим людям мне обращаться. Вторая граница между “своим” и “чужим” проходит в сфере родственных и имущественных отношений. “Свой” мир неоднороден, его структура по мере удаления от центра выглядит следующим образом: 1) родные дети и родители (*Свою детюлю кто не любит; Она не может на меня наругаться, для этого-то родители есть. Вот мамка наругается, я и не обижусь; Я к Ленкиному слову прислушиваюсь, как ни как, а она мне дочь; А он мне не отец, да и не мать. Я ему не обязан; Я только перед родителями обязан, а они мне никто*); 2) своя семья и ее собственность (*Ростила, ростила семью, девять человек только семьи было; А тут семьяна была — от так до ушей [работы]; Мой делал, вульни для пчёл*); 3) родственники (*А своя-то всегда ближе, как никак а родня; Вот он мне родственник, так я его мнение уважаю; В девках-то я хорошо жила. Семья маленька. К свекрови пришла, пятнадцата была. Её ма-менька, а свекра тятаенька звала; Они близка родня: он брат сродный ей*), 4) друзья (*Я говорю: когда я к своей родной подруженьке... хоть бы её раз ешо увидать, Нюру-то; Вчера с подруженькой говорили и думали: “Почему молодежь не хочет работать?”; Гуляли по домам. Сёдня у меня посидим, потом идут к следующей, к подруге моей*). Собственность семьи составляют принадлежащие ей домашние животные, выращиваемые растения, дом, одежда, предметы быта и пр.: *А я подумала: “Лучше домой поеду. Здесь и курочки свои, и коз я держу”; Корова моя появилась; На*

своих лошадях ехжу в город; Появилась у них скотина, так теперь им надо корм покупать; Посадила все, так теперь надо смотреть за ним; Я в понедельник пойду. Я говорю: “Передайте там привет моей картошке, что я собираюсь её очищивать”; Мы-то работали и время хватало на всё, и дома делали, а дома ничё не делают; Чужо носить не люблю, и не люблю, чтоб моё носили; Завтра субботний день, надо тут хоть промыть полик; Иглами даже сбруи шили. Иголочки у меня были; В миске пекли рыбу, сейчас каструли. А ране были у меня малированы мисочки; Мне неохота со всей моей домашностью переехать. Пространственная модель восприятия общего круга родственников прослеживается в номинациях *близкие, дальние родственники*.

Нормативность включения родственников в “свой” круг подтверждается значением слова *вчуже ‘со стороны, не будучи ни родней, ни близким, ни начальником’⁴³* и его внутренней формой ‘будучи чужим’. Представители одной общины, не состоящие в родственных отношениях, называются *чужими*, например: *Здесь живут не только родня, есть и чужие, но большинство родня; А этот 38-ого [года рождения] нонче помер. Хороший был, даже вчуже жалко. Ну, чужой, и жалко. Вчуже жалко. Так и говорят все, чужой и жалко; Вчуже жаль [сочувственно о горе соседки].*

61

“Чужой” мир, как отмечалось выше, начинается за пределами “первого” лица. Любой компонент семейно-родственной сферы “своего” мира может отчуждаться, если между родными отсутствует отношение взаимной ответственности, разрушаются близкие, дружеские связи. Например: *Я детдомовский, меня настоящая мать бросила, а эта воспитывала; А что она мать? Ничему хорошему детей не научит. Пьет и гуляет.*

Чему дети научатся?; Молодежь счас совсем дурная стала. Или выросли они. Так взрослыми себя чересчур считают. Даже на родителей и внимания обращать не хотят. И не слушают их совсем; Родни в Ягодном много, да не ходим, разругались; Раньше-то дружно жили, одной семьей, а сейчас... Отдельная квартира, а миру нету; А он, мошенник, обворовал ее. Да и сбежал к другой. Вот как человека-то видно; У самого домишище матёрый. Мне никакой помочи не дал.

По линии родственных отношений “свой” мир противопоставлен “чужому”, в который входят 1) неродные, чужие дети и родители (*Сураз, или подкрапивник, смеялись над ним; Ты мне не мать и не отец, чтоб ругать меня; Своих-то детей и побьешь когда не побоишься. А чужого нельзя трогать может скандал получится; Я же говорю, господи, чужая мать — она вообще никто; Я не помню, в каком классе он двоил [остался на второй год]. С мачехой жил. Люди мне говорят: “Ой, Вера, прям застрамила, заругала она Коленъку: “Чёрт тебя навязал, постылый!”;* Аня что говорит: *“Я на чужого мужика своих детей менять не буду”*), 2) чужая семья и ее собственность: *Ну, может, это идинока женщина, дак мужа у ей нету. Говорят: “С чужим мужиком ломается”; Толя, ты пошто приехал? Кто он, родня тебе? Чужий-чужениный; Пусть говорят, что хотят, мне с ними детей не крестить; Дак и может залезти чужи; Ну как, посмотришь чужих поросят-то?; Даже завидоваш чужим уловам, не то что своим.*

Промежуточное положение между “своими” и “чужими” занимают приемные дети, о чем сообщают текстовые свидетельства: *И пришло это, взять и ростить как сироту, вот его уже родным братом не назовёшь и чужим не назовёшь; Накормит их [детей], они играют, не за-*

мечают, что они — и свои, и чужие. Община разделяла заботу о сиротах, которые жили поочередно в разных семьях, поэтому возникло выражение *ходить по людям*: У нас в деревне принято так, что брали из семьи в семью. Вроде родство-то большо, а все равно брали; Жила плохо, в сиротстве, по людям ходила, а потом взамуж вышла семнадцати годов; Я сирота была, по людям ходила. Надоело, вылетела замуж.

В представлении о семье как замкнутой системе, с закрытыми границами в социальное, внешнее пространство, просматривается модель внутреннего пространства “своего” мира, где действуют запреты а) на вмешательство извне (*Я в семью их не лезу, сами разберутся; Ну, что я могу сделать, только совет дать, вмешиваться право не имею; Вот они ругаются каждый день, жалко их, но я что могу сделать, нельзя в семью вмешиваться; Когда соседи ругаются, я не влезаю. Пусть сами разбираются*) и б) на нарушение границ изнутри: *Раньше, муж жену побьет, никто не знал, тайна была. А теперь, если поругались только, вся деревня знает; Вот они поругались, а мы-то и не знали об этом. Скрыли от нас; Раньше если в семье драка была, так никто не рассказывал. Старались скрывать это.*

63

Граница между “своим” и “чужим” пространством, хотя и жесткая, но проходимая. Вхождение чужака в семью состоится через посредничество одного из ее членов, который выступает “проводником” между “мирами”. Например: *Я свою дочь люблю, поэтому и к зятю хорошо отношусь.*

Проведенный анализ вскрывает семантические основы категоризации по признаку ‘свой / чужой’, исходной для которой является пространственно-субъектная семантическая структура ‘близкий по родству, по духу’, эквива-

лентная семам ‘родной’, ‘любимый’. Часто отнесение к “своему” осуществляется по модели “любимый, потому что как родной”, например: *С тобой бы поговорила, всё как со своей родной доченькой*. Родство предполагает двух участников, без которых оно состояться не может, — ‘ тот, кто рождает’ (родитель) и ‘ тот, кто рождается’ (ребенок, детеныш животного). В понятие *родитель* на уровне языковой семантики входят семы ‘дающий жизнь’, ‘дающий блага’, ‘заботящийся’, ‘вызывающий благодарность’. Если объект категоризации проявляется по отношению к субъекту категоризации какие-либо из названных признаков, он включается последним в “свой” мир. На базе признака ‘родства’ производится сравнение и категоризация по модели “свой, родной, потому что заботится, кормит, словно мать”: *Кормилица она, корова, кормилица семью, молоком, маслом, сметаной. Коровушка-матушка, ты кормилица моя; [Почему корову называют “матушка”?] — Вот коровушка-матушка моя идёт с поля с молочком. Она же кормилица, люди же пользуются от неё молочком. Это что мать с ребёнком. Она, мать, кормит ребёнка. Так корова нас кормит.*

64

Понятийное значение слова *ребенок* включает в себя периферийные семы ‘нуждающийся в заботе’, ‘являющийся результатом труда’, на основе которых производится категоризация по признаку ‘свой’. В процессе ухаживания, работы с кем-л. или чем-л., производства чего-л. происходит “присвоение” результатов труда. Все то, что является предметом заботы и приложения сил, становится “своим”, что в диалектной речи нередко маркируется уменьшительно-ласкательными формами: *Только робили и только. Ткали и пряли, хлебушку жали и молотили. А как колхоз начался, в колхозе робили. Всё серпа-*

ми хлебушку жали; Вот этот половик ещё я ткала, ещё мой; Если хозяйство завел, так ухаживай за ним; Хозяйство есть, а он за ним не смотрит. Что ему объяснять это надо?

Описанная выше семантическая структура представляет категорию “свой / чужой” в любом типе речи. Фрагмент рассказа И. Э. Бабеля “Пробуждение” построен на актуализации смыслов ‘родитель’, ‘ребенок’, ‘благо’, ‘забота’, ‘близость’, ‘любовь’, ‘благодарность’: *Он верховодил толпами рахитичных заморышей. Никитич собирал их в клоповниках на Молдаванке, вел их к морю, зарывал в песок, делал с ними гимнастику, нырял с ними, обучал песням и, прожариваясь в прямых лучах солнца, рассказывал истории о рыбаках и животных... Еврейские дети от историй Никитича помирали со смеху, они визжали и ластились, как щенята... Увидев, что надежды нет и что плавать мне не научиться, — он включил меня в число постояльцев своего сердца. Оно было все тут с нами — его веселое сердце, никуда не заносилось, не жадничало и не тревожилось... Я полюбил этого человека так, как только может полюбить атлета мальчик, хворающий истерией и головными болями. Я не отходил от него и пытался усердствовать. Отношения героев выстраиваются по образцу семантической модели категории “свой”: а) Никитич ведет себя, как родитель, или лучше, чем родитель; б) он проявляет заботу о детях, которые в ней нуждаются, причем проявление этой заботы совпадает с ценностями мира детства; в) дети получают удовольствие от общения с ним, что вызывает в их душах ответную любовь и благодарность. Состоявшееся включение в круг “своих” передано фразами: он включил меня в число постояльцев своего сердца; я полюбил этого человека, не отходил от него и пытался усердствовать*

вать. Пространственная модель “внутренний” передается словом *сердце*, содержащим сему ‘находящийся внутри тела’, на основе которого образуются метафоры со значением ‘движение внутри’ (*включил в свое сердце*) и ‘нахождение внутри’ (*постоялец сердца*). Пространство героев организуется по модели “близкий”. Она воплощена фразой *не отходить от кого-л.* со значением ‘находиться близко, рядом’, глаголами совместного действия (*собирать (кого), вести к морю, зарывать в песок, делать с ними гимнастику, нырять с ними*), физического, интеллектуального и психического воздействия (*ласкаться, обслуживать, обучать, рассказывать, верховодить*).

В сфере социальных отношений проходит третья граница между “своим” и “чужим”. Представители одной общинны, где все друг друга знают, жители одной деревни называют себя *своими*, например: *Никого нету, ни знакомых, были б хотя бы человека 3–4 наших учеников, из деревни, веселее бы было. А то чужие кругом, чужие; Потом я узнала ее, вижу, что не наша какая-то не деревенская; Ну, парень наш, деревенский. В церковь ходит, молится.*

Общество разделяется по признаку ‘свой / чужой’ на 1) родственников и неродственников (*В селе много Вершининых, но все ведь не родня, а чужи; А ешио неизвестно, родня ли она. Если б знала, что родня, так и ездила бы без опаски; Ну вот сейчас у нас вся деревня родня, все связаны от одного корня*), 2) коренных жителей и приезжих (*Старожилы — коренные жители, оседлые, давно живут, здесь выросли; Мы корешки уже, наши деды, прадеды здесь выросли; Родились родители и деды, все мы здешны, все потомство здешно; Теперь наехали чужи; Мало старожилов. Примерли. Народ-то здесь все сосланный,*

нездешний; Кто приехал — переселенцы. Если из соседней деревни, то никак не называем; Сначала все были свои, чужих не было — все Вершинины; Понаехало, Вершининых совсем мало осталось. Всё наезжий народ, чужой; Старожилы — это как здешны, а новоселы — это как приезжи. Сейчас много приезжих; Ну, пусть Шаламов чужой человек, приезжий, но свои-то деревенски-то были! А я всех знаю своих деревенских, с какого году [рождения], ей-богу, редкого не знаю; А мужчины на вахту на Север ездят, но это, знаете, это уже не наши, это приезжи), 3) знакомых и незнакомых (Только увидела, так и заговорила. А это нельзя. Надо только со знакомыми разговаривать; Вот смотрю, болтает стоит. А это неправильно, ведь не знает никого; Не знаю, но раньше не было у нас знакомств разных, с кем дружили, кого знали, с теми и разговаривали; Мы только со знакомыми дружили, а чтобы с чужим заговорить, так мы боялись).

67

Так же, как защищаются границы семьи, оберегается внутреннее социальное пространство “своего” мира от небезопасных внешних вторжений: *Были одни вершинински, а уже много приезжих много, и все развалилось у нас сейчас; Новые у нас соседи появились, так они не наши. Надо за ними смотреть.* Безопасным признается общение со знакомыми людьми на “своей” территории: *С кем дружишь — сидишь, а чтобы пойти куда-то встречаться, так этого не было; Так мы вовсе боялись пойти куда-то. Это у нас строго было. Только вот с кем знались, с тем и можно было. А сейчас все не так, не понашему; Вот учу своих. Не знаете, так и не разговаривайте.*

Община воспринимает себя как единое целое, представители одного коллектива защищают друг друга, внутри общины культивируются

родственные и семейные связи: *А ё удивляться, в деревне народ сосед за соседа стоит; Женились на своих, со стороны мало брали, даже родня за родню шли. Люди, пришлые в сложившийся социум, отторгаются, не принимаются им (Татары жили здесь-ка. Так выжили их отсюда. И казак поселился, ссыльный Вершинин. С тех пор одни Вершины и жили. Тогда таких не принимали. Приезжие просились, не брали), остаются чужаками: У нас чужой человек 15 лет прожил, мужчина, всё рыбу ловил.*

С другой стороны, общество отторгает и своих членов, нарушающих этические нормы. Институт этических норм играет огромную роль в социуме: он направлен на развитие духовности, истинных ценностей, на сохранение мира, создает правила общения, основанные на принципе взаимоуважения членов общества, обеспечивая условия комфортного, благополучного существования. Внутренняя форма диалектного слова *отшелец* ‘отщепенец, отступник’⁴⁴ построена на пространственной модели удаления, позволяющей передать ситуацию самоизгнания из общества: *Хороший, а уже плохой – говорили “отшелец”*. Если он такой избалованный, просто *отошёл от всего хорошего*. На основе внутренней формы слова и контекстного употребления восстанавливается значение ‘отшедший от ценностей своего общества’.

Осуждению подвергаются люди, которые а) не дорожат родовыми, семейными связями (*Есть у меня сосед Сашка, непутёвый* такой. *Нашёл себе девчонку, с которой вместе учились, с Валей. Женился на ней* ещё до армии. Принесла девчонку, теперича ужо большая. Ушёл в армию и *перестал ей писать*. Пришёл с армии и *бросил её*. *Нехороший мужик*), б) безответственно относятся к жизни (*Этому ничего не надо, что*

только ходить, дак выпивать, вот не понимают он совсем, что трудиться надо. А он только деньги любит, да на выпивку они и уходят; Я нынче-то Наташке говорю: “Наташа, за кого попало не кидайся”. Я говорю, лучше посидеть в девках, чем за какого-то пьяницу; Не люблю я пьяных, что с них толку; Раньше лучше было. Все работали. И я всю жизнь топором пропахал. А щас все пьют, бичуют. Молодежь не работает, только воровством занимаются), в) отходят от идеала труда, столь близкого представителям старшего поколения: А кто работал? Кто нужду имеет, тот и работает. А сейчас молодежь работать не хочет; Раньше мы молодые были, так старались работать. Сейчас они не хотят, им только развлеченье подавай; Я, помню, молодой была. Так стремилась работать. А мои снохи дома сидят. За них мужья работают; Нет вы посмотрите, как мы раньше работали. А что сейчас молодым – только гулять да пить; Нынешняя молодежь совсем от рук отбилась. Жили бы как мы, так ценили бы труд; Сейчас молодые хотят все за бесплатно получить. А надо ведь работать. Мы всегда работали; Сейчас молодежь не работает. У меня племянница не работает. Живет в грязи; Вон мы раньше работали, все трудились, а сейчас что говорить. Никто работать не хотят, все лентяи пошли; Сейчас люди работать не хотят. Им все так достается. А мы раньше трудились.

Как свидетельствуют приведенные высказывания, когда речь идет о несоблюдении этических норм, актуализируется противопоставление старшего и молодого поколения: *А вот осознание у молодых и хуже и хуже, и хуже...; Раньше народ лучше был, счас совсем никудышный стал. Есть, конечно, сознательны, а есть такое “барахло”. Раньше старых вон как уважали.* Таким

образом осуществляется дифференциация “своего” общества по признаку ‘соответствующий — не соответствующий этическому идеалу’.

Четвертая граница между “своим” и “чужим” обозначается территориально, она отделяет место обитания общины от остального мира. Место, где человек проживает долгие годы, как бы присваивается. В рассказах о “своей” деревне встречается выражение *у нас в деревне*: *Вот у нас в деревне и дышать хорошо, так это все, потому что воздух у нас хороший; Ну вот сейчас у нас вся деревня родня, все связаны от одного корня*. Другие деревни, в том числе соседние, называются *чужими*, например: *Лександру привез из чужой деревни; Потом эти иконы уносят. В чужу деревню, дальше; А я у баб не итбиваю деревенских [мужей] — у чужих*. Деревня противопоставляется городу: *В городе плохо, я привыкла в деревне жить; Меня городска жизнь не манит. Мне коровушка уж така мила; Вот если бы в деревне жил, так и здоровым был. У нас сам посмотрит воздух какой, не такой как у вас там, в городе*.

Нарушение чужаками пространственной границы “своего” мира воспринимается как нападение: *А кривошеинцы повадились — что где брось и уже нету, утащили. Ой, Кривошеино, я не знаю*. Граница между “внутренним” и “внешним” пространством всегда составляла предмет особой заботы, примером чему может служить древняя традиция защищать края одежды орнаментом. Концептосфера “чуждости” включает в себя все, что нарушает целостность и безопасность семьи и общества. Вхождение чужого в “свой” мир может состояться при условии его соответствия этическому идеалу, что является своего рода гарантом безопасности для принимающего общества. В высказывании *Остяк один промышлял. Заехал к ему, лежит таким ферсом, и книж-*

ка перед ним. Такой приятный мужичошка. Я спрашиваю: “Так ты имеешь грамотёшку?” положительная оценка человека (*приятный мужичошка*), упоминание о его ценных личностных качествах, как и желание автора текста навесить хозяина свидетельствуют о том, что включение представителя другого этноса в круг “своих” состоялось или готово состояться.

“Свое” и “чужое” пространство расширяется противопоставлением “сибиряк” — “российский”, которое обозначает этническую границу “своего” — “чужого” мира: *Приехавших новоселы зовут. Из разных областей приехали. Мы вот сибиряки; Коренных сибиряков чалдонами называют. Я не чалдонка, я росейка; Нет, я не чалдонка, росейска; Тут коренных сибиряков мало, в основном новоселы; “Российски” назывались, потому что из России, из Вятки; Я молоко там у одной брала, она россейска; Счас там улица вся заселёна была росейскими.* При этом осознание причастности к своему народу, своей культуре, несомненно, присутствует: *Это староверы. Они русских не любили.* Другие страны именуются *чужими державами*, например: *А Горбачёв-то он едет, по чужим-то этим державам-то, по всем, а тамо-ка всё везде Богу молятся.*

71

Категоризация по признаку ‘свой / чужой’, проводимая представителями среднеобских говоров, присуща всей народной культуре, ярким показателем чего служит собрание пословиц русского народа, составленное В. И. Далем⁴⁵.

Расширяющаяся по мере укрупнения и удаления от центра модель “своего” мира предстает следующим образом.

— Личность: *Всяк себе хорош; Всяк сам себе загляденье; Всяк сам себе дороже; Здравствуй я, да еще милость моя; Своя рука не солжет; Всякая рука к себе загребает; Всякий Демид себе поро-*

вит; Сова о сове, а всяк о себе; Своя работа — первый барыш; У всякого Гришки свои делишки; Всяк сам на себя хлеба добывает; Людей продать — почем ни взять, а на себя и цены нет.

— “Своя” семья и ее собственность: *Всякому мужу своя жена милее; Дитя хоть и криво, да отцу, матери мило; Свой своему поневоле друг; Русский человек без родни не живет; Свой со своим бранись, а чужой не вяжись; Всякая птица свое гнездо любит; Свой уголок всего краше; Всякому свое мило; Ни купец, ни дворянин, а своему дому господин; Своя ноша не тянет; Наш атлас, не отходи от нас; Начхаю богачу, коли свой спон молочу; В своей сермяжке никому не тяжко; На чужой каравай рта не разевай, а пораньше вставай да свой затевай!; Свой сухарь лучше чужих пирогов; Больно — жена, земля да холоп (т.е. семья да имущество); Считай всяк пастырь свое стадо; Живи всяк своим добром да своим горбом!*

— “Своя” деревня: *Где кто родится, там и пригодится; Всяк кулик свое болото хвалит; Топчитесь, бесы, да не в нашем лесе!; Город — царство, а деревня — рай; Москва — царство, а наша деревня — рай.*

— “Своя” страна: *Где ни жить, а одному царю служить; В каком народе живешь, того и обычая держись; Родимая сторона — мать, чужая — мачеха.*

В зеркальном отображении предстает “чужой” мир:

— неродные, чужие дети и родители: *Не рожден — не сын, а не куплен — не холоп;*

— “чужая” семья и ее собственность: *Чужа одежда не надежа, чужой муж не кормилец; Чужая скотина — не животина; Не в свои сани сел; Милому гостю домой пора;*

— “чужая” деревня, город: *Глукая Вязьма, бестолковый Дорогобуж; Русь навалила, нас сов-*

сем задавила (сибирск.); Живи, живи, ребята, пока Москва не проведала (старин. урал. каз.); В Москву идти — голову нести; Москва — кому мать, кому мачеха; Москва слезам не верит (т.е. никого не разжалобишь, все чужие); Москва по нашим бедам не плачет;

— “чужая” страна: *За морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да свое; Русский немцу задал перцу; Что русскому здорово, то немцу смерть; Чертова сторонушка (Финляндия); Горе в чужой земле безъязыкому.*

Подведем итоги анализа. Пространственная модель “близкий — далекий” при осмыслинении категории “свой / чужой” используется многократно и разнообразно. 1) Существует коррелятивная оппозиция “свой — близкий”, “чужой — далекий”, зафиксированная в словосочетаниях *родимая сторонка, чужедальняя сторона*. 2) Когнитивные корни категории “свой / чужой” видятся в идеи рождения, кровной близости, на основе которой выстраивается семантическая структура категории. 3) Модель пространственного дистанционного расширения используется в структурном моделировании “своего” и “чужого” мира, границы которого расширяются от личностного центра (*Вся семья своя, да всяк любит себя*), к семейно-родственной, далее социальной обособленности до территориальной выделенности и этнической идентификации. В интерпретации элементов “своего — чужого” мира пословицы, собранные В. И. Далем, и современные диалектные высказывания проявляют поразительное единодушие. Сетование на молодых, присутствующее в диалектных текстах, поддерживается пословицами *Сусло не брага, молодость не человек; В чем молод похвальится, в том стар покается*. 4) “Свой” мир дифференцируется по степени близости, примером чего служат названия *близкие, дальние родствен-*

ники. 5) Отторжение чужих передается через идею удаления (*отшелец, отойти от кого-л. прочь*).

Модель “внутренний — внешний” связывается с идеей границы между “своим” и “чужим” миром. Внутренне пространство “своего” мира защищается от внешних вторжений, избавляется от чужаков. “Свой” мир не стремится открыть свои границы, он сплачивается тайной происходящего внутри, взаимопомощью членов коллектива и расширением родственных связей. Возможность стать “своим” среди “чужих” появляется в случае соответствия “претендента” этическому идеалу того общества, в котором он пытается укорениться.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира: модели пространства, времени, восприятия. М.: Гно-
зис, 1994. С. 25 – 29.

² Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М, 2003. С. 16 – 29.

³ Яковлева Е. С. Указ. соch. С. 21.

⁴ Бродский И. А. Путешествие в Стамбул // Брод-
ский И. А. Форма времени: Стихотворения, эссе, пьесы: В 2 т.
Т. 2: Стихотворения, эссе, пьесы. Минск: Эридан, 1992. С. 361.

⁵ Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М, 2003. С. 369.

⁶ Гжегорчикова Р. Понятийная оппозиция верх — низ
(пол. ‘wierzch’ — ‘spyd’) и языковая модель пространства //
Логический анализ языка. Языки пространств / Отв. ред.
Н. Д. Арутюнова, И. Б. Левонтина. М.: Языки русской
культуры, 2000. С. 78.

⁷ Гынгазова Л. Г. Словарь диалектной языковой лич-
ности как отражение концептуализации мира // От Слова-
ря В. И. Даля к лексикографии XXI века. Владивосток,
2002. С. 136 – 145.

⁸ Пименова М. В. Этногерменевтика языковой наивной
картины внутреннего мира человека. Кемерово, 1999. 262 с.

⁹ Арутюнова Н.Д. О стыде и совести // Логический анализ языка: Языки этики. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 54 – 78.

¹⁰ Арутюнова Н.Д. Язык цели // Логический анализ языка. Избранное. 1988 – 1995. М.: Индрик, 2003. С. 386 – 396.

¹¹ Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М, 2003. С. 146.

¹² Там же. С. 147.

¹³ Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. проф. Д. Ушакова. М.: ТЕРРА, 1996. Т. 1. С. 870.

¹⁴ Вершининский словарь / Гл. ред. О. И. Блинова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. Т. 5. С. 349.

¹⁵ Даль В. И. Пословицы русского народа: В 3 т. СПб.: ТОО “Диамант”, 1996. Т. 1. С. 69.

¹⁶ Вершининский словарь / Гл. ред. О. И. Блинова. Т. 1 – 7. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998 – 2002.

¹⁷ Здесь и далее используется материал записей сибирского фольклора, собранный студентами и преподавателями филологического факультета Томского университета, который хранится на кафедре русской литературы XX в. Томского государственного университета.

¹⁸ Платонова А. Е. Культурология: Учебн. пособие для высшей школы. М.: Академический проект: Традиция, 2003. С. 35.

¹⁹ Там же. С. 45, 80.

²⁰ Топоров В. Н. Мост // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. / Под ред. С. А. Токарева. 2-е изд. М.: Российская энциклопедия, 1997. Т. 2. С. 177.

²¹ Там же. С. 176 – 177.

²² Там же. С. 177.

²³ Платонова А. Е. Указ. соч. С. 45.

²⁴ Бидерманн Г. Энциклопедия символов / Пер. с нем. М.: Республика, 1996. С. 215.

²⁵ Эмер Ю. А. Растительный мир в языке фольклора // Актуальные проблемы лингвистики: Материалы региональной конференции молодых ученых “Актуальные проблемы лингвистики, литературоведения и журналистики” (24 марта 2000 г.). Томск, 2001. С. 78.

²⁶ Гынгазова Л. Г. Указ. соч. С. 140 – 141.

²⁷ Вершининский словарь.

²⁸ Жили да были: Фольклор и обряды томских сибиряков / Собиратель, составитель и автор комментариев П. Е. Бардина. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1997. С. 193 – 207.

²⁹ Там же.

³⁰ Там же.

³¹ Толстая С. М. Вербальные ритуалы в славянской народной культуре // Логический анализ языка: Язык речевых действий. М., 1994. С. 72 – 77.

³² Здесь и далее при отсутствии ссылки приводятся материалы диалектных словарей: Вершининский словарь. Т. 1 – 7 / Гл. ред. О. И. Блинова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998 – 2002; Полный словарь сибирского говора: В 4 т. / Гл. ред. О. И. Блинова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1992 – 1995; Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби: В 3 т. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1964 – 1967; Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби: Дополнение: В 2 т. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1975; Среднеобский словарь: Дополнение: В 2 т. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1983, 1986.

³³ Гловинская М. Я. Семантика глаголов речи с точки зрения теории речевых актов // Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. М.: Наука, 1993. С. 158 – 218.

³⁴ Новикова Л. А. Деминутивы существительных как производное основы и суффикса: Статья 1 // Информация и языковой знак. Тюмень, 1979. С. 77 – 86; Рахманова Л. И. Стилистические и лексико-грамматические особенности размерно-оценочных существительных в современном русском языке // Учен. зап. МГПИЯ. 1971. Т. 58. С. 127 – 141.

³⁵ Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1997. С. 34.

³⁶ Примеры челобитных собраны из [Библиотека сайта XIII век: Письма смутного времени // http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVII/160-1620/Briefe_wirrenzeit/text.htm].

³⁷ *Юрганов А. Л.* Категории русской средневековой культуры. М.: МИРОС, 1998. С. 216 – 218.

³⁸ *Гуревич А. Я.* Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984. С. 203.

³⁹ *Юрганов А. Л.* Указ. соч. С. 219.

⁴⁰ *Иссерс О. С.* Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М., 2003. С. 30.

⁴¹ *Дронова Л. П.* Языковая история становления оппозиции “свой” – “чужой” и категория оценочности // Европейские исследования в Сибири: Материалы всесос. науч. конф. “Мир и общество в ситуации фронтира: проблема идентичности”. Томск, 2004. Вып. 4. С. 267 – 280; *Петренко М. Н.* Семантический компонент “свой / чужой” в фольклорном и диалектном бытовом текстах: Дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2005. 227 с.

⁴² *Гынгазова Л. Г.* Указ. соч. С. 140.

⁴³ *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. / Под ред. проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ. Т. 1: А – З. М.: ТЕПРА, 1998. С. 675.

⁴⁴ Вершининский словарь / Гл. ред. О. И. Блинова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. Т. 4. С. 324.

⁴⁵ *Даль В. И.* Пословицы русского народа: В 3 т. СПб.: ТОО “Диамант”, 1996. Далее используется материал пословиц, собранных В. И. Далем, из указанного издания.

1.1.2

ФИЗИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ДИСКУРСЕ НОСИТЕЛЯ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Раздел посвящен описанию пространственных категорий, реализующихся в дискурсе языковой личности носителя традиционной культуры. Рассматривается внешнее физическое и внутреннее духовное пространство в восприятии конкретного носителя языка.

78

В триаде базовых понятий современной лингвистики *язык — мир — человек* последнее — языковая личность как субъект осмысления мира — занимает ведущую позицию. С этим связано появление новой области языкоznания — лингвистической персонологии, в рамках которой исследуется феномен языковой личности (ЯЛ), понимаемой либо как обобщённый тип носителя языка — совокупная, коллективная ЯЛ, либо как конкретная идиолектная личность, представленная реальным говорящим. К числу важнейших вопросов лингвоперсонологической теории можно отнести выделение и изучение типов языковых личностей. Существующие в настоящее время типологии строятся на различных основаниях с учётом позиций психолингвистики, социолингвистики,

лингвокультурологии и их пересечения. Оставляя в стороне обзор работ соответствующей направленности, который подробно представлен в исследованиях В. И. Карасика, Е. В. Иванцовой и др.¹, отметим, что, несмотря на интенсивное развитие, лингвоперсонология продолжает оставаться преимущественно в сфере абстрактного подхода к говорящему субъекту: исследовательский взгляд обращён на “модельную личность”, “усреднённого говорящего”, “культурный прототип носителя языка”, “своего рода семантический фоторобот” и т. д. Конкретные ЯЛ становятся предметом внимания лингвистов значительно реже, особенно если речь идёт об исследовании картины мира рядового, неэлитарного носителя языка по данным реальной коммуникации. Между тем реконструкция индивидуальной картины мира, проявленной в созданных языковой личностью текстах, призвана отразить не только способ интерпретации мира индивидуальным сознанием, но и корреляцию типа языковой личности с типом культуры, носителем которой она выступает.

79

Немногочисленность персонологических изысканий такого рода не в последнюю очередь связана со спецификой источниковой базы исследования, в качестве которой выступает дискурс языковой личности, то есть, по Ю. Н. Караполову, “весь процесс говорения и зафиксированный за относительно длительный отрезок времени результат этого процесса”². Столь обширная база данных может быть получена только в результате длительных наблюдений. Опыт подобных 23-летних наблюдений над конкретной языковой личностью Веры Прокофьевны Вершининой (1909 – 2004), жительницы с. Вершинино Томской области был осуществлён томскими диалектологами. Результатом явился

корпус текстов (10 тыс. печ. стр.), отражающих естественную речь диалектносителя в различных коммуникативных ситуациях.

Языковая личность, выступая в данном случае как самостоятельное явление речевой действительности, представляет одновременно определённый тип речевой культуры в пределах национального языка, которую принято называть народной, традиционной, архаической. В системе её конституирующих средств можно выделить, вслед за В. Е. Гольдиным, функционально-социальные, собственно речевые и когнитивные доминанты, которые при многочисленном совмещении и пересечении образуют центральные для этой культуры “коммуникативные узлы”.

В числе таких доминант В. Е. Гольдин, в работах которого проблемы традиционной культуры речевого деревенского общения получили теоретическое осмысление³, отмечает слабую расчленённость коммуникативной сферы, когда личная и просто индивидуальная сфера общения почти не противопоставлена коллективной; свой набор речевых событий и воплощающих их речевых жанров; свои способы трансляции диалекта во времени через собственные прецедентные тексты, разнообразные обрядовые формы коммуникации, особый речевой этикет и др.

В сфере коммуникативных средств наиболее яркими, характеризующими признаками являются единственno устная форма бытования речи, её предельно разговорный характер, установка на диалогичность, с одной стороны, и на иконичность, изобразительность — с другой, принцип совмещения ситуации темы с ситуацией текущего общения, проявляющийся в самых разнообразных формах⁴.

Все выделенные доминанты характеризуют данную культуру прежде всего как единый ком-

муникативный тип, но при этом они неразрывно связаны с **когнитивной сферой**, отражающей мировидение и миропонимание членов соответствующего языкового коллектива. Представляется, что в типологическом описании той или иной культуры и шире — в построении типологии культур **ведущим параметром является определение типа ментальности, или, иначе говоря, картины мира, присущей данному этноязыковому сообществу.**

Ставя задачу описания картины мира, немаловажно отметить, что степень адекватности такого описания повышается, если анализ базируется на текстах реальной коммуникации, а не на семантической системе языка, представленной в его словаре и грамматике. Принципиальная ориентированность на дискурсивный речевой материал, в котором язык предстаёт как форма человеческого поведения в практической жизни, заставляет искать способ его организации, отражающий не логическую упорядоченность, но определённую точку зрения говорящего субъекта на мир. Своего рода инструментом для достижения точки зрения представителя определённой культурной общности выступают ключевые концепты. Способы их языковой презентации отвечают условиям коммуникативной выделенности, высокой разработанности семантической сферы, ценностной маркированности и другим факторам, из которых не следует исключать интуицию исследователя, базирующуюся на знании коммуникативного бытия языковой личности и её социума.

Образ мира языковой личности, объективированный в дискурсивных текстах, с позиции анализа предстаёт как иерархизованная структура; её ядро составляют ключевые концепты, от-

раждающие центральные точки, вокруг которых организуются целые области культуры. Будучи тесно взаимосвязаны, они определяют характер мировидения и миропонимания индивида и служат основой для формирования концепции типа языковой личности. Анализ лексикографически обработанного текстового материала показал, что такими точками — “зонами актуального внимания сельского жителя” (В. Е. Гольдин) выступают фрагменты мира “Дом”, “Земля”, “Жизнь”, “Смерть”, “Человек” в его внешних и внутренних характеристиках, “Родня”, “Труд”, сфера наивной религии: “Бог”, “Грех” и пересекающиеся с ней “Правда / Истина”, “Воля” и др. Можно сказать, что состав этих зон достаточно предсказуем, но константами традиционной культуры их делает только специфический характер концептуализации.

82

Известно, что при описании или содержательном сопоставлении различных образов мира, получаемых в рамках соответствующих мировидений, в качестве универсальных категорий человеческого сознания и культуры выступают пространство и время, так как “в конструировании субъектом образа мира и его последующем упорядочении данные категории задают его пространственно-временной каркас”⁵.

Дальнейшее описание посвящено реконструкции пространственного аспекта картины мира языковой личности.

Первичность пространственных отношений в структуре картины мира определяет широту и многообразие способов их концептуализации, при этом можно говорить о **взаимопроникновении пространственных и других качественных категорий и о проявленности категорий пространства в различных сферах бытия**. Одним из путей реконструкции представ-

лений языковой личности о пространстве может стать обращение к ключевым концептам. Как показывает анализ, они сложны и многомерны. Отвлекаясь от целостного описания их признаков, попытаемся вычленить и интерпретировать те из них, которые формируют образ пространства в дискурсивной картине мира языковой личности носителя традиционной культуры.

В выделении основополагающих свойств картины мира исследователи отмечают её космологическую ориентированность — она есть глобальный образ мира, выстраиваемый человеческим сознанием. Структура и границы этого мира задаются прежде всего пространством, “одной из первых реалий бытия, которая воспринимается и дифференцируется человеком”⁶.

Космологическое видение пространства объективируется в идиолекте словами *свет, мир, земля* в их включённости во фразеологические сочетания, в семантике которых глобальное пространство мира ориентировано относительно человека: в нём рождаются (*на свет наречься*) и живут (*по всему белому свету-то много их живёт; Так бы жил и жил человек бы, не умирал бы. Так земля бы не стерпела*); по нему ходят, ездят (*ходили раньше по миру; ну, она белый свет уж весь обхехала*); в нём существует определённый порядок (*чё в мире, то и нам*); оно выступает как обобщённый объект восприятия (*белого света не видать; не мил белый свет*). Иными словами, если пользоваться предложенной В. Н. Топоровым⁷ типологией пространства, основанной на противопоставлении субстанциональной и реляционной концепции, то речь идёт не о ньютоновском — безграничном и бесконечном, отвлечённом от человека прост-

ранстве, а о лейбницевском — одушевлённом и чувственно воспринимаемом.

В осмыслении языковой личности глобальное пространство мира, согласно христианскому миропониманию, дискретно: в нём существует пространство бытия (*белый свет, этот свет*) как область реального и инобытия (*тот свет*) — область потустороннего, сакрального. В мифологическую модель глобального пространства входит и противопоставление земли и неба (*небес*) в его сакральном понимании (*Христов день. Иисус Христос спустился с неба. А Вознесенье — он уж вознялся под небеса потом и ушёл*). Оба вида сакрального пространства организуются населяющими его объектами (ад, рай, Бог, ангелы и т. д.), однако для языковой личности оно не наделено глубоким мировоззренческим смыслом, присущим религиозному сознанию. Отсутствие осознанной связи души — в понимании языковой личности, — носителя жизни — с высшим духовным началом определяет отсутствие представлений о загробном существовании в пространстве инобытия (*на сорок дён-то говорят улетат [душа на небо]. А чё, поди куда она улетит? Умрёт человек и всё; А кто оттэдова пришёл-то? Кто рассказал-то чё? Никто же не пришёл оттэдова, никто не рассказал. Я дак от думаю... так это я, грешница, думаю: ну умрёшь и всё; Человек умрёт дак хоть забор подпирай ём*). Однако при этом образы “обжитого” пространства *того света*, заполненного мифологическими реалиями, присутствуют в сознании языковой личности (*Меня, наверно, все фонари разбили на том свете с фонарями ишишут. За мной очередь [умирать]*). Более того, они служат отправной точкой для метафоризации фрагментов обыденного пространства (*А он холостой парень, и взял её [замуж]. Да в такой рай! Они же богачи присмёртны... Прям*

не знаю, какой рай там ему был; А теперь эту квартиру иттдала как-то. Там Тамаре этой. Дочерь с мужем там, а у ей трое детей, а дети у Татьяне. Ой, не знаю, там ад!). Таким образом, рациональное восприятие мира в его причинно-следственных связях, свойственное индивидуальному типу сознания языковой личности, приходит в противоречие с коллективным, мифологическим, “навязанным” системой языковых форм, отражающих христианскую концепцию мира, и уступает диктату языка.

Анализ дискурсивных данных позволяет говорить о горизонтальной и вертикальной стратификации жизненного пространства земли. Вертикальное измерение может быть интерпретировано как векторное “вверх – вниз”, из которых первое ассоциируется с жизнью (ср. витальные предикаты *расти, прорастать, родиться*), второе же соотнесено со смыслом небытия, смерти. Смерть трактуется как путь человека с поверхности земли в её недра. Представление о движении души по вертикальной линии к небесной высоте, как уже отмечалось, не актуально для языковой личности. В номинациях умирания *в землю уйти, в землю вогнать* (при насильственной смерти), *уйти, отойти, пропасть, убраться, землёй взяться* смысловой доминантой выступает ‘ход’, синcretично слился со смыслом ‘недоступность для зрения’, который указывает на переход пространственного предела, отделяющего видимое от невидимого, живое от неживого.

Способ концептуализации смерти как ухода, судя по данным, которые приводит С. М. Толстая, имеет глубокие корни и является универсальным для славянской народной культуры. Она отмечает, что “взятые вне обрядового контекста и контекста верований описываемые

единицы могли бы истолковываться как обычные языковые метафоры, эвфемистические замены глагола *умирать* (*умереть*), вызванные табуированием прямых обозначений смерти и умирания, однако сам характер подобной заместительной номинации обнаруживает глубокую укоренённость этого “вторичного” лексикона смерти в культурных представлениях, его прямую связь с верованиями и обрядовой практикой, его культурную мотивированность и семантическую глубину”⁸.

В представлениях языковой личности о пространстве бытия очень важным является образ пути, который оформляется в базовую метафору жизни, получающую развитие в различных сферах человеческого существования.

В основе архетипического понимания пути лежит конкретно-пространственный смысл, связанный, с одной стороны, с идеей движения, с другой — с идеей пространственной локализованности этого движения, имеющего границы и, следовательно, упорядоченного. В дискурсивных текстах слово *путь* в его конкретно-пространственном значении не отмечено — такое значение закреплено за лексической единицей *дорога*. Смыловый план концепта соотнесён с метафорическим осмыслением пути, при котором физическая, материальная пространственность трансформируется в идеальную, умозрительную (видимое зрением > видимое сознанием)⁹. В умозрительном пространстве пути особую выделенность получает идея его “конечного пункта” — окончания земного существования, поддерживающая метафору смерти как ухода. Она получает отражение во фразеологизме *проводить в последний путь*, значение которого обращено в сакральную сферу и содержит указание на ритуальность действий, сопровождающих переход

человека в иное пространство (*Хоронили Анну Петровну-то, приезжали, дак приехали на самолёте — они семнадцать с половиной [тысяч]. Я говорю, выслали бы, — ну, “в последний путь мать проводить”*; *Помяните, склоните честь по чести. В последний путь!*).

Земной жизненный путь, заполненный чередой событий, мыслится как смена порядка и беспорядка — нарушения привычного движения. Преодоление беспорядка получает языковую отмеченность во фразеологизмах *зайти в колею, вступить в колею: Потом собралась и ушла[жена сына]*. Они прямо чуть... “кое-как, гыт, — на меня, — ой, тётя Вера, кое-как в колею, гыт, зашли, кое-как в колею... вступили”.

Проецирующийся из прототипического пути смысл упорядоченности движения может “укрупняться” и перерастать в идею ценностно отмеченного порядка, пространством существования которого становится этическая сфера. Путь, вписанный в систему нравственно-этических ценностей, на шкале нормы лежит в её позитивной части, обозначая идеализированную норму, которая значительно реже становится предметом внимания языковой личности. Она служит фоном для сосредоточенности на отрицательном полюсе, представленном развернутым вариантным рядом: *сбиться с правильно-го пути, не пойти по пути, пойти по неправиль-ной пути, пойти по плохой пути* (*У Люды мальчик, а его в армию взяли, он сбежал. И чё-то пошёл не по правильной пути, давай воровать тут кое-чё да... Его посадили в тюрьму; А гармонис — то сбился с правильного пути, утывать стал; Плоха девочка стала, по плохой пути пошла; И он-то красивый. А дети не пошли по пути*).

Отклонение от правильного пути, жизненный беспорядок усматривается языковой лич-

ностью не в сиюминутных проявлениях, а в морально осуждаемом образе жизни (в пьянстве, воровстве, склонности к неблаговидным поступкам, нежелании трудиться — последнее особенно важно, так как труд, с точки зрения В. П., является главным нравственным долгом человека). Всё это имплицирует представления языковой личности о нравственном выборе и его “судьбоначестности” (Е. С. Яковлева).

Способ миромоделирования через метафорическую модель “жизнь — это путь” чрезвычайно продуктивен в идиолекте: он является основой для формирования множественных мыслительных образов, реализующих идею порядка и беспорядка практически во всех сферах человеческого бытия: этической, социальной, интеллектуальной, утилитарной. Не останавливаясь на этом подробно, ограничимся несколькими иллюстративными контекстами: *Он не работает нигде. Хочет в город. ~ Непутёвый. Там работать надо, а он работать не любит; А бабёнка беспутна тоже, она и щас бегает, сучит без ума; Она шибко така вольна, распутна была, ит мужика гуляла, гыт, тамо-ка; А у ей дочка Наташа. Ну така вольна, така... Не дай Бог! Бегла; Ну, маленько чё-то перепутала она. Так-то она не блудит. О, как по воде бредёт! Ну она ничё и не запинатся и ничё. Вот я чё думаю сказать, забуду, а она...; Печенья — высушит [мама] в мешочек и подвешат. И мы не брали, никто не блудили, не ели; Пойти по внука. Наблюдит чё-нибудь. Блудня он, мальчик-то, невоспитанный; Она развалилась, а мать говорит: сядь путём!; Раньше, когда в путно-то время было, дак родилась[клиоква], на болоте брали.*

Возвращаясь к горизонтальному измерению физического пространства, следует сказать, что при осознании его глобальной протяжён-

ности (*белый свет, мир, земля*) оно не мыслится континуально. В основе его членения лежит универсальная позиция человека как точки отсчёта в моделировании действительности. Субъектная ориентированность пространства определяет характер его восприятия в координатах оппозиции “своё — чужое”. Естественная категория свойственности — чуждости признаётся исследователями ментальным конструктом высшего порядка, упорядочивающим как чувственно воспринимаемые, так и когнитивно обусловленные объекты. В результате этой упорядоченности проявляется дуалистическая организация мироустройства, пропущенная сквозь сознание субъекта: “Сфера “свои — чужие” как раз такая, где само противопоставление создаётся не только объективными данными, но и их отражением в сознании”¹⁰.

Поскольку ядром смысловой общности “свой — чужой” является говорящий, “своим” признаются разнообразные явления, входящие в личную сферу субъекта речи, то есть “сам говорящий и всё то, что ему близко физически, морально, эмоционально или интеллектуально — некоторые люди, плоды труда человека, его неотъемлемые атрибуты и постоянно окружающие его предметы”¹¹. То, что выходит за пределы личной сферы, образует пространство сферы “чужое”.

89

Противопоставленность “своего” и “чужого” в осмыслиении мира релевантна для всех сфер существования человека, но прежде всего она проявляется в пространственном восприятии горизонтальной земной поверхности — традиционной, естественно осваиваемой сфере жизненного пространства. Способ её членения заложен в идее “собирания”, “обживания”, освоения пространства древним человеком, описанной В. Н. Топоровым в рамках архаической

модели мира¹². Применительно к анализируемому материалу корреляция своего — освоенного и чужого — неосвоенного пространства отражена в фактах языка: локальная соположенность фрагментов “окрестностей говорящего”¹³ чётко противопоставлена *чужой стороне, дальнym kраям, тёплым странам, другой стороне*. В речевых реализациях данных номинаций семантика дистантности расположения относительно говорящего сопряжена с модусом неопределенности, характерным для обозначения зоны “чужого” (на это впервые обратил внимание А. Б. Пеньковский¹⁴): *Ну она писала там: “Дорогой мой братец! Состарила, гыт, меня чужа сторона”*; Только не попали они вместе, в другу сторону попали, они как к Чёрному морю попали где-то; *Приезжa, приезжa, она издалёка, с тёплых стран; Вот скворчики прилетают, все пташки прилетают из дальних краев.*

90

Характер и степень расчленённости географического пространства языковой личности очень хорошо прослеживаются при анализе топонимической системы идиолекта, осуществлённом Е. В. Иванцовой¹⁵. Полученные ею данные весьма показательны, поэтому приведём их подробно. Автор отмечает, что топонимия в лексиконе исследуемой языковой личности насчитывает около двухсот единиц, однако их дислокация на индивидуальной географической карте характеризуется территориальной неравномерностью. Весьма немногочисленна группа макрообъектов — наименований стран (9). Чуть больше (10) количество объектов, отражающих территориальное деление в пределах нашей страны (*Дальний Восток, Приморский край, Кемеровская область, Чечня, Чукотка* и др.). Достаточно широко (35) представлены города: в большинстве своём это города Российской Федерации,

причём в пределах этой группы самую значительную часть составляют города Томской и соседней с ней Кемеровской области (*Томск, Асина, Почтовый* (неофициальное обозначение закрытого города вблизи Томска), *Стрежевое, Кемерово, Белова, Тайга, Юрга* и др.). Более дробное административное деление отражено только по отношению к тем же областям.

Самым обширным классом (51) являются наименования мелких населённых пунктов: сёл, деревень, посёлков (*Алаева, Барабинка, Курлек, Ларина, Лоскутова, Петухова, Светлый, Яр / Ярское* и др.). Все они расположены в средней части бассейна р. Оби, на территории Томской и Кемеровской областей. Названия районов и улиц внутри населённых пунктов отмечены только для Томска и Вершинина. Томская топонимия в речи информанта представлена 16 наименованиями частей города — официальными и неофициальными (*Академгородок, Бахтин, Держинка, Психа, Перво Томск, Шарики* и др.), Вершининская — включает неофициальные названия частей села (*Горёвка, Горка / На Горке, Татарский край / Татары, Чебоксары*) и отдельные наименования улиц (*Садовая, Советская, Победа*).

Дальнейшая, более дробная дифференцированность пространства определяется наличием топонимов, обозначающих участки рельефа в окрестностях села (13), как правило значимых в сельскохозяйственном отношении (*Под бором, Елань, Грязнушки, Переливы, Страшно, За Чистым* и др.). Большую группу (18) представляют гидронимы, обозначающие притоки, протоки, рукава, заливы р. Томь, на которой расположено с. Вершинино, а также озёр, речушек, болот в окрестностях села (*Криулька, Сенна Курья, Тугояковка, Торкмишно болото* и др.).

Приведённые данные ярко демонстрируют высокую степень расчленённости своего, освоенного пространства и гомогенности чужого, которое отражено фрагментарно, с множеством лакун.

Ядро топонимической системы составляют единицы, относящиеся к объектам личной сферы информанта. Оно в значительной мере сформировано в процессе овладения родным диалектом с последующим естественным расширением личного опыта. Источники пополнения топонимических знаний (чужая речь, средства массовой информации) в целом формируют лишь зону периферии. Таким образом, можно утверждать, что границы освоенного носителем традиционной культуры пространства в достаточной степени статичны, а интеграция языковой личности с миром тяготеет к ограниченности узкими локальными рамками.

В структуре субъектно ориентированного “своего” мира центральное место отведено дому — непосредственно прилегающему к человеку индивидуальному пространству, в котором протекает жизнь в её реально-практических формах. Оно имеет физические границы и заполнено разнообразными объектами, обобщённо представленными номинацией *домашность*. Результатом моделирования данного пространства является метонимическое осмысление дома как рода, семьи, людей, живущих в нём (*Что он один в дому, женыны нету, семьи нету*). Семейные отношения, основанные на этих связях, предполагают в числе прочего ведение совместного хозяйства, отсюда метонимическое представление пространства дома как хозяйства отдельной семьи (*Ну, у нас мастера были: тётя, Николай, Василий — они всё делали в своём дому, всё*).

Дом предстаёт как совмещение пространств, соотнесённых с различными сферами

бытия, причём языковая личность в его физических границах моделирует и невидимые миры. Так, тексты дают возможность выделить этическое пространство, отмеченное оценочными смыслами, которые высвечивают представления языковой личности об идеальной норме (*Ну а вот у ей как дома, мне тоже не нравится. Так она матерится при детей, и всё — ой!; Придёт домой в обед, а она сидит: “Ложку подай!”*).

Дом как психологическое пространство, которое трудно отделимо от мира этических оценок, осознаётся как существующий в доме психологический климат, определяемый эмоциональными связями и поведенческими установками людей, живущих в нём (*Это, Петров день как-то праздновали. Я отстряпалась и... пошла по ягоды... Целу чашку стогом набрала. Пришла домой, Степан приехал откэдова-то, как-то хорошо было, с работы. Я в чашку ягоду насыпала — то крупна, то ароматна! И это, помню, молока налила, потчевала, говорю: “Давай поедим, хороша ягодка!” Поели с ём...*).

93

Ещё один вид невидимого пространства дома можно условно обозначить как мифологическое. Условность его выделения связана с особым отношением языковой личности к иррациональному миру. Как показывают наблюдения, знание о его существовании, почерпнутое из мифологических представлений социума, можно определить как освоенное, но не присвоенное. Условием присвоенности любого знания служит прежде всего опора на личный опыт, а в формировании взгляда на мир приоритет отдается эмпирической составляющей. С домом у В. П. связывается мифологический образ духа дома: домового, или *дедушки-суседушки* (*Ну, говорить говорят, а я не знаю. Ну, домовой ~ А кто домовой, я не знаю ~ Это мама у нас была кода —*

Сороки – святы праздник называется... Она каки-то булочки стряпят дедушке-суседушке. Вот: “Дедушка-суседушка, попой мою скотинушку, понастовай нас, не забувай!”; Пошла – там ни вилки [от радио], ничё нету. И кода, как всё-равно... правда, как домовой всё съес. И куды чё девает?).

Дом представлен не только как личный объект, имеющий физические границы. Его пространственные пределы могут расширяться, распространяясь на общественное пространство, принадлежащее сообществу, членом которого языковая личность выступает: *село, деревня* (*Он служил, пришёл домой в деревню да женился*). Его границы определяются границами “своего” социума и чётко противопоставлены чужому пространству и прежде всего пространству города. Несмотря на относительную территориальную освоенность последнего, оно всё же мыслится как чужой мир, устроенный по другим законам и воспринимаемый отрицательно (*В городе бойкий народ. Пошто городским-то продают? Городски набежали, всё расхватали; Городски каки-то злые, всё бегут куда-то; А она пошла к Поле-то, нагребли там [картошки]... Не как город: там “ешо добавь”, накладёшь под дужку, они: “ешо добавь”, а тут уж они сами нагребали, одне, сами*).

Наряду с домом особую выделенность получает такой вид пространства, как земля, используемая в сельскохозяйственных целях. Так же, как и дом, это пространство входит в ядерную зону “своего” и характеризуется высокой ценностной отмеченностью.

До сих пор речь шла о структурировании пространства с позиций его освоенности – неосвоенности, свойственности – чуждости, то есть о таком виде восприятия, при котором су-

щественна заполненность пространства личностно оцениваемыми объектами. В терминологии В. Б. Касевича, это дистальный пространственный параметр, противопоставленный проксимальному, последний же предполагает иной вид восприятия, основанный на “формировании координат относительно человеческого тела и структурирования тем самым некоторого “пространственного кокона”, в котором себя ощущает человек”¹⁶. При этом тело становится единицей измерения, мерой вещей. Такой способ моделирования пространства архетипичен, он закреплён в идиолекте наречиями *позади, сзади, сбоку, головой, ногами* и др. Однако доминирующим средством означивания фрагментов мира через соматический код являются фразеологизмы и устойчивые словосочетания. В этих уже готовых, “собранных” блоках единицы телесного мира образно переосмысяются и приобретают символическую или эталонную функции. Закреплённые за ними устойчивые образы этнокультурно маркированы, так как “устойчивость есть одна из форм коллективной культурной памяти”¹⁷.

Высокая степень фразеологизированности — одна из наиболее характерных особенностей речи языковой личности. Это проявляется как в частотности использования фразеологизмов, в том числе и с соматическим основанием, так и в широте тематического спектра их функционирования. Фразеология покрывает наиболее субъективно значимые фрагменты действительности: это характеристики человека по его свойствам: *лёгкий на ногу, ухо с глазом, из-под ног огонь летит, ушки на макушке, хоть кол на голове чеши, ничё из рук не выпало, готов глаза копать, хитрая жопа, губа не дура* и др.; состояния: *волосья шишом, глаза на лоб, глаз не осу-*

шать, как по заднице серпом, как гора спала, как костку проглотила и др.; разного рода действия: нос пихать, нос тычить, налить глаза, поскалить зубы, выгнать в шеи, по щеке ударить 'оскорбить', капать каплюшки на голову, горло смазывать, губы помочить, из ноги выламывать, с зубов кожу обдирать и др.

Широко представленной выступает и пространственная фразеология. Так, в конструировании пространства, ориентированного на положение человека в горизонтальной позиции, точками отсчёта служат *голова и ноги: в голова, в головах, в голову, в ногах, в ноги;* вертикальная позиция предполагает трёхмерный "обзор" пространства: *со спины, на праву руку, на леву руку, с одного боку, с другого боку.* Мера превышающей норму достаточности чего-либо также осуществляется с учётом топологических характеристик человека: *выше глаз, выше головы, по ушей, по горло.*

Центральность положения говорящего в дистанционных характеристиках объектов предполагает противопоставление по их присутствию / отсутствию в пространстве субъекта, что передаётся через образно представленные зрительные и тактильные ощущения. Предельная близость, соматическая достижимость объекта выражается фразеологизмами *под нос, под руками, на глазах, попасть на глаза, попасть под руку, пасть на руки.* Удалённость в пространстве связывается только со зрительной недоступностью: *за глазами, в глаза не видеть, глаза не казать, глаза не показать, глаза скрывать, глаза сматывать, на глаза не принимать.* Через зрительные ассоциации обозначается и движение в пространстве, обычно содержащее указание на неопределённость направления и цели: *куды глаза глядят, вперёд глазами.*

В “телесном” отражении пространства в идиолекте прослеживается архаическая черта его неотделимости от времени, при которой временные отношения трактуются как разновидность пространственных. На исконность пространственных отношений и метафоричность временных указывают многие авторы¹⁸. Применительно к исследуемому материалу пространственное понимание времени, ориентированное на человеческое тело, проявляется в лексических единицах с семантикой приближения, близкого наступления чего-либо: *Восьмое марта над головой* (*Нина ходила её проводать, в февралето, а тут Восьмое марта над головой уж*), *смерть на глазах / за глаза* (*А чё я? Старый человек, смерть на глазах, говорю; “Две тысячи не дам, — говорю, — я старый человек, теперь — вдруг смерть за глаза?” Я говорю: “У вас не будет денег, и у меня не будет”*). Можно отметить, что и не связанное с “телесностью” представление временных отрезков через пространственные характеристики достаточно частотно в идиолекте, например, *глубокая ночь, короткий день, года идут, дело к старости идёт, срок вышел, февраль доходит, до края, от края до края* (*Ну, он на войне был. От края до края; Ну вот у меня заплощено, они сказали: “До края, до Нового году не будешь платить, гыт”*). В данном случае находит отражение выделенная М. М. Бахтиным категория “пространство — время”, или хронотоп.

Таким образом, проксимальное пространство языковой личности наделено “телесностью”, в формах которой отражается “продление человеком самого себя на видимый и воспринимаемый мир”¹⁹. Однако восприятие пространства амбивалентно: взгляд человека может быть обращён к себе через призму окружающего мира. При этом пространственный контину-

ум внешней реальности метафорически переносится внутрь человека, формируя его представления о структуре и границах невидимого внутреннего мира.

Пространство внутреннего мира всецело метафорично: характер его восприятия основывается на способности человека постигать абстрактное, отвлечённое через конкретные зрительные образы. “Чтобы увидеть невидимое, — пишет Н. Г. Брагина, — надо сконструировать внутреннее пространство по модели внешнего, а орган восприятия пространства — по модели глаза. Внутреннее пространство получает название *внутреннего мира человека, духовного мира человека*, а “внутренний глаз” — *внутреннего зрения, умозрения*”.

Механизм вербализации знаний о внутреннем мире (психической, интеллектуальной, духовной жизни) выстраивается через две семиотические операции: отчуждения и присвоения, так как внутреннее пространство сначала отчуждается от субъекта, рассматриваясь как бы извне, но в процессе говорения он присваивает это пространство, облекая его в языковые формы. Это позволяет невидимое и невыразимое сделать как бы видимым, доступным для самоанализа, рефлексии и говорения²⁰.

Локусами внутреннего мира человека выступают *душа, ум, память*, которые, конструируясь по типу внешней пространственности, наделяются её свойствами. При этом, однако, следует отметить, что идиолект не даёт детализированного описания данной сферы: чувства, эмоции, мысленные саморефлексии редко становятся фактами коммуникации, а языковое структурирование соответствующих пространств представлено значительно менее репрезентативно, чем это можно наблюдать, судя по

исследованию Н. Г. Брагиной, в письменных текстах, созданных носителями элитарной речевой культуры.

Из всех видов пространств наиболее “разработанным” предстаёт пространство души. Душа — невидимое нематериальное начало — концептуализируется языковой личностью по типу любого другого материального органа, локализованного в теле и обладающего формой, функцией, способностью испытывать физические ощущения. С точки зрения формы она устроена как вместилище, имеющее внешнюю поверхность (*на душе-то поди кошки скребут*) и внутреннее пространство (*Вобишэ-то я сержусь в душе, а виду не подаю*). Внутреннее пространство души — это и средоточие нравственных качеств, и внутренний психический мир человека, мир чувств, причём и то и другое в силу своего внутреннего нахождения представляется или как сознательно скрываемое, или не проявляющееся явно. Границы этого пространства мыслятся здимыми только для субъекта говорения (*я сержусь в душе*), для внешнего наблюдателя они оказываются непроницаемыми (*Может быть, она лестлива, я не знаю, в душе-то у ей я не была; Нет, она хороша, шибко хороша. Ну, я у ей в душе-то, Катенька, не была, я не знаю, кака она так-то, ну, она сильно хороша; Не шибко Коля ласковый как-то к ребетишкам. Ну, может быть, в душе он и ласковый*).

99

Наличие у души границ может не акцентироваться: она выступает носителем чувств в целом, а их конкретизация осуществляется через различные виды движения. При этом душа становится способной к изменению местоположения в пределах тела и даже к выходу за его границы. Так, чувство переполняющей человека радости описывается через ассоциацию с полётом,

обуславливающую положительную коннотацию: *душа улётыват* (*Дак, я говорю, про кысок — ой, с Лёней разговорились они! Ой, даже смеётся, так прямо рада, душа у ей улётыват!* “Ой, я люблю так, попали в хороши люди”, *кысочки её*), а негативные эмоциональные состояния, вызванные чем-либо докучливым, изматывающим, ассоциируются с медленным, осуществляемым с усилием, чаще насильтвенным перемещением: *за душу тянутъ, всю душу вытянуть, душа вылезет* (*А пирог с рыбой испекла, с горбушей: “Мама, дай! Ма-ама, дай!” — ну как за душу тянет; Всю душу вытянули, Зоя да он[просят выпить]; Чай пока греется, дак душа вылезет*).

Душа может мыслиться и как статичное, фиксированное пространство, а чувства предстают как бы неназванными объектами движения, характер которого описывается через различные пространственные предлоги. Душа в данном случае выполняет роль индикатора включённости в “своё” пространство (*к душе*), или отторжения в чужой, не принимаемый мир (*не к душе: А мне как-то не к душе [рождение внебрачного ребёнка]. Еленке дак ничё не покупаю, ничё ей и ничё*). Движение *от души* предполагает передачу “своего”, положительного; *по душам* — взаимообмен; *душа в душу* — слияние пространств (*Я тебе сувенир там положила. Ну, ладно, ладно, чё положу, то и ладно, ит души; Мне охота было поговорить с имя, как-то хорошо, по душам, а тут этот, другой [пришли]; Живём мы душа в душу ли как ли там [пересказывает статью из газеты]*).

Следует обратить внимание на то, что душа, как и любое другое, зримое пространство, заполнена ментальными умозрительными “предметами” — чувствами, однако сами чувства остаются неназванными — способом

сообщения о них служит целостный, нерасчленённый образ, лишённый аналитической дескриптивности.

Как вид внутреннего пространства представлен и интеллектуальный мир человека (*ум, память*). Он локализован в голове, причём чётких границ между пространством ума и пространством памяти, судя по языковым данным, не существует. Об этом же говорит и метонимическое обозначение и того и другого пространства словом *голова*. Отсутствие содержательной наполненности в противопоставлениях *на уме / в уме, на памятие / в памяти* исключает возможность интерпретации данных пространств с точки зрения их внешних и внутренних границ. Они мыслятся как существующие нерасчленённо, в едином пространстве — *в голове* (*Дак она чё думат-то в своей голове?; В уме-то думаю: чай попила да кается, ну, как вроде потчевать меня надо, а вот не может собраться; Забыла, как назвать, на уме ничё не могу спомнить; Ой, кака худа, кода не спиши, и всё пойдёт на ум, и боюсь, где кто стукнет, я прямо озираюсь... ой!; На ум чё-то попало, пало; Я даже как бы нарочно чё-то мне пало в башку; Как фамилия-то у них? Прямо на уме вертится, а не могу... [вспомнить]; А я всё думаю, от не поверите, у меня с ума с разума не сходит; Ну чё-нибудь в голову пало ему...*).

101

Описываемое пространство, так же как и пространство души, заполнено умозрительными “предметами” — мыслями, воспоминаниями — которые наделяются свойством приходить и уходить (“*Тётя Вера, а тебе телеграммка*”. *А я сразу — мысли-то ить скоро...* — думаю: осподи!; *Вот тут залетело, тут вылетело...*), оформляясь в визуализированные образы (*глаза зажмурю, а он как будто перед глазами, я как счас гляжу: приехала к имя — он такой худой-худой*).

Память может воплощаться не только в ментальных формах, но и в виде различных материальных объектов, приобретающих в этом случае символическую функцию (*Купи чё-нибудь от меня в память; Вчера полотенце дала ей ~ А я говорю: “Это на память тебе”*). В крестьянской культуре репрезентантами памяти выступают сакральные обрядовые действия, связанные с поминовением умершего в годовщину смерти, которые так и номинируются: *память* (*А Гутя, завтра Ивану Васильичу память, она мне три блина принесла, милостинку; У ей матери была память...*).

Пространство памяти, способное хранить разного рода события, может выступать мерой времени, соотнесённой с жизненным отрезком субъекта – носителя памяти (*Яшиером коровы болели при моей памяти три раз; Я помню: при моей памяти поехали по воду; Она где работала, попомни-ка?! На твоей памяти? Нигде не работала*).

Пространственные параметры ума и памяти, выражающиеся в литературном языке через сочетаемость с прилагательными *высокий, низкий, широкий, глубокий* и под.²¹ и репрезентирующие разноаспектную детализацию описываемых пространств, не актуализируются в системе идиолекта (исключение составляет ум, который может мыслиться как *короткий* в составе паремии *У женщины волос длинный, а ум короткий*). Для традиционной культуры особо значимой оказывается характеристика, сопряжённая с идеей порядка и беспорядка. Высоко разработанная система номинаций интеллектуального беспорядка содержит разные способы фиксации отклонения от нормы, в которых прослеживается связь с пространством. Она может проявляться через ассоциации с нелинейным, неупорядоченным

движением (*блудить* 'путаться в мыслях, неверно передавая информацию'; *заскоки в голове, заскочки пошли*), с наличием помех, сбоев в организации пространства (*мешаться, помешаться умом*), с его недостаточной наполненностью (*не все дома, мамочки с папочкой нету*).

Таким образом, как можно видеть, моделирование внутреннего мира человека осуществляется языковой личностью в образно переосмысленных категориях пространства.

Из описания следует и то, что отражённая в идиолекте картина мира характеризуется существенными чертами мифологизма.

Мифологичность мышления как способ познания мира, уходящий корнями в историю человеческого познания, играет важную роль в определении специфики мировосприятия языковой личности. Как пишет О. М. Фрейденберг: “Человек создаёт картину мира на различных исторических этапах различно. Тут самое главное, самое решающее — это соотношение познаваемого мира и познающего человеческого сознания. В самые ранние периоды человек не отделяет себя от окружающей его природы. В его сознании субъект и объект слиты. Такая слитность, вызывая особые восприятия причины, времени, пространства, порождает мифотворчество — мышление образами. Каждый образ значит для человека то, что передаёт, передаёт то, что значит”²². Переход “от мифа к логосу” совершается в сознании в форме перемены познавательной функции образа. “Соотношение между субъектом и объектом изменяется, и образ перестаёт значить то, что выражает, теряя свою буквальную значимость”²³. Таким образом из мифа вырастает метафора, в которой установление тождества между субъектом и объектом осуществляется уже через посредство модуса

фиктивности “как если бы”. Изменение характера отношений между познаваемым миром и познающим сознанием в идеале знаменует исторический переход от мифологического мышления к отвлечённому, абстрактному, то есть переход от оперирования образами к оперированию понятиями. Однако способ мировосприятия через образы, наделённые высокой степенью конкретности при отражении реальности, в отличие от абстрактности понятия в рациональном постижении действительности остаётся существенным свойством обыденного сознания.

Противопоставление двух типов мышления — образного и логического — современные исследователи связывают с понятием дискурсивности — недискурсивности, где под первым обычно имеют в виду расчленённость и упорядоченность мыслительного процесса, обуславливающую аналитическое, элементаристское мировосприятие, в противоположность синтетичности, целостности второго²⁴.

Обыденному сознанию современного человека в отражении мира присущи оба типа мышления, причём, как отмечает В. Б. Касевич, они могут весьма неравномерно распространяться в рамках определённого социума. “В пределах одного временного среза — относящегося, в частности, к нашему дню — можно обнаружить представителей разных типов мировосприятия, отвечающих и разным прошлым эпохам. Но и каждый конкретный человек не предстаёт гомогенным с этой точки зрения, а демонстрирует те или иные пропорции в использовании разных типов мышления, в опоре на разные типы мировосприятия”²⁵.

Применительно к описываемой языковой личности анализ созданных ею текстов совершенно очевидно свидетельствует о доминирую-

щем мифологическом мировосприятии: оно выражается в нерасчленённости и синтетичности образов, представляющих фрагменты мира, средством объективации которых выступают ряды вторичных номинаций, включая обширную фразеологию.

Существенным является и сам характер образа. Как пишет Э. Бенвенист, “через язык человек усваивает культуру, упорядочивает её и преобразует. И как каждый язык, так и каждая культура использует специфический аппарат символов, благодаря которому опознаётся соответствующее общество”²⁶. Традиционное сознание апеллирует к наглядно-чувственному восприятию, при котором “опредмечивание” ментальных объектов осуществляется через зрительные, тактильные, звуковые, то есть первичные, самые простые ассоциации, не требующие “вдумывания” в образ. Опора на них придаёт образу изобразительность и вместе с тем создаёт определённое психологическое напряжение, определяющее яркую специфику речи носителя традиционной культуры.

Известно, что уподобление человека миру и мира человеку проявляется прежде всего в персонификации элементов мифа. В анализируемых текстах широко представлено указание на то, что жизненное пространство языковой личности, с точки зрения его “заселённости”, антропоморфно. Область наделённого жизнью включает, кроме человека и животного, реалии природного и бытового мира, причём есть основания полагать, что в данном случае речь идёт не о метафорическом уподоблении, но о непосредственном отождествлении субъекта и объекта (*Хороший домик в тем краю, и сейчас живой он; Была плёнка хороша, сколь годов жила, не рвалась, ничё; Ну всё равно, Рая, которая пропадёт*

[трава после прополки], не вся же она будет жить; Она [ступка] так у Гути и живёт). В таких представлениях проявляются элементы архаической модели пространства, в которых микрокосм вписан в макрокосм, сливается с ним.

Итак, проведённое описание позволяет подвести некоторые итоги.

Пространственные отношения выступают первичными, организующими в любой картине мира. Существуя объективно, пространственные категории проявляют себя только в субъективном осмыслении, так что способы восприятия пространства, характерные для определённого типа культуры, являются своего рода маркёрами той или иной культурной парадигмы. Поскольку человек мыслит моделями, которые задаёт ему язык, осмысление пространства языковой личностью диалектоносителя отвечает культурным доминантам традиционной картины мира. Присущий языковой личности недискурсивный тип мышления определяет образное, мифологическое постижение мира, следствием которого является членение его космологического пространства на сакральное и бытовое; отмеченное содержательным своеобразием моделирование умозрительных пространств по типу реальных, зримых (жизнь как путь, внутренний мир человека и др.); совмещение разных типов пространств в пределах одного (этическое, психологическое, мифологическое пространство дома); высокая проявленность “телесности” проксимального пространства.

В выявлении когнитивных основ пространственной модели мира языковой личности важную роль играют способы структурирования дистального пространства, осуществляемого в рамках противопоставлений “близкое – дальнее”, “освоенное – неосвоенное”, “своё –

чужое". В зону актуального внимания языковой личности попадает только первый член ряда, что формирует специфику её мировосприятия. Средоточием жизни информанта выступает дом, земля, родное село, существенного раздвижения границ "своего" пространства практически не происходит. Их относительная статичность презентирует не только ограниченность интеграции с миром узкими локальными рамками, но и значительно более высокую степень эгоцентричности пространства, чем это можно наблюдать у носителя городской культуры.

Можно утверждать, что все выявленные свойства индивидуальной пространственной модели в целом обладают устойчивостью в пределах культуры традиционного типа, или народной культуры, о которой, по нашему глубокому убеждению, следует говорить как об изменяющемся, но не как об исчезающем феномене.

107

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М.: Гnosis, 2004; Иванцова Е. В. Источниковая база лингвоперсонологии: реальность и стратегии развития // Сибирский филологический журнал. 2005. № 3 – 4.

² Карапулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. С. 238.

³ Гольдин В. Е. Теоретические проблемы коммуникативной диалектологии: Дис. в виде научн. докл., представленная на соиск. учен. степени докт. филол. наук. Саратов, 1997; Он же. Внутренняя типология русской речи и строение русистики // Русский язык сегодня. М.: Азбуковник, 2000; Он же. Доминанты традиционной сельской культуры речевого общения // Аванесовский сб. К 100-летию со дня рождения чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесова. М.: Наука, 2002.

⁴ Гольдин В. Е. Доминанты традиционной сельской культуры речевого общения. С. 60 – 61.

⁵ Постовалова В. И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М.: Наука, 1988. С. 61.

⁶ Гак В. Г. Пространство вне пространства // Логический анализ языка. Языки пространств. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 127.

⁷ Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983.

⁸ Толстая С. М. Славянские народные представления о смерти в зеркале фразеологии // Фразеология в контексте культуры. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 234.

⁹ Яковлева Е. С. Пространство умозрения и его выражение в русском языке // Логический анализ языка. Языки пространств. М.: Языки русской культуры, 2000.

¹⁰ Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры: 2-е изд., испр. и доп. М.: Академический проект, 2001. С. 127.

¹¹ Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Интегральное описание языка и системная лексикография. Избранные труды. М.: Школа “Языки русской культуры”, 1995. Т. 2. С. 645 – 646.

¹² Топоров В. Н. Указ. соч. С. 242.

¹³ Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М.: Гнозис, 1994.

¹⁴ Пеньковский А. Б. Очерки по русской семантике. М.: Языки славянской культуры, 2004.

¹⁵ Иванцова Е. В. Топонимия в идиолексиконе диалектноносителя: состав и источники формирования // Вестник Том. гос пед. ун-та. Вып. 2 (65). Сер.: Гуман. науки (Филология). Томск, 2007.

¹⁶ Касевич В. Б. Буддизм. Картина мира. Язык. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. С. 137.

¹⁷ Брагина Н. Г. Фрагмент лингвокультурологического лексикона (базовые понятия) // Фразеология в контексте культуры. М.: Школа “Языки русской культуры”, 1999. С. 134.

¹⁸ Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М.: Наука, 1984; Касевич В. Б. Указ. соч.; и др.

¹⁹ Резанова З. И. Концептуальные метафорические модели “человек это мир” и “мир это человек”: к проблеме обратимости (на материале сибирских русских народных говоров) // Актуальные проблемы русистики. Языковые аспекты регионального существования человека. Томск, 2006. Вып. 3. С. 287.

²⁰ Брагина Н. Г. Память в языке и культуре. М.: Языки славянской культуры, 2007. С. 102.

²¹ Там же. С. 105.

²² Фрейденберг // <http://cultinfo.ru/cat/WebCat.dll/1>

²³ Там же.

²⁴ Касевич В. Б. Указ. соч. С. 92.

²⁵ Там же. С. 123.

²⁶ Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Едиториал УРСС, 2002. С. 32.

1.1.3

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕКСТ: ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖАНРА

Действие является самым ясным и выразительным раскрытием человека.

Гегель

110

В данном разделе представлены результаты исследования миромоделирующей функции пространственной компоненты фрейма “измена” в лирической песне и частушке. В описанных фольклорных жанрах пространственная составляющая, подчиняясь жанровым установкам, коммуникативным задачам, эстетике жанра, играет значительную роль в создании фольклорной картины мира. Данная категория отражает не только эмпирическое пространство, но и мотивирует поведение, ценностные установки героя, определяет и формирует его образ мира.

В настоящее время понятие “пространство” активно осознается современной наукой. Филологи и философы, психологи и культурологи говорят о “культурном пространстве”, о “когнитивном пространстве говорящего человека”, о “ментальных пространствах дискурсов”, о “культурном пространстве и времени”¹. Описа-

ние перцептуального, семантического, семиотического и концептуального пространств в первую очередь позволяет выявить особенности восприятия пространства культурной средой, социумом, личностью. Любая концепция пространства отражает его взаимосвязи с человеком, ведь каждый этнос, отдельный индивид по-своему интерпретирует эту категорию, “пространство — это не среда (реальная или логическая), в которой расположены вещи, а средство, благодаря которому положение этих вещей становится возможным”².

“Наивное” представление о пространстве, как и о других миромоделирующих категориях, — динамичное образование, обусловленное социокультурным контекстом. При этом в своих основах оно сохраняет архаический схемы восприятия: концентрическую и маршрутную, вертикальную и горизонтальную, центристическую и оппозиционную. Как отмечает Н. И. Толстой, при смене культурных парадигм в сфере духовной культуры новые тенденции проникают в старую культуру, “уживаются с ней, вступают в различного рода соотношения ... усложняя прежнюю систему, видоизменяя ее в значительной или меньшей степени, но, как правило, не разрушая ее”³. Это специфическое свойство культуры наиболее ярко проявляется в фольклоре — “древнейшем фазисе” культуры, сохранившем свои следы и свое влияние в современности: в нем “исторические основы всего того, из чего слагается наша духовная жизнь... но в то же время... что бесчисленными нитями пронизывает жизнь окружающего нас большинства и властвует над его умами”⁴.

Интерес исследователей к фольклору закономерен, именно в нем воплощаются “наивные” традиционные представления человека о мире в

его временно-пространственных, этических, аксиологических координатах.

Пространство как одна из основных миромоделирующих категорий всегда было в сфере внимания отечественных фольклористических исследований⁵, только грани этого интереса определялись доминировавшими научными идеями, социально-историческим контекстом. Советские фольклористические работы основывались на понимании фольклора как особой формы творчества, к которой применимы методологические установки советского литературоведения (например, работы Ю. М. Соколова). В это время с позиций литературной эстетики активно изучаются памятники народной словесности, описываются их жанровые особенности, поэтика. Фольклорное пространство и время рассматриваются в сравнении с литературными, выявляется специфичность их организации в отдельных жанрах: сказках, былинах, исторических песнях и др. (заметим, что жанровая классификация фольклора была выстроена по аналогии с литературной, базировалась на общепринятых аристотелевских принципах: жанры группируются в виды, а виды — в роды).

В течение длительного времени фольклор рассматривался как одна из культурных форм, основной установкой которой является воспроизведение в рамках традиции: фольклор в данном случае вписывается в один ряд с формами материальной культуры. В качестве объединяющего начала единства материальной и духовной культур того или иного этноса выступает “ментальность”, мотивирующая специфичное воплощение общечеловеческих ценностей, установок, универсальных мотивов. В это время художественная, или эстетическая, составляющая является определяющей при исследовании

устно-поэтических текстов, большое количество исследований посвящено описанию символьических и образных систем на материале разных жанров, выявлению общих структур, жанровых форм, мотивов, реконструкции отдельных фрагментов фольклорной картины мира и т. д.⁶ Активно описываются квантитативные характеристики пространства, его оппозиционная структура, аксиологическая неоднородность (труды С. Ю. Неклюдова, С. Е. Никитиной, Т. В. Цивьян и др.).

В эпоху постструктурализма в основе методологии фольклористических исследований лежит толкование культуры как габитуса, или стиля жизни, понимаемого “как набор поведенческих, речевых и прочих навыков, осваиваемых через практическую деятельность”⁷. Смена приоритетов стала причиной нового взгляда (точнее возрождения взгляда классической фольклористики) на фольклор как “социальный институт управления человеческим поведением”⁸. Внимание исследователей сосредоточивается на социальном аспекте функционирования фольклора, на его природе, предтекстовых и интертекстуальных связях, в фокусе исследования оказывается постфольклорный текст, Интернет-фольклор и др. (см. работы С. Б. Адоньевой, К. А. Богданова, С. Ю. Неклюдова и др.). Родовым понятием по отношению к фольклору признается не творчество, а речевая деятельность. Особое внимание исследователей привлекают личности говорящего и слушающего, их взаимодействие в данной коммуникативной ситуации, речевые стратегии и тактики при воплощении базовых фольклорных ценностных концептов (воля, любовь, пространство и др.). Взгляд на фольклор как особый тип коммуникации (см. работы Ю. М. Лотмана⁹, В. Я. Проп-

па, Д. Бен-Амоса¹⁰) позволяет обратиться к фольклорному жанру как миромоделирующей системе, как “форме видения и осмысления действительности”¹¹, как “вербальному оформлению типичной ситуации социального взаимодействия людей”¹², модели, с помощью которой человек реализует свое речевое намерение, замысел (по М. М. Бахтину), как специальному воплощению общих когнитивных установок.

Гуманитарная наука активно использует понятие жанра как одного из объясняющих механизмов порождения и интерпретации речи. В фольклористике сложились свои традиции в понимании и изучении жанра, опирающиеся на труды И. И. Земцовского, В. Я. Проппа, Б. Н. Путилова, В. Н. Топорова и др. (см. обзор работ у Б. Н. Путилова¹³). В своем большинстве они сводятся к интерпретации жанра как “устойчивой, созданной общекультурными традициями форме и содержанию”¹⁴. Понимание фольклора как речевой деятельности позволяет использовать нам определение М. М. Бахтина, который считал, что жанр – это “отстоявшаяся типологически устойчивая форма целого высказывания, устойчивый тип построения целого, кодифицированная форма действия”¹⁵. Определяющим для исследователя было понятие коммуникативной сферы, порождающей и использующей тот или иной жанр. Отметим, что мы осознаем разницу между первичными речевыми жанрами, литературными и фольклорными жанрами. Как и первичные жанры, фольклорные жанры обслуживаются разные сферы человеческой деятельности, однако эстетическая составляющая в разных жанрах (ср. пословицу и лирическую песню) играет немаловажную роль. К тому же, по словам С. Б. Адоньевой, “различие между фольклорными и нефольклорными

формами речи для носителей традиции лежит в значительной степени в области прагматики”¹⁶. Отличия же фольклорных жанров от литературных обусловлены “природой явлений, условиями, определявшими возникновение и становление фольклорных микросистем, обстоятельствами их живого функционирования, в конечном счете – спецификой текстообразования в фольклоре, которое происходит принципиально по-иному, нежели в литературе, где личное авторство и сочинительство как более или менее однократный, завершенный акт определяют характер текстов”¹⁷. Немаловажную роль при исследовании жанра играет и та коммуникативная сфера, в которой он рождается и функционирует. Фольклорную среду отличает направленность на сохранение опыта, поддержание традиции. Фольклор выражает позицию социума в целом, отсюда стереотипность, клишированность высказываний и на формальном и на содержательном уровнях. С другой стороны, фольклор призван отразить все множество оценок, взглядов, из которых и складывается надгрупповая позиция, что приводит к многообразию и противоречивости текстов, разнообразию жанров.

Жанровое пространство фольклора разнообразно. Это объясняется природной полифоничностью фольклора, который призван закреплять опыт социума, осознание им мира, его толкование окружающей среды. “Фольклорный фонд любого этноса строится по принципу единения противоречащих один другому, дополняющих друг друга, сложно взаимодействующих жанров и разновидностей, а внутри жанров – соответствующих текстов”¹⁸. Каждый жанр интерпретирует мир через призму, заданную жанровыми особенностями: у него своя эс-

тетика, свой набор бытийных и бытовых ситуаций, свой хронотоп, часто особые языковые средства (ср. далее описание изменения в лирической песне и частушке).

Проблема миромоделирования является одной из фундаментальных проблем науки (труды В. Гумбольдта, Э. Сепира и Л. Уорфа, Н. И. Толстого и его школы, Т. В. Цивьян и др.). В настоящее время она решается как в результивном, так и в функциональном аспекте.

В первом случае “фрагменты языковой картины мира рассматриваются как мировоззренческий конструкт естественного языка, специфицирующий национальные культуры на фоне мировой культуры”¹⁹. Такой способ рассмотрения интерпретативной возможности языка позволяет выявить общее и специфичное в разновидностях языкового миромоделирования в той или иной подсистеме национальной картины мира. Функциональный аспект предполагает исследование дискурсивных, жанровых особенностей реализации миромоделирующего потенциала языка. “В центре внимания в данном случае находится определенный тип дискурса, реализующий в зависимости от установок коммуникантов определенные стороны концептосферы языка. Интерес сосредоточивается на изучении специфических аспектов языкового отражения, формируемых в пределах определенных типов формирующей определенную систему “запросов” к потенциальному языковой системы”²⁰.

Мы исследуем жанр в миромоделирующем аспекте, конструирование модели мира: времени, пространства, социальных отношений и т. п. — ограниченной жанровыми задачами и возможностями. Нас будет интересовать роль пространственной дихотомии в организации модели мира, присущей жанрам необрядовой

лирической песни, частушки. Выбор жанров обусловлен несколькими причинами.

1. Лирическая песня и частушка, имеющие четкую эстетическую установку, воспринимаются фольклорным коллективом как “контролируемые формы с точки зрения речевого канона” (С. Б. Адоньева). При этом степень “контролируемости” жанров различна. Если песня предполагает коллективного говорящего (вариативность возможна в меньшей степени), то частушка — одного говорящего. Отметим, что и песня, и частушка представляют образцы “чужой” речи²¹. Эти тексты, в том числе и многие из частушечных, были созданы до исполнителя²², который не создает текстовый смысл, а усматривает, дополняет, “корректирует” его.

Сравнение этих поэтических жанров позволяет рассмотреть их в аспекте решения разных социальных/коммуникативных задач.

Так, необрядовая **лирическая песня** “не выполняет в быту никакой, так сказать, прикладной функции”²³. Лирическая песня передает информацию, известную всем исполнителям еще до реализации коммуникативного акта, важным является сам факт совместного исполнения. Выбор конкретной песни в конкретной коммуникативной ситуации позволяет исполнителю, не выражая собственной оценки ситуации, представить позицию коллектива, которая является и его позицией. Песня призвана передать душевное состояние, настроение, эмоции человека, не актуализируя приметы исторического временного отрезка. В песне проявлены этические ценности социума, которыми каждый из его членов руководствуется в жизни.

Основным назначением **частушки** является выражение экспрессивно окрашенного отклика индивида на реальную бытовую/бытийную си-

туацию: “В частушке отсутствует разрыв между исполнителем и содержанием песни. Она насквозь индивидуальна... частушка всегда старается отразить последние местные события политической и социальной жизни”²⁴. “Публичный рассказ” об экстремумах личного, общественного события становится рефлексией по этому поводу, позволяет высказать личную оценку того или иного факта, соотнеся ее с коллективной.

Поскольку каждый из вышеназванных жанров в фольклорном социуме выполняет свои функции (они не “сионимичны” по задачам), то исследование особенностей жанрового воплощения концепта (его фреймовой организации) позволит выявить роль пространственной составляющей в миромоделировании каждого из жанров, специфическое проявление когнитивных установок фольклорного социума.

2. Отличие в форме, объеме лирической песни и частушки приводит и к различному языковому воплощению анализируемого фрейма “измена”, что свидетельствует о “собственном” жанровом видении мира.

Фольклорный жанр можно интерпретировать как особый акт коммуникации, в котором выделяются все ее элементы. Адресант-исполнитель (не равен фольклорному субъекту)²⁵ со своими намерениями, установками и т. д.; адресат-аудитория, имеющая тождественные/нетождественные установки с говорящим в зависимости от жанра (ср. лирическую песню и пословицу); коммуникативные ситуации; каналы коммуникации и др. Он представляет собой многоуровневую модель, зафиксировавшую познание окружающего мира: “жанр как целое, в отвлечении от принадлежащих ему текстов, выражает концепцию мира — в той его части, какая ему принадлежит. Можно сказать, что жанр переносит ее в тексты,

где она получает лишь частичные воплощения. Как целое концепция существует только в жанре, и это придает жанру художественную завершенность и полную реальность”²⁶.

Любой жанр отличает специфическая форма и содержание²⁷. Далее мы попытаемся представить модели жанров и роль пространственных составляющих концепта в их формировании. В модели жанра нами выделяются формальный и содержательный аспекты. Содержательную часть модели можно представить как набор закрепленных фреймов, ментальных ситуаций (нижний уровень модели), пропозиций (средний уровень), получающих наполнение в конкретном тексте (высший уровень). Формальная сторона модели жанра включает технологии, средства реализации (оформления) содержания: объем материала, композиционную организацию и т. д.

В перспективе выявления миромоделирующей функции пространства как базовой категории фольклорного жанра — последний будет рассматриваться и в отношении к социокультурному контексту, детерминирующему “жизнь” (функционирование) жанра, к идеологическим и ментальным установкам фольклорного коллектива, находящимся в пресуппозиции жанра, и в отношении к используемым для создания данного жанра языковым средствам; символической и образной системам.

Определяющим аспектом является анализ пространственной составляющей фрейма “измена” (как элемента концепта “любовь”) и выявление ее роли в организации исследуемого фрейма в зависимости от жанра, а также специфики ее воплощения в жанрах лирической песни, частушки. Выбор данного концепта и его составляющей обусловлен несколькими причи-

нами. Во-первых, концепт “любовь” является одним из базовых элементов русской культуры, ключом к ее пониманию. Кроме того, обращение к эмоциональной сфере, описание которой само по себе проблематично в силу неоднозначности формализации, позволяет продемонстрировать универсальность выбранной методологии.

Традиционно феномены культуры, познанные индивидом, получают отражение в его сознании, определенным образом в нем структурируются, формируя культурное пространство. Каждый человек, имея индивидуальное когнитивное пространство, является носителем коллективного когнитивного пространства — части знаний, общей для социума. Коллективные когнитивные структуры:²⁸ понятия, идеи, концепты — входят в ментально-лингвальный комплекс языковой личности/коллектива, овеществляясь с помощью языка в разных формах культуры, в том числе и в фольклоре. Эти когнитивные структуры неоднородны, например, концепты содержательно можно представить как совокупность фреймов. В нашем понимании, концепт является родовым понятием по отношению к фрейму. Концепт как феноменологическая когнитивная структура представляет целостное знание об экстралингвистических явлениях. Аспектрирование того или иного типичного фрагмента знания осуществляется при помощи отдельного фрейма²⁹. Внутри концепта взаимодействуют и статические, и динамические (М. Минский) фреймы. Набор фреймов, представляющих тот или иной концепт, безграничен, однако в зависимости от ряда условий: коммуникативной ситуации, от замысла говорящего, от жанровых установок — в текстах определенного жанра актуализируется свойственный ему набор фреймов.

Заметим, что описание “жанрового набора” фреймов позволяет не только выявить специфику модели мира, представленной в том или ином жанре, но и решить проблему “понимания текста” на новом, специфическом материале. Адекватное восприятие, понимание любого текста возможно при наличии в сознании говорящего и слушающего общих, пересекающихся “фреймов”, “ментальных моделей”, позволяющих адресату интерпретировать “авторские” фреймы, прогнозировать предстоящие текстовые события на основе личных знаний и культурного бессознательного. В фольклорном тексте отражаются коллективные ментальные установки, “фольклорные” фреймы,ственные фольклорному социуму в целом. Функция и исполнителя, и слушателя заключается в их актуализации.

В фольклоре представленыственные народной культуре ключевые ценности, набор ситуаций, модели поведения, устойчивые оценки фактов и т. п., “фольклорная культура столь же многосоставна, пестра и богата своими формами, неисчерпаема по содержанию и разнообразна по функциональным связям, как и лежащая вне ее действительность”³⁰. Однако не все события, явления социума зафиксированы в фольклорных текстах, чему, на наш взгляд, есть следующее объяснение. Фольклор, функционируя наравне с другими социальными институтами, выполняет pragматическую функцию, в частности, выступает в качестве регулятора отношений в обществе, предлагает человеку алгоритм поведения в той или иной ситуации. “Практически для общества существуют совсем не все поступки индивида, а лишь те, которым в данной системе культуры приписывается некоторое общественное значение. Таким образом,

общество, осмысляя поведение отдельной личности, упрощает и типизирует его в соответствии со своими социальными кодами. Одновременно личность как бы доорганизовывает себя, усваивая себе этот взгляд общества, и становится “типичнее” не только для наблюдателя, но и с позиции самого субъекта”³¹.

В качестве ключевых концептов фольклорной картины мира выступают концепты “любовь”, “семья”, “свобода”, “воля” и др. (труды С. Е. Никитиной, Н. И. Толстого и др.), каждый из которых реализуется набором фреймов. Так, концепт “любовь” есть совокупность фреймов “свадьба”, “замужество”, “разлука”, “измена” и др. Анализ динамического фрейма “измена” позволяет через описание разных моделей поведения героев выявить “невербальный язык повседневности” (Ю. М. Лотман), представление человека о его взаимоотношениях с миром, в частности влияние пространственной составляющей на его судьбу.

Измена традиционно рассматривается общественным сознанием, в том числе и народным, как а) один из ведущих дезинтегрирующих факторов семьи (наряду с пьянством) — “семейная измена”, б) испытание расставанием, которое достаточно типично для влюбленных, не связанных семейными узами. И в том, и в другом случае измена партнера является для человека сильнейшей психотравмой³², которая провоцирует разные реакции: от депрессий до ауто-деструктивного поведения (суицидальные попытки). В фольклоре понятие “измена” трактуется достаточно широко. Изменить партнеру — в первую очередь значит перемениться в чувствах (*проводить другую домой, выйти замуж за другого* и т. д.). Подобной измене посвящено **большее** количество текстов, чем измене

как неверности, предательству в семейных отношениях. Отметим, что данная ситуация освещается в необрядовом фольклоре неравномерно: в песнях, частушках эта тема является одной из центральных наряду с разлукой. В пословицах же и других паремийных жанрах она практически не обсуждается.

Лирическая песня — жанр традиционного фольклора, в котором “выражено, главным образом, идейно-эмоциональное отношение к событиям”³³. Эта задача жанра определяет его принципиальную ориентированность на представление аксиологически нагруженных социально-значимых (*война, коллективизация* и т. п.) и личностно-типовых (*служба в армии, разлука, измена* и т. п.) событий. Герой песни — это герой действия. Описание действий, поведения героя, его переживаний в этих ситуациях позволяет квалифицировать их по шкале “правильные/неправильные”, “разрешенные/неразрешенные”, актуализировать этические, социальные, бытовые нормы.

Интерпретация человеком мира и себя в мире в песне осуществляется через фиксацию, осмысление значимых категорий культуры, в том числе и пространства. В песне соединились и обыденный, и сакрализованный взгляд на мир, свойственный фольклорному социуму. Он часто определяет отношение человека к объектам действительности, которые оцениваются, классифицируются им в зависимости от их пространственного положения (близко — “свое” — хорошо/далеко — “чужое” — плохо). Человек находит объяснение своим и чужим поступкам в пространственной организации мира. Например, герой, освоивший “чужое” пространство, возвращается в “свой” мир победителем. Но дома его ожидает несчастье, спровоцированное по-

ходом в “чужой” мир. Долгое отсутствие, пространственная удаленность от дома, центра “своего” мира, приводят к потере контакта с ним, забыванию — “временной” смерти героя в этом мире, к возможности преступить коллективные нормы. Результатом является разрушение гармоничного мира дома, семьи, любви — измена герою или его измена любимой.

В песне отражены мужской, и женский “сценарии” поведения в ситуации измены. Песен с описанием женского поведения количественно больше, что объясняется как сложившимися в обществе представлениями о женственности-мужественности (мужчина должен скрывать свои эмоции, а женщина — подчеркивать), так и “гендерным распределением” жанров (ср. семейные и солдатские песни).

Фрейм *измены*, в независимости от гендерной принадлежности главного героя, с разной степенью подробности описаний реализует следующие слоты: герония/герой; бывший возлюбленный/бывшая возлюбленная; соперник/соперница; вестник, сообщающий об измене; ситуация до измены; ситуация измены; реакция героя/героини на измену. Рассмотрим слоты, в которых пространство играет главную организующую роль.

Мужской “сценарий” поведения в ситуации измены предполагает несколько разных вариантов типа поведения главного героя. Фольклорный социум не является гомогенной аудиторией, это сосуществование “стилей жизни”, со своими представлениями о поведении, нормах и т. д. Так, в текстах описывается и поведение героя-“воина” (*казак, солдат, охотник*), и поведение героя-“селянина” (*я*)³⁴. Отметим, что в последнем случае повествование ведется от первого лица, герой — житель “своего” мира, поэтому

часто актуализируются возрастные характеристики (*молодой мальчишка*), а сфера деятельности героя не указывается.

Статус **героя-“воина” (слот герой)** высок априорно: он побывал (бывает) в “чужом” мире, осваивает его. Номинация героя по функции (*казак, солдат, охотник*³⁵) не только подчеркивает его принадлежность к определенному габитусу традиционного сообщества, но и служит актуализатором фоновых знаний у слушателя о манере поведения, свойствах личности героя. В тексте встречаются формальные указания на значимые элементы этой “субкультуры”: *погоны, шашка, шинель, походы, служба* (*Осенней мрачною порою // В шинели серой и худой // Солдатик с красными погонами // Спешит на побывку домой...*). Отметим, что при кажущейся схожести в описании героев в песне содержатся маркеры, указывающие на специфику жизнедеятельности каждого из “воинов”. Так, *казак*, возвращаясь домой, *летит стрелою/скачет стрелою*. С одной стороны, объяснение торопливости казака мы находим в первом куплете песни, где названа причина и дана характеристика его эмоционального состояния (*Скакал казак через долину, // Через Манжурские края, // Скакал казачек одинокий, // Кольцо блестело на руке, // Кольцо казачка подарила, // Когда в поход пошел казак, // Она дарила, говорила, // Что через год буду твоя...*). С другой стороны, лексема движения: *скакал*, лексемы с пространственно-временной семантикой: *поход, год, Манжурские края и др.* актуализируют стереотипное восприятие казака как профессионального воина, комфортно чувствующего себя и в мирной жизни, и на поле боя, стереотип о жизни казачества: продолжительных дальних походах, учениях, об особом восприятии дома, функ-

ции которого практически в равной мере выполняют и лагерь, и родной дом.

Если для казака военная служба профессия, то для солдата — это лишь один из обязательных жизненных этапов, связанный с отрывом от дома, от семьи, от привычной жизнедеятельности. Этот герой занимает особое положение в социуме: он был за его пределами, много видел, владеет “чужими” знаниями, приобрел “чужие” навыки, при этом знает нормы и правила жизни традиционного социума. Он охотно возвращается в “свой”, гармоничный мир: *Ехали солдаты со службы домой, на плечах погоны, на груди кресты...* Лексема *дом* в данном случае служит не только указанием направления движения, его конечной точкой, но и обозначает центр жизненного пространства героя, где сосредоточены его ценностные приоритеты³⁶. Эмоциональное состояние героя передается с помощью словосочетания: *ехали со службы*, в котором отглагольное существительное *служба*³⁷ актуализирует фоновые знания сложности, трудности выполнения воинских обязанностей, нахождения вдали от дома и т. д., а глагол *ехали* передает неторопливость действий героев, которые, с одной стороны, совершают “внутренний” переход в иной качественный статус (в народной культуре герой, освоивший “чужое” пространство, всегда оценивался положительно), с другой — демонстрируют окружающим результаты пребывания в “чужом” мире — георгиевские кресты, орден за солдатскую доблесть. Отметим, что лексема *крест* одновременно выполняет и функцию характеристизации героя как смелого, отважного человека, покорившего “чужой” мир.

В отличие от вышерассмотренных героев, охотник, кроме номинации по функции, не получает в тексте никаких характеристик. На наш

взгляд, это можно объяснить тем, что герой является жителем этого, освоенного пространства, которое он покидает регулярно на короткое время (*Охотник раз собрался // В лес дичи пострелять...*).

При характеристике героя-деятеля, побывавшего в “чужом” пространстве и возвращающегося из него, высокую значимость приобретают перемещения героя, что во многом и определяет основополагающую функцию пространственной составляющей в организации фрейма “измена”. Движение героев осуществляется в двух направлениях: из “чужого” пространства в “свое” и наоборот. Существенной пространственной характеристикой в заданном аспекте становится расстояние от “своего” мира до “чужого”, которое мыслится как максимальное, предельное. “В человеческом сознании неизвестное ассоциируется с дальним”³⁸, поэтому “чужой” мир, из которого прибывает герой-воин, расположен далеко от освоенного пространства, добраться до которого можно лишь с помощью средств передвижения (коня, машины): *Шла машина, громыхая, // Осенней позднею порой, // В машине, песни распевая, // Ехали солдатики домой.* Дистанция между мирами представлена в тексте чаще всего с помощью лексических единиц *долина, лес, поле*, обозначающих “чужое” пространство, и лексемы *дом*, символизирующей “свой” мир, называющей конечный пункт движения. Детального описания “чужое” пространство не получает, в фольклорной традиции “чужой” мир вообще слабо структурирован, поскольку не освоен коллективом, неизвестен ему. К тому же, вышеназванные локусы в фольклоре семиотически нагружены, поэтому достаточно их обозначить, чтобы актуализировать в сознании слушающего информацию о них.

Отметим, что равнозначными по своей роли, оппозиционной функции по отношению к “своему” пространству дома (в широком понимании) становится и социальное (*служба*), и природное (*долина, лес*) пространство.

Выход за пределы этого мира рассматривается фольклорным сознанием как недобровольный, следовательно, приводит к нарушению гармонии, поэтому отсутствие героя в “своем” пространстве приводит к дисгармонии в любовно-семейных отношениях, изменению его статуса в них. Перемена в чувствах возлюбленной в первую очередь вызвана продолжительностью отсутствия героя (*казака, солдата*) в “своем” мире, темпоральные границы которого могут быть выражены как эксплицитно (*Вот год прошел, казак стрелою в село родное полетел*), так и имплицитно, актуализируя фоновые знания (*После службы возвращался молодой солдат домой...*).

128

Об измене любимой герой узнает чаще всего от третьего лица (**слот вестник**). Эту функцию могут выполнять как представители “чужого” мира — *цыганка-ворожейка* (обладатель посторонних, неизвестных знаний), так и “своего” мира — *старушка* (старейший член социума, пользующийся уважением и доверием общества), *родитель* (член семьи, ее глава, охраняющий гармоничный мир). Статус вестника, степень его близости к герою обусловливают разницу в организации сообщения об измене. Так, цыганка, не зная наверняка, гадает на картах и сообщает о нарушении гармонии в доме (*Цыганка — ворожейка, // Охотница гадать, // Раскинула все карты, // Боится рассказать. // “В твоем дому несчастье, // В головах туз лежит...”*).

Старушка, на правах опытного, старшего члена социума, эмоционально “квалифицирует” действия казачки как измену (*И шепеляво гово-*

рит: // “Напрасно ты, казак, стремишься, // Напрасно думаешь о ней. // **Тебе красотка изменила.** // Другому счастье отдала...”) ³⁹. Оценка действий казачки, с точки зрения коллективных норм, передается с помощью противопоставления “казак” — “соперник”, “измена” — “счастье”, номинации возлюбленной героя по внешним признакам (*красотка*).

Родитель оценивает действия жены героя (— Здорово, папаша! // — Здравствуй, сын родной. // — Расскажи, папаша, про семью свою. // — Семья, слава Богу, прибавилась. // **Жена молодая закон развала, // От чужого мужа сына родила...**). В этом зафиксированном варианте песни он выполняет функцию главы семьи, следящего за соблюдением законов семьи (жена молода **закон развала**), имплицитно указывая сыну алгоритм дальнейшего безвариантного поведения (*чужой муж, сын*). В другом текстовом варианте родитель лишь констатирует факт измены, позволяя сыну самому “квалифицировать” действия жены и предлагая ему выбор вариантов действий. Лексема *сыночек* свидетельствует о принятии ребенка в семью и является имплицитным сигналом, подталкивающим сына простить жену (*По дорожке навстречу // Папаша идет. // — Здорово, папаша! // — Здорово, сынок! // — Расскажи, папаша, про семью свою. // — Семья, слава Богу, прибавилась. // Жена молодая сыночка родила*). На наш взгляд, вариативность поведения родителя отражает историко-культурное изменение функции главы семейства в крестьянской общине: ослабление действий патриархальных законов, учет личностной позиции (“самости”) героя-“воина”.

Важно, что все вестники встречаются герою вне дома, представители “своего” мира на дороге, тропинке (нейтральное пространство), цы-

ганка — в лесу (“чужое” пространство). Лирическую песню отличает разработанная стабильная топологическая система, обусловленная тем, что необходимы подходящие места и обстоятельства для действий персонажа. Так, “свое” пространство является территорией, безопасной для героя (*Гулял я возле дома, где милая живет, // Гулял и ждал, когда же в окошко позовет.*). “Чужое” пространство, напротив, несет герою неприятности (*Во тех лесах дремучих разбойнички идут; В лес она убежала // И с жизнью рассталась навсегда*).

В качестве вестника может выступать и *письмо*. В фольклоре традиционно лексема *письмо* наполняется символическим содержанием: “связь милого и милой, находящихся далеко друг от друга”⁴⁰, определяющую роль в данном случае играет компонент *расстояние*. В лирической песне письмо помогает осуществить внешнюю связь между “своим” и “чужим” мирами, поскольку внутренней, духовной связи между героями уже не существует. К письму прибегает либо герой, находящийся в “чужом” пространстве, чтобы сообщить трагические новости близким (*Лежу в лазарете, // Так тяжко вздыхаю, // Подай мне, сестрица, воды. // Подай мне чернила, // Подай мне бумаги, // Жене я письмо напишу*), либо возлюбленная героя, чтобы сообщить о разрыве отношений между ними (*Теперь письмо я получаю, // За брата замуж собралась...*). В отличие от других вестников, функция *письма* заключается лишь в маркировании, но не в оценивании дисгармоничных отношений влюбленных, находящихся в разных мирах.

Как уже говорилось выше, измена трактуется в фольклоре и как супружеская измена, и как перемена в чувствах одного из влюбленных. Каждый из типов измены (**слот ситуация измены**)

ны) описывается специфически, как и реакции героя-“воина”. В рассказе о супружеской измене может быть показана и сама ситуация измены (*Подходит близко к дому // И видит у крыльца, // Рыбак с женой в объятьях, // Целует не спеша*), и ее последствия (*Подъезжает к дому. // Стоит мать, жена. // Мать стоит с улыбкой, // Жена с ребенком на руках*). При этом описываемые действия происходят вне дома (*у крыльца, у дома и др.*), поскольку границы “своего” сакрального пространства являются незыблыми для всех. Жена героя в ситуации измены занимает внешне пассивную позицию, активная роль принадлежит мужчине-сопернику.

Соперник⁴¹ героя (**слот соперник / соперница**) в большинстве случаев только упоминается, именуется по функциональной принадлежности (*чужой муж, сын рыбака* и т. д.), не получая развернутой характеристики. Единственным исключением является песня “В одном прекрасном месте...”, в которой соперником охотника является *сын рыбака*. Герои равно сильные, имеющие опасные профессии, регулярно совершающие переход в “чужой” мир. Тем не менее поверженным оказывается сын рыбака, поскольку вторгается в пространство охотника, за что и несет наказание.

131

В случае нахождения героя в “чужом” пространстве, где его застает весть об измене милой, его действия ограничиваются рефлексиями, поскольку из-за дальности расстояния он не может предпринять активных шагов (*Пройдут года, и будут дети, // И дети дядей будут звать, // Не будут знать, что этот дядя // Любил когда-то ихнюю мать*). Рефлексии героя сводятся к моделированию будущей жизни, где в границах “своего” мира ему предстоит сосуществовать с бывшей возлюбленной.

Поскольку герой-“воин” деятелен по своей природе, в большинстве песен его реакция на измену (**слот реакция героя на измену**) передается через описание ряда активных действий (*И повернул коня, // И в чисто поле поскакал, // Взял с плеча винтовку, // И с жизнью покончил навсегда; Охотник снял винтовку, // Стреляет в рыбака; Сын отцу ни слова, // Садится на коня. // Подъезжает к дому... // Заблестела шашка // В могучей руке. // Снял он головку // С неверной жены*). Если герой совершает самоубийство, то обязательно это делается в нейтральном, “чужом” пространстве (*в поле, лесу*), поскольку подобные действия осуждаются обществом и оскверняют “свой” мир.

Действия героя в отношении изменивших (*жены, любовника жены*) могут осуществляться и рядом с домом, который перестает быть для него сакральным центром, ядром мироздания, поскольку любовники разрушили гармоничный мир семьи. Герой, как человек, побывавший в “чужом” мире, своими действиями нарушает коллективные нормы, одновременно, как носитель традиционных ценностей “своего” мира, осознает свою вину и ждет “внешнего” наказания (*Что же я наделал, // Жену я зарезал, // Дитя осиротил. // Жену похоронят, // Меня увезут. // Милую малютку // В приют отдадут*). Наказание сводится к переходу в “чужой” мир не только солдата, но и насильственному переводу туда ребенка, лишающегося возможности расти в “своем” мире.

Подобное поведение героя, на наш взгляд, объясняется следующим. В традиционном коллективе сложилось представление, что неверность женщины является для общества доказательством ущербности супруга, его неспособности соблюсти свои права. Отсюда поступок

жены воспринимается мужчиной как личное оскорбление (например, поведение охотника, вернувшегося с охоты и заставшего жену с другим (песня “*В одном прекрасном месте...*”). Для фольклорного человека, долгое время пребывающего в “чужом” пространстве, возлюбленная / жена становится олицетворением дома, “своего” гармоничного мира, который ее действия разрушают, и он мстит за это. К тому же герой-“воин” как представитель определенного габитуса субъективно ориентирован и на его нормы, не всегда совпадающие с коллективными, и на общепринятые в фольклорном социуме. Его поведение колеблется между этими полюсами.

Герой-“селянин” (слот герой), в отличие от героя-“воина”, — типичный представитель фольклорного социума, он не бывал в далеком “чужом” мире, его не мучает внутренний “пространственный” конфликт. Он не нуждается в особой номинации, отражающей его функциональную принадлежность, поэтому в тексте нет его развернутой характеристики, изредка он именуется по поло-возрастным признакам: *молодой мальчишка, мальчик* (*По серебряным волнам, // На златом песочке, // Мальчик с девочкой гулял...*).

В отличие от героя-“воина”, “селянин” получает предзнаменование (**слот вестник**) об измене милой, которая выходит замуж за другого. В качестве вестников выступают элементы “чужого” пространства — *вода, луна*, характеризующие дисгармоничное состояние мира (*Я следочек не нашел. // Их нет, как не бывало, // Их полною унесло... // Вдруг забрезжила луна // С неба голубого*). Герой, получив предзнаменование, занимает активную позицию, предпринимает ряд действий (*Слышу, колокол вдали // С высоты раздался. // Сел на ворона коня // И*

туда помчался. // Перед церковью святой //
Конь остановился. // Я на паперть-то зашел, //
Богу помолился, // Тихо двери отворил, // Там
народ толпился). Отметим, что, как и герой-“воин”, “селянин” испытывает эмоциональное возбуждение, что передается с помощью глаголов *помчался, беги, торопись*. При этом он соблюдает правила поведения, принятые в коллективе (*Я на паперть-то зашел, // Богу помолился, //*
Тихо двери отворил, // Там народ толпился).

Возлюбленная героя венчается в церкви с другим (**слот ситуация измены**), что и воспринимается героем как предательство его чувств (*Oх, ты милая моя, // За что ты изменила, //*
За другого замуж пошла, // А меня забыла). В организации каждого из слотов большое значение имеет пространственный компонент, выполняющий миромоделирующую функцию. В данном случае пространство по горизонтали структурируется как двухчастное: “свое” (*церковь*) и “чужое” (*вода*), они не вступают в явные оппозиционные отношения, напротив, именно в церкви происходит разрушение гармоничного мира героя. Пространство храма, в котором венчается герояня, достаточно подробно описано (*Я на паперть взошел // Богу помолился... // Тихо двери отворил // Вижу, девицу в венце // Вводят в круг налою. // Перед божьей иконой // Пал я на колени*). Значимы фрагменты этого пространства: *паперть, дверь, аналой, икона*, символизирующие поэтапный переход героя в качественно другой статус. К тому же действия героя в этом пространстве характеризуют его как носителя коллективных норм, которые невозможно нарушить при любых обстоятельствах.

Вертикальная организация пространства представлена оппозицией *небо – земля*. Небесная сфера, с одной стороны, предупреждает ге-

роя о предстоящих событиях (*луна забрезжила*), с другой — символизирует высшие силы. В обращении к Богу герой проявляет одну из типичных черт русского менталитета — покорность обстоятельствам (человек не может влиять на события, их результат непредсказуем, им необходимо подчиниться)⁴². Восприятие неба и как вместилища “чужих” сил, и как пространства Бога отражает особое, своеобразное традиционной культуре языческое “восприятие” христианства.

Герой-“селянин”, в отличие от “воина”, ведет себя неагgressивно (**слот реакция героя на измену**), он занимает внешне пассивную позицию, устремлен в будущее (*Боже, счастье вам пошли // И любовь святую. // А я, мальчишка молодой, // Полюблю другую*), прощает возлюбленную, эмоционально переживает случившееся, противопоставляя свой временно “дисгармоничный” мир миру бывшей возлюбленной (*А как там-то на горе, // Песни да веселье. // А я мальчик молодой, // Мне горе да мученье*). Упоминание пространственного локуса *гора* актуализирует разницу в нынешних положениях героя и его возлюбленной, одиночество героя (*там, веселье*), его временную отстраненность от социума.

В лирической песне представлено два типа мужского поведения в ситуации измены. Представители одного социума, исповедующие, казалось бы, одни правила и нормы жизни, ведут себя абсолютно по-разному. Герой-“воин” в песне — деятель, он совершает поступки, детерминированные его социальной ролью, его действия изменяют состояние мира: делают его еще дисгармоничнее. Имплицитно по ходу повествования подчеркивается неумение героя созидать, его бескомпромиссность, психологическая “негиб-

кость". На наш взгляд, уже в фольклоре, в лирической песне, намечаются аспекты проблемы, широко обсуждаемой в литературе, проблемы адаптивности героя-“воина”, прошедшего “чужой” мир, к мирной жизни, нормам “своего” мира.

Другой алгоритм поведения представляют действия героя-“селянина”, занимающего пассивную, в какой-то степени “созерцательную” позицию по отношению к происходящим с ним событиям. Объяснение этому можно найти и как в ситуации стабильности, невыхода в “чужое” пространство, так и в том, что описывается не супружеская измена, а перемена в чувствах героини.

Женский сценарий поведения в ситуации измены, как и мужской, также представлен несколькими вариантами: от героини-“горюнья”, покоряющейся судьбе (распространенный вариант), до героини-“деятеля” (чаще встречается в жестоких романах)⁴³.

Героиня-“горюнья” (слот героиня) – рядовой представитель фольклорного коллектива. Ее типичность подчеркивается как отсутствием номинаций по функции, что свойственно русской культуре вообще (ср. номинацию мужчин и женщин в анекдотах, где мужчина получает ряд характеристик, отражающих его профессиональный, социальный статус, а женщина чаще всего характеризуется по гендерному принципу), так и отсутствием развернутых портретных характеристик. Повествование ведется от первого лица, поэтому изредка лишь появляются указания на возраст (*Двенадцать лет Марусе, // И та уж влюблена; Молода девчонка полюбила*).

Героиня предстает как человек тонкой душевной организации, с богатым развитым эмоциональным миром, она предчувствует измену: ее настораживают действия милого. Показате-

лем измены возлюбленного является либо изменение в его поведении (*Милый не приходит, // Времечко идет*), либо возвращение возлюбленного издалека с женой (*И вот сон мой сбылся, // И раннею весной // Мой милый возвратился // С красавицей-женой*).

Трагедия героини (**слот ситуация измены**) разворачивается в пределах “своего” пространства, в центре которого находится она сама, чаще всего занимающая статическую позицию (*Сегодняшний день – воскресенье, // Ко мне милый мой не пришел, // Наверное, он перепутал, // Наверно, другую нашел; Милый ходит, ко мне не заходит...*). Неактивные передвижения героини по “своему” пространству, точнее замкнутость в пределах дома (*девушка скучает, вздыхает, ждет на крыльце, смотрит в окно*), невозможность поехать на дальнюю сторонку, в отличие от ее возлюбленного, отражает недеятельную позицию героини в целом. Пассивная роль, отведенная женщине в коллективе, распространяется и на ее личные взаимоотношения, и на ее мироощущение. Гармоничность ее мира полностью зависит от действий милого, который активен (*скакает, уезжает, возвращается, приходит, уходит*), ему дано право выбора: прийти или не прийти к ней, уехать в “чужой” мир и вернуться из него в новом качестве. Для героини “чужое” пространство, куда уезжает любимый, изначально несет горе расставания, ощущение беды, которую она чувствует интуитивно (*Однажды мне приснился // Ужасный, страшный сон...*). При этом героиня в пределах “своего” мира может принимать самостоятельные решения в отношении милого, которые чаще сводятся к вербальным действиям (*А теперь уходи, ненавижу тебя, // Потому что ты любишь другую; Так будь же ты проклят словами...*).

В экстремальных ситуациях (*милый долго не приходит*) героиня совершает переход в мир возлюбленного, который становится ей “чужим”. Дисгармоничный мир изменившего милого описывается с помощью оппозиции “открытый / закрытый” (*Все комнаты открыты, // Одна лишь заперта*), функцию границы между мирами выполняют *крыльца, дверь, замок*, обозначая этапы перехода в “чужой” мир, каждый из которых сопровождается нагнетанием эмоционального состояния геройни (*Зашла я на крылечко и встала у дверей. // Мое слабо сердечко забилось сильней. // Дрожащею рукою я дернула замок...*).

Сама ситуация измены практически никогда не описывается в “женском” варианте песни, чаще всего констатируется факт измены (*У милого под окошком // Ала роза расцвела. // Изменил мене мой милый, // Знать судьба моя така; Где-то звоны звонко звонят, // Миленький венчается. // Изменил дружочек мне...*). Для геройни оказывается важнее разобраться в своих чувствах, в причинах измены, поэтому в “женском” варианте **слот соперница** получает достаточно развернутое описание при помощи оппозиционной структуры “я (геройня) – другая”. Соперница всегда внешне красива (*Наслаждайся ее красотой...; А чем моя подруга, // Чем лучше меня? // Тем, что брови чернее // Да карие глаза?*), но геройня по сравнению с ней выступает олицетворением любви, верности, заботы (*Она любить так не сумеет, // Как я любила, милый мой*). Обильное рефлексирование по поводу измены, описание своего эмоционального состояния кардинально отличает “женский” вариант песни об измене от мужского. Если мужчина скрывает свои чувства (в силу традиции), его эмоциональное состояние проявляется чаще

всего через ряд действий, то женщина, наоборот, полностью сосредоточивается на своих эмоциях (*Любила страшно друга, // И он меня любил; Мой милый со другой. // А сердце так волнуется, // Ох, жаль, что не со мной, // Лучше бы ты, милый, // Ножом мне грудь порезал, // Чем во вчерашний вечер // Другую проводил*).

Случившаяся ситуация вводит героиню в круг “избранных”, несчастных женщин (*Любезные подружки, // Вам счастья, // А мне нет.*), вызывающих сочувствие фольклорного коллектива, который осуждает подобные действия. Вынесение личной драмы на общий суд позволяет героини искать защиты у социума, обнародовать отношения с бывшим возлюбленным, требовать осуждения его действий (*Поверьте мне, добрые люди, // Что сделал злодей надо мной, // Сорвал, как во поле цветочек, // Сорвал, истоптал под ногой*).

Отметим, что в подобного рода песнях, в силу жанровых особенностей, активно используются поэтические символы: *розы, сирень, желтый цвет* как цвет разлуки и др. Часть песен построена по принципу психологического параллелизма: картины природы осуществляют эмоционально-психологические функции, усиливают эмоциональное состояние героини, о котором рассказывается в песне (*Цвели в поле цветники, да поблекли, // Любил меня миленький, да спокинул...; Как у нас под окошком расцветала сирень, // Расцветали душистые розы. // А на сердце моем пробуждалась любовь, // Пробуждались счастливые годы...*).

Как уже отмечалось, героиня-“горюнья” пассивна по своей природе, поэтому в большинстве случаев все ее действия сводятся к проклятиям возлюбленного, сетованиям на судьбу, жалобам на бесперспективность будущей жизни

(*Так будь же ты проклят словами, // Злодей, за измену своего; Вот настанет весна, // Все цветы расцветут, // Расцветет и сирень голубая. // Только все это зря, // Потому что моя // Пролетела пора прожитая; Вас на люди поведут, // А меня на руках понесут. // На вас наденут веночки, // Меня на вечну жизнь*). Во всех высказываниях героини ее внутреннее состояние противопоставляется состоянию природы, ее положение — положению окружающих, в частности и возлюбленного. Исключением являются песни, где героиня принимает решение уйти из жизни (*Пойду, пойду туда я, // Где реченька течет, // Она с объятьем милым // Меня к себе возьмет...; Где-то звоны звонят-звонят, // А в глухом лесу одна, // Только слышен громкий выстрел, // Застрелила сама себя*). Принятое решение может осуществиться только в “чужом” мире: *на реке, в лесу*. Теперь это пространство становится “своим” (милые объятья реки, реченька и др.). Поступок героини противопоставляет ее коллективу, который осуждает подобные действия (*А в глухом лесу одна...*).

Пространственная составляющая слотов в данном типе песни служит для истолкования действий героини, проявления ее внутреннего мира. Традиционность реализации пространственных координат, их содержательного наполнения объясняется типом героини, живущей в “своем” пространстве, являющимся для нее гармоничным в противовес “чужому”, приносящему несчастья и беды.

Менее распространен в лирической песне образ **героини-“деятеля” (слот героя)**. Как и героиня-“горюнья”, она воплощает “женское” начало, главное ее назначение — любить. Однако она способна принять самостоятельное решение в отношении собственной судьбы, которое

связано с нарушением коллективных норм, в частности переходом в “чужое” пространство (*Вы, уланы-молодцы, // Что у вас за кони? // Заседлайте мне коня, // Не боюсь погони; Не послушалась я, мать // Твоего совета // Я с матросом молодым // Еду вокруг света*).

В данном случае “чужое” пространство не получает подробного описания, оно либо имеется (*сине море*), либо указывается его место-положение (*за рекой*). Данной информации достаточно для того, чтобы актуализировать семиотический смысл, который содержит данные объекты, к тому же называются представители “чужого” мира. Обитатели “чужого” мира в песне — *уланы, матросы* и др. — живут по законам, не приемлемым фольклорным социумом (*Мать совета не дала // Ехать мне с матросом, // Матрос замуж не возьмет, // Надсмеется, бросит; Ты совета моего // Слушать не схотела // За лихого улана // Птахой улетела*). В отличие от героя-“воина”, героиня не может освоить “чужое” пространство, она возвращается не победителем, а поверженной (*Дочь идет уныло... // Через год она идет // С головой унылой*). Нарушение коллективных норм не прощается героине, социум не сочувствует ей (ср. с героиней-“горюнней”), не принимает ее, отсылая обратно в “чужое” пространство (— *Иди, доченька, туда, // С кем совет имела. // Моего совета ты // Слушать не хотела*).

141

Рассмотренный женский вариант реализации фрейма “измена” дает иную трактовку пространственной компоненты. Героиня-“деятель” проявляет непривычное отношение к “чужому” пространству, оно выглядит для героини притягательным, ее привлекают его обитатели, она не боится перехода в него. Но “чужой” мир остается чужим в традиционном понимании, он

не принимает героиню, жестоко обманывает ее. “Свое” пространство демонстрирует по отношению к героине новые, непривычные качества: оно жестко обходится с ней, не прощает и не принимает ее.

Женский вариант песни представляет типичный алгоритм поведения в подобной ситуации. Отсутствие активных действий со стороны героини, сосредоточенность на собственных переживаниях, приводит к изменению ее эмоционального состояния при неизменности внешнего мира. Даже протест геройни, попытка изменить ситуацию (суицид), сводится к действиям, разрушающим себя. Героиня-“деятель”, несмотря на свою активность, также оказывается не в силах преодолеть дисгармоничность “чужого” пространства, изменить ситуацию.

Частушка генетически связана с лирической песней, но, как было отмечено, в плане решения коммуникативных, эстетических задач существенно от нее отличается, в том числе и по способу представления фрейма “измена”.

Малый объем частушки предполагает краткий, яркий, лаконичный рассказ о происходящих событиях, о переживаемых чувствах героини. В отличие от лирической песни, в частушке слоты исследуемого фрейма не получают детального описания, исключение составляют чувства и действия обманутой героини (*Снег, снежок, // Белая метелица, // Мне милый изменил, // А мне не верится; Мене милый изменил, // А я дура плакала. // Я другого полюбила – // Любовь однакова*).

В абсолютном большинстве частушек представлена **героиня-“деятель” (слот героиня)**, молодая девушка, выступающая как носитель положительного начала, связанного с категориальной семантикой молодости, мобильнос-

ти, свободы. Она уверена в себе, в правоте своих поступков, самооценка героини представлена достаточно редуцированно: через противопоставление милому, сопернице (*А мне милый изменил, // А я им не дорожу: // Я такими кавалерами // Ограды горожу; Я надену кофту рябу, // Рябую-прирябую, // А кто с милым сядет рядом — // Морду покарябаю!*!).

Слот измена, как и **слот вестник**, не получает подробной характеристики в частушке. В силу специфики жанра факт измены лишь констатируется при помощи отглагольного имени или глагола. При языковом воплощении этого слота, в отличие от лирической песни, в частушке появляется пространственная компонента (*Меня милый изменил, // На козе уехал в Крым, // А я маху не дала — // На корове догнала; Мой миленочек в Москве // С девочкой гуляет, // Приезжает пусть домой, // Я поразвлекаю*). Как и в песне, факт измены связан с “чужим” пространством, получающим номинацию реального локуса. Этот локус пространственно далек от “своего” мира, расстояние не пугает героиню, которая может совершить переход в “чужой” мир. В отличие от героини лирической песни, героиня частушки свободно перемещается в пространствах, по активности, в том числе и двигательной, она равна возлюбленному (ср. *уехал — догнала; пришел — подошла* и др.).

Отметим, что обилие глаголов действия — отличительная черта частушки, задачей жанра является передача информации о случившемся в социуме в лаконичной форме. Эти глаголы позволяют в четырех строках описать ситуацию и отразить реакцию героини, которая чаще всего представлена “внешними” действиями (*Мне милый изменил // И сказал: “Не подойду”. // Я ему сказала: “Врешь, // Все равно ты подойдешь”*).

Частушечное “перевертывание” этических ценностей предписывает героине проявлять такую реакцию на измену (**слот реакция на измену**), которая не известна лирической песне, — героиня отвечает “активными ответными действиями”, развивающимися по законам карнавализации (*Меня милый изменил, // А я не опешила: // В коридоре догнала // И пинков навешала; Мил измену заявляет, // Я измены не боюсь. // Я не с первеньким гуляю, // Не с последним расстаюсь*). “Карнавальное” начало позволяет героине поменяться с возлюбленным местами, примерить типично “мужскую” роль (*Мой милый постыл, // На печи застыл, // А я к другому бегаю, // Да ничего не делаю*). Если в лирической песне героиня статична, ограничена в передвижениях, то в частушке наоборот, она занимает активную позицию, в отличие от милого, жизнедеятельность которого ограничена пространством печи, он не энергичен, безынициативен.

144

Частушка является способом оповещения общества об отношениях внутри молодежного сообщества, кто милый, кто милая, а кто — соперница. Поскольку частушечный текст, в отличие от песни, отражает реальную ситуацию, образ соперницы (**слот соперница**) в нем является одним из основных. Фольклорный принцип взаимообусловленности эстетических и этических ценностей определяет особый акцент на описании внешности соперницы в частушке. В отличие от лирической песни, образ соперницы комичен, антинормативен (*У моей соперницы // Точеные ножки, // Голова как у совы, // Голос как у кошки!; У моей саперы Веры // Вот такие волоса. // Ты сиди, сапера Вера, // Не выпучивай глаза!*). Героиня, как и в отношении милого, занимает активную позицию, угрожая сопернице. Она сама выстраивает границы “своего” мира, нару-

шить которые соперница не вправе (*Ты, соперница моя, // Не ходи навстречу: // Глаза тебе повидеру, // Навеки изувечу!*; *Дрыгай, дрыгай, потолок, // Дрыгай, потолочина! // Уходи, соперница, // Пока не поколочена!*). Охраняя свою любовь, девушка готова перейти в пограничное пространство, чтобы избавиться от соперницы (*Я свою соперницу // Увезу на мельницу, // Измелию ее в муку // И лепешек напеку!*). Подобная реакция на действия соперницы, которые, кстати, остаются в пресуппозиции, обусловлена этической нормой, отраженной в частушке.

Частушка, описывая ситуацию измены, сосредоточивается на передаче чувств и действий героини, изображении соперницы, предполагаемых последствиях измены. При этом пространственная составляющая словов редко получает эксплицитное выражение. Видимо, общность фольклорных когнитивных установок, свойственных лирической песне и частушке, не нуждается в подробных проявлениях. Ограниченнность объема проявляется в активном использовании устойчивых, семиотически нагруженных лексических единиц, актуализирующих фоновые знания слушающего. При сохранении основных характеристик, “чужое” пространство приобретает “частушечный формат”, интерпретируется как пространство, “открытое” для героини, пространство, которое не приносит несчастья. События, происходящие в нем, могут корректироваться героиней.

В процессе анализа фрейма “измена” в избранных к рассмотрению фольклорных жанрах — лирической песне и частушке — была описана пространственная компонента фрейма в миромodelирующем аспекте.

Исследование выявило значимость пространственной составляющей в организации

фрейма в лирической песне и частушке, ее подчиненность жанровым установкам, коммуникативным задачам, эстетике жанра.

Основу развертывания фрейма на сюжетном уровне образует оппозиция “свое” — “чужое”, получающая выражение в описании предательства героя (героини) возлюбленной (возлюбленным). Конфликт героя с предавшей возлюбленной и его разрешение и составляют содержание сюжета песни. Он реализуется в рамках “истории” (биографии) героя. Основным фактором, организующим песенное повествование, является фигура героя, его поведение, вся его деятельность, то есть его **жизнедеятельностное пространство**.

Герой находится в постоянном движении. Его перемещения из “своего” пространства в “чужое” и наоборот служат сюжетообразующим фактором, средством композиционной организации жанра. В рамках **двигательного пространства** героя описываются препятствия, которые необходимо преодолеть герою, представляются пространственные описания объектов, даются темпоральные характеристики движения героя.

В ситуации изменения, спровоцированной пространственно-временными причинами, через ряд действий героя раскрывается его **эмоциональный мир**, в котором пространственная компонента также играет не последнюю роль. Определяет она действия и характеристики других персонажей, вестника (например, стаrushка, родитель — представители “своего” мира, имеющие право оценивать действия возлюбленной героини), соперницы и др.

Реализация пространственной компоненты фольклорного фрейма зависит от фольклорного жанра, определяющего набор реализуемых слотов, специфику их воплощения. Если в ли-

рической песне, как жанре традиционного фольклора, пространственная характеристика сопровождает каждый из реализуемых слотов, то в частушке пространственная составляющая при воплощении определенных слотов представлена в меньшей степени, к тому же, в силу карнавальной специфики жанра, в частушке появляются новые, отличные от традиционных интерпретации пространства. Жанр, его установки, структура выработали специфичные способы миромоделирования, в том числе и пространственного.

Таким образом, можно говорить о миромоделирующей функции пространственной составляющей фрейма, отражающей не только эмпирическое пространство, то есть то пространство, которое в момент действия окружает героя”⁴⁴, но и о пространстве, мотивирующем действия, поведение, ценностные установки героя, определяющем и формирующем его образ мира.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка. М., 1985.

² М. Мерло Понтии (цит. по: Борисова С. Н. Пространство — Человек — Текст. Ульяновск: Изд-во УЛГУ, 2003. С. 35.

³ Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М.: Индрик, 1995. С. 46.

⁴ Лесевич В., цит. по: Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура / Рос. АН. Музей антроп. и этнограф. им. Петра Великого (КУНСТКАМЕРА); Отв. ред. А. С. Мыльников. СПб.: Наука, 1994. С. 344.

⁵ См.: Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство, 1971; Пропп В. Я. Поэтика фольклора: Собр. трудов / Ред. Г. Н. Шелогурова. Сост., предисл.

и коммент. А. Н. Мартыновой. М.: Лабиринт, 1998; Якобсон Р. О. О русском фольклоре // Якобсон Р. О. Язык и бессознательное. М., 1996; и др.

⁶ Аникин В. П. Теория фольклора: Курс лекций. М., 1996; Гусев В. Е. Эстетика фольклора. Л.: Наука, 1967; Нелов Е. М. Натурфилософия русской волшебной сказки. Петрозаводск: Изд-во ПГУ, 1989; Хорленко А. Т. Семантика народно-песенного слова. Курск: Изд-во КГПИ, 1990; Цивьян Т. В. Лингвистические основы балканской модели мира / Ин-т славяноведения и балканстики. М.: Наука, 1990.

⁷ Адоньева С. Б. Фольклористика и современное гуманитарное знание // Первый всероссийский конгресс фольклористов. Сб. докладов. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2005. Т. 1. С. 45.

⁸ Адоньева С. Б. Прагматика фольклора. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та: ЗАО ТИД “Амформа”, 2004. С. 6.

⁹ “Фольклорная аудитория активна, она непосредственно вмешивается в текст: кричит в барабане, тычет пальцами в картины, притоптыает и подпевает...” [Лотман]. Эта аудитория воспринимает текст иначе, она является соавтором текста, творит в рамках традиции.

¹⁰ “Фольклор — не совокупность объектов, но процесс; чтобы быть точным — коммуникативный процесс”. “Художественные формы — это культурно опознаваемые категории коммуникации”, они отличаются друг от друга “текстуральными” качествами (т. е. поэтикой в широком смысле, речевыми особенностями, организацией и способом подачи текста).

¹¹ Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Автор и герой: К философским основам гуманистических наук. СПб.: Азбука, 2000. С. 250.

¹² Дементьев В. В., Седов К. Ф. Социопрагматический аспект теории речевых жанров. М., 1998. С. 6.

¹³ Путилов Б. Н. Указ. соч.

¹⁴ Садова Т. С. Народная примета как текст и проблемы лингвистики фольклорного текста: Дис. ... докт. филол. наук. СПб., 2004. С. 123.

¹⁵ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 180.

¹⁶ Адоньева С. Б. Прагматика фольклора. С. 7.

¹⁷ Путилов Б. Н. Указ. соч.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Резанова З. И. Дискурсивный аспект миромоделирующей функции языка (в печати).

²⁰ Там же.

²¹ Решение вопроса отношения между исполнителем (говорящим) и выбранным/созданным им “чужим” текстом особого типа на фольклорном материале позволяет по новому подойти к проблеме интертекстуальности, “смерти автора” (Р. Барт), “чужих голосов” (М. М. Бахтин), что в первую очередь обусловлено природой фольклорного текста.

²² Ср.: “Человек живет в чужих улицах, в городах, построенных дедами... Человек живет не только в чужом доме, в доме чужих дедов, но и в чужом языке” (Тынянов Ю. Н.). Цит. по: Адоньева С. Б. Прагматика фольклора. С. 55.

²³ Земцовский И. И. Русская протяжная песня. Л., 1967. С. 7.

149

²⁴ Зеленин Д. К. Современная русская частушка // Заветные частушки из собрания А. Д. Волкова: В 2 т. М., 1999. Т. 2. С. 462 – 465.

²⁵ В фольклорном дискурсе исполнитель и фольклорный субъект – лица разные. Исполнитель является автором данного речевого события, который для достижения коммуникативной цели использует готовый шаблон, несет ответственность за свое социальное действие (подробнее см.: Адоньева С. Б. Прагматика фольклора).

²⁶ Путилов Б. Н. Указ. соч.

²⁷ М. М. Бахтин в работе “Эстетика словесного творчества” говорит о двух уровнях специфики жанра – внешнем и внутреннем. К внешнему уровню он относит форму жанра (тело), которое располагается между людьми, занимает определенное, предоставленное ему место в жизни. Форма жанра определяет внутренний уровень: “существует действительность жанра и действитель-

ность, доступная жанру” (*Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества*. М., 1986).

²⁸ Коллективная когнитивная база — знания лингвокультурного сообщества в целом.

²⁹ Разное понимание фрейма отражено в трудах Е. С. Кубряковой, М. Минского, З. А. Харитончик, Ч. Филмора и др. В нашем понимании фрейм — это ментальная структура, организованная вокруг концепта, содержащая данные о типичном для этого концепта.

³⁰ *Путилов Б. Н. Указ. соч.*

³¹ *Лотман Ю. М. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // Литературное наследие декабристов: Сб. / Под ред. В. Г. Базанова и В. Э. Вацуро. Л.: Наука, 1975. С. 28.*

³² Ср.: “утрата партнера — смерть супруга (100 баллов); развод (73 балла); расставание с партнером (65 баллов) занимают первые три места в “Оценочном каталоге стрессовых событий жизни” Холмса и Рас”. Цит. по: *Пешкиан Х. Основы позитивной психотерапии*. Архангельск, 1993. С. 45.

³³ *Литературный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1987.*

³⁴ Номинация героев дана нами условно, чтобы подчеркнуть разницу в их поведении.

³⁵ К этому же классу героев мы относим и *охотника*, выполняющего схожую функцию (освоение “чужого” мира).

³⁶ См.: *Никитина С. Е., Кукушкина Е. Ю. Дом в свадебных причитаниях и духовных стихах (опыт тезаурусного описания)*. М.: ИЯз РАН, 2000; *Цивьян Т. В. Дом в фольклорной модели мира (на материале балканских загадок) // Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та. Вып. 463. Труды по знаковым системам. Х. Тарту, 1978. С. 65 – 85.*

³⁷ Отглагольное имя со значением отвлеченного действия представляет в свернутом виде ситуацию в целом.

³⁸ *Цивьян Т. В. К семантике пространственных элементов в волшебной сказке // Типологические исследования по фольклору: Сб. статей памяти В. Я. Проппа. М.: Наука, 1975. С. 199.*

³⁹ Отметим, что казачки, поющие эту песню, считают, что старушка обманула казака, поскольку казачка (по традиции всегда верно ждала / ждет казака и с войны, и с учения (телепередача “Казачий дневник” от 20.04.2006).

⁴⁰ См.: *Бохонная М. Е.* Эстетическая интерпретация “вещного” мира в языке среднеобского фольклора (на материале лирической песни и частушки): Дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2006.

⁴¹ Номинация условна, поскольку как о таковом соперничестве речи не идет.

⁴² См.: *Вежбицкая А.* Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996.

⁴³ Подобная номинация также условна.

⁴⁴ Пропп В. Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. М.: Наука, 1976. С. 92.

1.1.4

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНОГО ДИСКУРСА*

152

В данном разделе рассматривается пространственная организация праздничного дискурса. Исследование проведено на материале праздников “Последний звонок” и “Посвящение в студенты”. Праздничное пространство, в работе представленное в противопоставлении бытовому, выстраивается в соответствии с архаической ритуально-мифологической моделью. Такая организация праздничного пространства обусловлена задачами рассмотренных праздников — моделирование обряда инициации.

Каждая культура предстает человечеству через разнообразные кодовые системы: цветовой код, предметный код, соматический код, музикальный код, фитокод и др. В этом ряду пространственная кодовая система занимает особое место: категория пространства, являясь одной из универсальных интерпретативных категорий, демонстрирует ярко выраженную национальную и социокультурную обусловленность. Именно сквозь призму категории пространства осмыляются все значимые категории культуры.

* Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 07-04-64404 а/Т.

Мир праздника, как одного из значимых компонентов культуры, отражающих специфику каждой конкретной эпохи развития человечества, не раз становился объектом исследования гуманитарных наук (см. работы С. С. Аверинцева, М. М. Бахтина, К. Жигульского, К. Леви-Стросса, Д. С. Лихачева, А. И. Мазаева, В. Я. Проппа, В. Н. Топорова, В. Тэрнера, О. М. Фрейденберг, Э. Фромма, М. Фуко, Й. Хейзинги, М. Элиаде и др.).

На протяжении всего своего развития человек отчетливо сохранял в своем сознании противопоставленность праздников и будней, что выражалось в особых полисемиотических установках — поведенческих, психоэмоциональных, эстетических и др. Универсальность праздничной модели (в противовес будничной) определяется в первую очередь тем, что “праздник возникает и существует в культуре как форма эмоционально-символического выражения и моделирования человеком своего отношения к миру”¹.

В рамках лингвистических изысканий праздник как феномен, в структуре которого текстовая составляющая играет не последнюю роль, оказался на периферии. Постепенно входит в сферу объектов описания праздничный дискурс как лингвоэстетическая составляющая русской национальной картины мира (см. например, работы В. И. Карасика).

Текстовый континуум праздничного дискурса, отличаясь особой гетерогенностью, структурируется определенным образом.

Важнейшим компонентом этой структуры является корпус текстов, функционирование которых сходно с функционированием фольклорных произведений (в соответствии с современным представлением о формах существования фольклора — см. работы К. А. Богданова,

М. С. Кагана, С. Ю. Неклюдова и др.). Их “фольклорность” проявляется в наличии специфических моделей формирования, эстетической переосмысленности, устности бытования, типичной прагматики и т. д. К таковым относится, например, текст праздничного поздравления (*Пожеланий моих не счастья! // Но зачем их делить на части, // Если все они, сколько есть, // Умещаются в слове “счастье”!*) и под.

Не менее значимую роль в указанной структуре играют и бытовые тексты, которые в системе праздничного дискурса также получают особую культурную нагруженность. Так, рассматривая специфику праздничного текста, можно говорить о наличии особых праздничных клише (“У меня есть тост!”, “Тост созрел!”, “Горячее подавать?”, “Песни петь будем?”, “А давайте нашу!” и под.) и свободных по своей природе высказываний, включающихся в систему текстов праздничного дискурса в его широком понимании (например, застольные разговоры). Если клише достаточно легко поддаются фиксации, то свободные высказывания требуют особого подхода в связи с их максимальным разнообразием². Отметим, что разнообразие последних все-таки не беспредельно: границы содержания “праздничных” разговоров определяются их природой и особенностями функционирования, в частности условиями неинтимной коммуникации, актуализируемой ими фатической функцией, полиглоссией, особым соотношением типичного и индивидуализированного и т. д.

Таким образом, праздничным текстом является любой текст, функционирующий в рамках праздничного дискурса и определяемый его коммуникативными и прагматическими установками.

Праздничный текст находится в отчетливой зависимости от социокультурной ситуации, и во многом его структура и содержание определяются уровнем развития информационной среды, что в первую очередь выражается в активном привлечении интернет-технологий к формированию праздничного текстового континуума. Так, вместо традиционного адресного поздравления широкое распространение получают открытки, содержащие шуточные фразы “на все случаи жизни”, в играх используются вопросы из Интернета вместо привычных загадок и др. Подготовка праздничного действия нередко сводится к поиску необходимых текстов на интернет-сайтах, привлечение которых даже не всегда сопровождается адаптацией к конкретному мероприятию и личности адресата. Этим обусловлена еще одна особенность современного праздничного текста — постепенное нивелирование личностного, авторского начала, что также позволяет рассматривать подобные тексты как фольклорные. При этом необходимо отметить, что свойственная современным культурным установкам потребность в реализации индивидуумом своего “я” сохраняется, но чаще всего это сводится к установке на поиск текстов “оригинальных”, “таких, как ни у кого не было”, “как в нашей компании никто не говорил” и под. В ряде случаев интернет-тексты подвергаются минимальной “авторской обработке” (включение в текст имен виновника торжества и его гостей, указание на личностроно ориентированные реалии и т. д.).

Вариативность праздничной модели обусловлена неоднородностью современной культуры в целом, реализуемой в ряде конкретных субкультур (см. работы П. С. Гуревича³, С. Я. Матвеевой⁴, С. Ю. Неклюдова⁵, Н. И. Толстого⁶,

Т. Б. Щепанской⁷ и др.), вследствие чего общая праздничная модель реализуется в различных субкультурных вариантах (ср. например, празднование Нового года в контексте разных современных субкультур).

Обращение к материалам различных субкультур при изучении современной культуры оказалось очень плодотворным. Активно исследуются молодежные субкультуры как культуры альтернативные по отношению к официальной (исследования Е. Н. Давыдова, И. Б. Роднянской, М. П. Чередниковой, Т. Б. Щепанской и др.), туристская субкультура (Е. В. Абанькина, К. Э. Шумов и др.), субкультура парашютистов (Н. Е. Ливанова), субкультура девичества (С. Б. Борисов), военная субкультура (В. В. Головин, Е. В. Кулешов, М. Л. Лурье и др.), многие другие.

Палитра субкультур современного общества многообразна. Это и те, которые формируются системой общественных институтов (школа, вуз, семья и др.) и в которые на определенном жизненном этапе включается каждый из нас, и те, которые имеют “закрытый” характер и не обладают жесткой зависимостью от социальных институтов (туризм, байкеры, эмо и др.).

Субкультуры первого типа — “открытые” — характеризуются как стабильные, имеющие длительную историю и регулируемые системой общественных стереотипов. Вторые — часто, напротив, создаются в противовес общественным стереотипам (“контркультура”), но также находятся от них в определенной зависимости, реализуя направленность на их принципиальное разрушение.

На первый взгляд “закрытые” субкультуры ярче отражают общественные изменения (именно этим обусловлен постоянный исследова-

тельский интерес к ним), но институциональные субкультуры также интересны (особенно с их лингводискурсивной стороны) отражением динамики общественного развития на фоне жесткого традиционного контекста.

При исследовании праздничного дискурса важным является то, что динамика праздничной модели представляет собой результат своеобразного диалога универсального и субкультурно обусловленного в национальной культуре.

Каждая субкультура формирует свой праздничный календарь, в который включаются как официальные праздники (выборочно), так и собственные, порожденные в рамках данной субкультуры. Официальные праздники, сохраняя общенациональную доминанту, встраиваются в конкретную социокультурную среду.

В рамках каждой субкультуры формируются особые модели мира, в структуре которых ведущую роль играют образы человека, окружающего его пространства, времени, в котором он живет.

157

Пространство, являясь наряду со временем одной из основных форм существования материи, характеризуется протяженностью, трехмерностью, однородностью, изотропностью. Наивный образ пространства в первую очередь отражает аксиологические установки культурного сообщества, позволяя передать коллективный опыт сквозь призму оппозиций “верх/низ”, “близкий / далекий”, “левый / правый” и т. п. Природа осмыслиения данного образа, соединяющая рациональное и чувственное в его восприятии, определяет столь последовательный исследовательский интерес к данной категории⁸.

Праздничный дискурс как система, отличающаяся высоким уровнем субкультурной обусловленности, отчетливо демонстрирует специ-

фику указанных категорий в структуре праздничной модели мира.

В данном исследовании рассматривается пространственная компонента текстового континуума школьного праздника “Последний звонок” и студенченского — “Посвящение в студенты”. Материалом послужили видео- и текстовые записи соответствующих праздников, зафиксированных в школах и лицеях г. Томска, а также в Томском государственном университете.

Школьный и студенческий дискурсы представляют субкультуры открытого типа. В качестве объекта описания гуманитарных наук школьная субкультура в последнее время отличается особой востребованностью⁹, поскольку, с одной стороны, ее содержание оказывается личностно переосмысленным каждым членом общества, с другой — школа как общественный институт имеет длительную историю, в то же время обладает гибкой системой реагирования на исторические изменения. Субкультура студенчества описывается еще более активно¹⁰. Современная социокультурная ситуация привела к возрастанию количества людей, имеющих высшее образование или стремящихся получить его, поэтому доля членов общества, так или иначе имеющих отношение к студенческой субкультуре, также возросла. История формирования субкультуры студенчества уходит своими корнями в средневековье и на протяжении всего своего развития связана с тематикой “отношений между студентами и профессорами, между студентами и властью, между студентами разных учебных заведений. Для студенческих традиций всех времен характерно прославление пьянства и свободы нравов, опровержение канонов, религиозный и политический нигилизм”¹¹. Указанные доминанты сохраняются и в совре-

менной студенческой субкультуре. При этом, как и школьная субкультура, культура студенчества отличается чутким реагированием на исторически конкретную реальность.

Доминантные признаки школьной субкультуры сосредоточиваются в социовозрастной сфере. Возрастной диапазон ее реализации достаточно широкий (6–18 лет), что определяет ее внутреннюю неоднородность (начальная школа, средняя школа, старшая школа). При этом в качестве объединяющего, организующего начала выступает символически нагруженный концепт “ученичество”, реализующий идею значимого, обязательного компонента человеческой жизни (ср. метафорические выражения “школа жизни”, “хорошая школа” и под.).

Особенности современной школьной субкультуры определяются не только негомогенностью ее возрастной структуры, но и социальной неоднородностью. Большую роль в этом аспекте играет появление элитных средних учебных заведений — гимназий, лицеев и под., что является еще одной причиной внутрисубкультурного варьирования.

Возрастные границы студенчества уже, нежели школьные, но данная среда также не отличается полной однородностью в силу ряда причин. Во-первых, возраст студентов одного курса менее задан обществом (начинают обучение в разном возрасте, иногда уже будучи относительно состоявшимися людьми). Во-вторых, студенческая среда отличается ярко выраженной профессиональной ориентированностью (студенты-филологи, студенты-“технари”, студенты-юристы), что приводит к тому, что доминантные признаки реализуются сквозь призму профессиональных категорий (как ограничение свободы студентов-филологов воспринимается

необходимость “много сидеть в библиотеке” и “читать книжки”; стереотипной установкой в восприятии студентов-медиков является отсутствие у них чувства брезгливости, так как они “много сидят в анатомке” и т. д.). В-третьих, студенты в большей степени, чем школьники, включаются в другие субкультурно значимые сообщества (туризм, музыкальные объединения, спортивные клубы и др.), что также способствует особому структурированию студенческой среды.

Возраст студенчества обуславливает формирование некоторого романтического компонента в содержательной структуре соответствующей субкультуры, что проявляется, в частности, в активном функционировании студенческих примет, поверий, баек и т. п. Отчетливо проявлен гендерный аспект (праздничные тексты, объектом которых является филологическая субкультура, направлены в первую очередь на актуализацию женского начала, в отличие от, например, субкультуры технических факультетов, и т. п.).

Все субкультурно обусловленные школьные праздники обязательно актуализируют в своей основе концепт “ученичество” в его этапном проявлении: “Первое сентября”, “Прощание с Азбукой”, “Посвящение в читатели”, “Прощание с начальной школой” и др. “Последний звонок” представляет собой один из наиболее значимых и наиболее показательных в исследуемом отношении компонентов школьной праздничной культуры. Его ритуальная составляющая может быть рассмотрена как обряд инициации, связанный в данном случае с переходом “из детства во взрослую жизнь” и предполагает обязательное соблюдение ряда действий, определяемых его реализацией: переход из “своего” прост-

ранства в “чужое” и наоборот (поступление в школу и уход из школы), прощание (со школой, учителями и одноклассниками), перестройка отношений (с родителями и учителями) и т. п.

Субкультура студенчества не отличается большим разнообразием специфических праздничных мероприятий — “Посвящение в студенты”, “День рождения группы”, “Медиана”, “Последний звонок”. Остальные студенческие праздники имеют либо календарную основу, либо корпоративно-профессиональную (День математика, День рождения ТГУ, День радио и др.). Это соответствует более “раскованному” по сравнению со школьным самовосприятию студента, который считает себя “уже вошедшим во взрослую жизнь”, но “еще не знает, как в ней жить”. “Посвящение в студенты” — праздник сугубо внутренний для данной субкультуры, где мифолого-ритуальное начало оказывается отчетливо выраженным. Ритуальная составляющая данного праздника также связана с реализацией обряда инициации. Здесь это выражается в прохождении испытания, чтобы быть принятыми в студенческое сообщество. Таким образом, студенческая “инициация” более узко аспектирована по сравнению со школьной: школьный “Последний звонок” — итог “детства” и демонстрация приобретенных общечеловеческих жизненных навыков, а студенческое “Посвящение” — начало нового жизненного этапа, проверка готовности соответствовать требованиям студенческой профессиональной среды. “Последний звонок” темпорально ориентирован на прошлое, “Посвящение в студенты” направлено в будущее.

Рассмотрим специфику реализации пространственной компоненты в праздничном тексте **“Последнего звонка”**.

Ритуал инициации определяет пространственные границы рассматриваемого праздничного дискурса.

Пространство праздника реализуется на нескольких уровнях.

1. Праздничное действие разворачивается в реальном пространстве.

В первую очередь, как и любое освоенное человеком пространство, данная среда структурируется в соответствии с заданными человеком установками.

Действие праздника разворачивается внутри школы (в отличие, например, от “Выпускного вечера”), так как “Последний звонок” как праздник актуализирует мотив прощания с данной средой, символизирующей важный этап жизни человека. В соответствии с установкой на противопоставление праздников и будней школьное пространство структурировано в виде учебных — “будничных” — и “праздничных” зон. Центр праздничного действия сосредотачивается в актовом зале. Данное пространство маркировано визуально (соответствующее типу праздника оформление; обязательное изображение колокольчика как символа колокольного звона, актуализирующего пограничное эмоциональное состояние, плакаты с указанием года выпуска, напутственные плакаты — “В добрый путь, выпускники!” и т. д.) и аудиально (торжественная музыка, в том числе песни о школе). Актовый зал также разделяется на ядро (сцена) и периферию (зрители).

Основные события разворачиваются на сцене, которая выступает в качестве сакральной зоны, и попадание в эту зону задает определенную парадигму поведения участников праздника, в том числе и верbalного поведения. Это разыгрывание сценок из школьной жизни, ис-

полнение танцев, а главное — реализация определенных речевых жанров: пожелание, поздравление, воспоминание и под. Сцена и зрительный зал представляют собой единую систему, где взаимодействие элементов вербально проявляется прежде всего в репликах ведущих, направляющих фокус внимания одного пространственного компонента на другой пространственный компонент (*Посмотрите на наших выпускников! // А сейчас на сцену приглашаются... // Вас пришли поздравить наши первоклашки*). При этом пространство сцены воспринимается как привилегированное (*Учитель первый, очень любим Вас! // На эту сцену приглашаем Вас сейчас!*).

Взаимодействие сцены и зала выполняет функцию связующего начала между отдельными элементами праздничного действия.

Противопоставленное сцене “зрительское” пространство, в свою очередь, состоит из значимых участков, которые обозначают ролевую структуру праздника, задаваемую его моделью (места для родителей, учителей, первоклассников, выпускников и т. д.). Каждая часть праздничного пространства, в соответствии с указанной моделью, обладает собственным набором акциональных и речевых проявлений, реализуемых на сцене. Родители, как правило, произносят слова благодарности учителям и напутствие своим детям. Причем, в соответствии с реализацией установок, диктуемых обрядом инициации, в речи родителей актуализируются концепты “взросłość”, “самостоятельность”, “свобода выбора” и др. Так, в одной из школ на сцену был вынесен кожаный ремень, украшенный бантиками, который был разрезан на кусочки и подарен выпускникам со словами: *Наши дорогие, горячо любимые дети! Не бойтесь, сегодня*

никаких санкций не последует. Просто мы хотим вручить вам этот предмет как символ обретенной ныне свободы! Но пусть он напоминает вам о необходимости критически оценивать все свои поступки.

Стабильны и мотивы, проявляющиеся в поздравлениях первоклассников: напутствие, обещание быть “не хуже”, хранить школьные традиции и под.

Реализация всех перечисленных мотивов указывает на грядущий переход выпускников из “своего” пространства в “чужое”. Во всех ролевых выступлениях, с одной стороны, актуализируется готовность выпускников к этому переходу, а с другой — подчеркивается органичность и неизбежность этого перехода как следствие естественного развития человека.

Карнавальная компонента, таким образом, лежащая в основе любого праздничного действия, предопределяет, на наш взгляд, особое выражение обряда инициации — его реализацию в форме игры. Именно поэтому все участники действия (даже первоклассники), кроме самих выпускников, оказываются наделенными “сакральным знанием” о содержании “чужого” пространства и алгоритмах поведения в нем (первоклассники: *В этих стенах вы успели // Очень многое узнать. // Мы желаем вам ответить // Все экзамены на “пять”!*; завуч школы: *В наше нелегкое время очень важно сделать правильный выбор — профессиональный, личностный, семейный. Нужно сделать его так, чтобы никогда не пожалеть об этом! Желаем вам найти свою дорогу!*; родители: *В вашей жизни будет разное: взлеты и падения, успех и неудача, радости и потери. Но всегда помните своих учителей, друзей-одноклассников, да и родителей не забывайте!*).

Обязательным сигналом при реализации центрального мотива перехода в иное пространство является последний школьный звонок, символика которого проявляется и в вещном пространственном коде (маленькие звоночки на груди участников праздника), и в визуальном (на плакатах), и в вербальном (первоклассники: *Сегодня ваш праздник – // “Последний звонок”, // Последний звонок на последний урок!*), и – обязательно – в аудиальном коде (звучит звонок). После этого сигнала инициация считается совершившейся, и в новом качестве выпускники покидают реальное пространство школы. Это воспринимается как символически нагруженный акт, продолжением которого становятся прогулки по городу, который символизирует их пребывание в новом качестве. Так, в Томском гуманитарном лицее обязательное традиционное проявление этого действия – торжественное шествие вокруг здания лицея, сопровождающее определенной атрибутикой.

2. Реальное пространство праздничного действия получает эстетическое переосмысление в текстовом воплощении праздничного дискурса.

Одним из важнейших способов представления праздничного пространства, фиксируемого вербально, оказывается учебно-дисциплинарная структура среднего образования (литература, русский язык, биология, физика, химия и т. п.). Это отражает особенности мировосприятия школьниками модели школьной жизни, которая переносится на модель общественного устройства в целом. В этом, с одной стороны, проявляется определенная незрелость выпускников, еще стоящих на пороге совершения обряда инициации, а с другой – их умение подняться над предметно-дисциплинарной конкретикой и на осно-

вании значимых, мотивированных внутренней природой школьной субкультуры признаков создать целостную карнавальную модель реальности (*Рыжий дым клубами вьется, // Пламя ли- жет потолок, // Кислота рекою льется — // Идет химии урок; Все историю учили — // Древнюю и наших дней, // А теперь ее продол- жить // Выпало рукой своей; Косинус — это от- ношение процента знаний учеников к количеству опозданий на уроки математики*).

Текстовая составляющая праздничного дискурса реализуется относительно стабильной жанровой системой, последовательность актуализации и содержание которых диктуется типом праздничного события (ср.: жанровые системы, оформляющие праздничный дискурс “8 Марта” и “Последнего звонка”).

Указанная система включает разные по своей природе жанровые формы, подчиненные pragmatической цели праздника, — совершить обряд инициации, представляемый как игра, карнавал.

Праздничное **приветствие** “Последнего звонка” реализуется и как самостоятельное речевое произведение (как правило, в подготовленном тексте ведущих), и как составляющая других речевых жанров — пожелание, поздравление, напутствие и др.

В праздничном дискурсе приветствие как самостоятельное речевое произведение выступает в первую очередь как показатель начала праздничного действия и переход “от будней к празднику”. Если до этого момента в пространстве актового зала все речевые произведения имели равный статус, то после приветствия они организуются в определенную иерархию: тексты, предопределенные праздничной моделью, оказываются в доминирующем положе-

нии, остальные (“попутные разговоры”) — в подчиненном.

Праздничное приветствие “Последнего звонка” призвано обозначить участников праздничного события, создать соответствующий эмоциональный настрой. Участники праздничного события обозначаются через обращение к ним. Как правило, фиксируется их ролевая принадлежность в рамках данного праздника, при этом обязательным компонентом данной текстовой формы становится эмоциональная составляющая, призванная актуализировать единство системы указанных ролей, особую интимность отношений между ними: *Добрый день, дорогие друзья: // Гости, родители, учителя! //* **Мы очень рады видеть вас // В этом зале, в этот день и час!** В приведенном приветствии “мы/вы” реализует одну из базовых семиотических оппозиций (см. работы С. Ю. Неклюдова, Н. И. Толстого, Т. В. Цивьян), но специфика праздничного дискурса придает ее наполнению особый характер — конструирующие ее элементы, выражая пространственное противопоставление “сцена/зал”, имеют цель подчеркнуть эмоциональное единство праздничной пространственной структуры. Употребление обращения *дорогие друзья*, несмотря на очевидную клишированность, также напрямую этому способствует (ср.: *Леди и джентельмены!, Здравствуйте!* и др.). Органично и вербальное фокусирование внимания на пространственно-временной локализации праздничного действия (*В этом зале, в этот день и час*).

Приветствие в рамках других речевых жанров, кроме основной, выполняет дополнительную функцию — обозначить статус и передать иерархию ролевых групп. В этом смысле форма такого приветствия зависит от его адресата и ад-

ресанта. Так, в выступлениях родителей выпускников статус учителей фиксируется как более высокий по сравнению с остальными адресатами (*Уважаемые учителя! Дорогие наши дети! / Особо хочется обратиться к учителям!*). Приветствие директора школы, обязательным компонентом выступления которого является оглашение приказа о допуске выпускников к экзаменам, обращено прежде всего именно к ним (*Дорогие ребята и все присутствующие! / Дорогие выпускники, родители, коллеги! / Дорогие дети, родители наших выпускников!*). Особо интимные отношения между выпускниками и их классными руководителями, а также первыми учителями проявляются в подчеркнутом объединении их ролевых зон (*Дорогие мои дети! / Что я вам хочу сказать, мои хорошие!*). Отметим, что родители, как правило, находятся на периферии праздничного пространства “Последнего звонка”, хотя и являются обязательными его участниками, и этим объясняется то, что в выступлениях выпускников обращения к родителям практически не фиксируются.

168

Поздравление занимает центральное место в текстовом континууме праздника. Когнитивная установка на поздравление определяет любое событие, происходящее на сцене, — как вербальное, так и акциональное (*Вас пришел поздравить фольклорный коллектив “Сударушка”! Встречайте! / А теперь перед вами выступит ансамбль “Ника”. Принимайте поздравления! / Сегодня у нас на празднике много гостей! Свои поздравления вам адресует председатель Государственной Думы Томской области Борис Алексеевич Мальцев!*). Наиболее последовательно форма поздравления реализуется в выступлениях участников праздника, пришедших извне, не входящих в обязательные для данного праздни-

ка ролевые группы, — депутатов, представителей городской и областной администрации и др.

В качестве факультативной составляющей поздравление присутствует в речи педагогов и родителей (так как они — косвенные “виновники торжества”) и практически не фиксируется в выступлениях самих выпускников. Объяснением этому является ритуальная составляющая праздника (обряд инициации), задающая другие жанровые формы — напутствие (родители, учителя, первоклассники), благодарность (родители — учителям, выпускники — учителям, учителя — выпускникам и родителям) и др.

Пространственная компонента в жанре напутствия играет особую роль. Напутствие как жанр в принципе строится на метафорическом воплощении идеи предстоящего пути, дороги, судьбы, поэтому и его содержание, и структура строятся по модели “инструкции, как себя вести в дороге”. В пресуппозиции напутствия остается представление о школе как “своем”, освоенном, структурированном пространстве. В связи с пространством школы актуализируются стереотипные аксиологически значимые категории школьной дружбы и знаний, помогающих в будущей дороге. Категория наставничества вербально воплощается в лексеме УЧИТЕЛЬ, коннотативно нагруженной символикой защиты, мудрости, стабильности. С этим связан мотив возможного ВОЗВРАТА с целью обновления сил. Учителя, в отличие от остальных участников праздничного действия, живут в школьном пространстве постоянно, являясь хранителями традиций и источником сил и мудрости.

Модель будущей жизни как иного пространства структурирована слабо, но ближайшее “желанное пространство” формализовано достаточно последовательно — в большинстве случа-

ев таковы называется *вуз* (*Сегодня вы уходите в большую жизнь!* Она не всегда будет легкой, но всегда будет интересной, поэтому не забывайте о своих *друзьях*, которые всегда помогут вам, ведь школьная *дружба* — самая прочная! / *Скоро вы станете студентами!* Вас ждет *новая жизнь* — насыщенная *новыми* встречами, *новыми* людьми. Всегда помните о *школе*, о *своих учителях*, о *тех знаниях*, которые вы здесь получили! А если трудности возникнут в пути — придите в *родные стены*: они приадут вам сил преодолеть все).

Переход в данное пространство требует пройти определенные испытания, что соответствует реализации обряда инициации: сдать выпускные экзамены, вступительные экзамены, сделать правильный профессиональный выбор (*Скоро вам предстоит сдавать выпускные экзамены в школе. Но это не последние экзамены в вашей жизни: еще будут вступительные экзамены в вузы, и еще много экзаменов приготовят вам жизнь!* / *Сейчас вы выбираете дорогу!* Очень важно выбрать дело, которое будет вам нравиться и позволит достойно жить...).

Чаще всего адресантами напутствия выступают учителя, иногда — родители. И в их выступлениях, как правило, подчеркивается только одна из сторон их будущей жизни. Бульшим тематическим разнообразием отличаются выступления первоклассников. Их роль — актуализировать игровое начало в системе праздничного действия, смягчить мотив грусти, расставания. В их выступлениях конструируются идеальные модели поведения — как собственного, так и выпускников (*Старших надо уважать, малышей не обижать — это пять! // Очень много книг прощать — это шесть! // Быть приветливым ко всем — это семь! // А еще тебя мы просим: как*

весну, встречай ты осень. // Это — восемь!; Вы заботились о школе. // Много сделали для нас. // Но хозяевами школы // Будем мы не хуже вас!).

В ряду праздников школьной субкультуры “Последний звонок” характеризуется активной представленностью жанра воспоминания. Его роль связана с намерением обозначить особую рубежность пройденного этапа человеческой жизни, подчеркнуть результативность выполнения всех возложенных на школу функций.

Жанр воспоминания в праздничных текстах “Последнего звонка” актуализирует восприятие школьного пространства как пространства родного дома. Интересно, что для того, чтобы этот дом стал действительно родным, чтобы освоить данное пространство, необходимо совершить ряд действий, представляемых в рассматриваемом жанре как ритуальные: установить контакт с вещным миром, маркирующим пространство школы (ведущий: ...*И ты открыл учебник новый...* / первоклассники: *Всех своих учеников помнят эти стены, трель веселую звонков перед переменой...* / учитель математики: Я помню, как вы опоздали на первый урок математики в 5-м классе, потому что не могли найти кабинет!), усвоить законы школьного существования (ведущий: *В течение 11 лет выпускники, в знак уважения, стоя встречали педагогов, входящих в класс...* / первоклассники: *Ничего не понимали* вы в тот самый первый год и учебники листали часто *задом наперед...* / учитель: *И напрасно вы прятали дневники* от своих родителей!), научиться жить по этим правилам (классный руководитель: *Вы стали не только умнее — вы стали намного красивее!* / первоклассники: *Учат тут теплом и лаской, по велению души очень скоро, словно в сказке, поумнели мальчиши!* / выпускники: *Мы узнали, что*

не “звонишь”, а “звонишь”, что оксюморон — это соединение несоединимого...).

Если в других жанрах рассматриваемого текстового континуума учитель как герой школьного пространства делит приоритетное положение с выпускниками или же вообще уходит на периферию, то в жанре воспоминания его роль в руководстве процессом освоения школьного пространства представляется главной. В фокусе внимания оказываются как личностные (точнее — “псевдоличностные”, так как это заложено в ролевых моделях поведения героев школьного пространства), так и профессиональные его качества (*Вы долго и упорно искали пути к нашим душам, Вы хотели воспитать юных Магелланов и Колумбов, Вы хотели донести до нас любовь к нашей земле, дальним странам и тропическим морям...*).

172

Это прослеживается в выступлениях всех участников праздничного действия, кроме самого учителя (ведущий: *Ты помнишь, 10 лет назад. Когда вошел впервые в школу, Тебя учителя здесь встретил теплый взгляд / выпускники: Он научил писать нас и считать И красоту природы понимать*). Ролевое поведение учителя, определенное законами школьной субкультуры, детально вербализуется в выступлениях выпускников: *Вы подтягивали отстающих, подталкивали вперед хорошистов, помогали во всех классных делах, заботились о нас, как родная мать, отдавали нам всю себя.* В текстах такого типа в качестве обязательной составляющей подчеркивается противопоставленность отношений ученика и учителя в аспекте оппозиции “взрослость (активность) / детскость, незрелость (пассивность)”. Выпускники воспринимают свое положение в пространстве школы как проявление неполной зрелости и рассматрива-

ют свое существование в школе как процесс подготовки к тому результату, который актуализируется празднованием “Последнего звонка”, реализующего обряд инициации.

В жанре воспоминания, реализуемом в выступлениях выпускников, особым образом трактуется категория времени. Его восприятие определяется пребыванием в школьном пространстве. 10 лет школьной жизни представляются как единый временной отрезок (в отличие от выступлений учителей, где в этом периоде могут выделяться отдельные этапы), противопоставленный будущему: *Вот и пролетели те 10 лет, которые провели мы в стенах родной школы. 10 лет! Для взрослого человека — срок, может быть, и не такой большой, но для нас, семнадцатилетних, — половина жизни и 2/3 сознательной! / Десять безмятежных лет быстро миновало. Жизнь как чаша полная — сътость без хлопот! Десять лет за партюю: ах, как же это было! Пусть бы юность школьная продлилась хоть на год!* Восприятие времени также оформляется в рамках указанной выше оппозиции.

В силу особенностей школьной субкультуры, в качестве обязательного компонента включающей семантику незрелости, позволяет не всегда соблюдать границы нормы, что в рамках жанра воспоминания провоцирует выпускников на переход к жанру извинения (*И нам сейчас особенно стыдно, что в те далекие времена мы часто “плавали” в понятиях и терминах такой простой географии…*) и благодарности (*Спасибо за Ваше терпенье, За ласку, тепло, доброту. Пусть Вас посетит вдохновенье В новом учебном году*).

Определенные особенности приобретает жанр воспоминания в выступлениях учеников школ, где обучаются только 9–11 классы¹². От-

существие таких компонентов школьного существования, как начальная и средняя школы, приводит к перестройке содержания модели восприятия школьного хронотопа. При этом основы модели сохраняются, содержание основных структур замещается (вместо 10 лет – 3 года, вместо прихода в школу – посвящение в лицеисты, вместо первого учителя – куратор). Текстовые модели также остаются стабильными, исторически апробированными в рамках данной культуры (*Мы помним, как **впервые** пришли в Лицей! Кто нас **встретил?** / Посвящение сделало нас лицеистами... / Наша группа провела в Лицее **3 года** ... Прошедшие годы изнурительного труда не прошли для нас даром*).

174

В выступлениях первого учителя рассматриваемый жанр связан с реализацией оппозиции “маленький/взрослый” (*Я помню вас маленькими девочками и мальчиками, которых почти не было видно из-за школьных парт, а сейчас передо мной – взрослые люди, которых видно издалека...*). В речи классного руководителя объектом воспоминания чаще всего становятся конкретные события, маркирующие соответствие/несоответствие норме школьного существования (*Помните, как вы сбежали с истории и спрятались за школой прямо под окном директора?*).

Таким образом, зафиксированная в воспоминаниях противопоставленность ролевых позиций учителя и выпускника снимается в рамках празднования “Последнего звонка”, что также соответствует ритуальному содержанию обряда инициации, предполагающей “проживание”, “умирание” и “воскрешение в новом качестве”.

Специфической особенностью реализации жанра воспоминания в праздничном тексте “Последнего звонка” является активное использова-

ние стилизации как формы представления значимых содержательных этапов школьной жизни.

Использование стилизации создает эффект “проживания” различных социально обусловленных поведенческих стереотипов — участие в праздничной “пионерской” линейке, пародирование актов массовой культуры (популярные телепередачи, кинофестиваль и др.), создание исторических хроник, летописей, имитация фактов народного творчества (частушки, сказки и т. п.). В результате это способствует представлению школьного пространства как национально-культурно обусловленной социальной модели, включающей всю “взрослую” жизнь в ее функциональном многообразии, что позволяет познать ее в рамках школы (концепт “ученичество”) и подготовиться к переходу в иное качественное состояние.

Все вышеназванные культурные модели входят в арсенал русской национальной коллективной культурной памяти. Интересно, что среди указанных моделей не все являются частью когнитивного опыта поколения выпускников¹³ (см. пионерские праздники). При этом обращение к такого типа культурным моделям усиливает обучающий эффект праздничного мероприятия, его ритуально-прагматический характер.

Стилизация под исторические хроники активно используется в воспоминаниях выпускников, поскольку внутренние задачи жанра исторических хроник органично совмещаются с ритуальными задачами данного праздника, позволяя обозначить пространственно-временное наполнение школьной жизни, еще раз актуализировать его вещные символы, поведенческие модели (*А теперь немного истории. Творческая деятельность героев сегодняшнего торжества началась в 1991 году с постижения основ чте-*

ния, счета, правописания. К концу года основы были постигнуты, о чем свидетельствует сделанная на буквare собственноручная надпись одного из тогдашних первоклассников: «Вовка — дурак». Кто этот загадочный Вовка, выяснить не удалось. / Раскопками обнаружено большое количество использованной жвачки, причем большая часть — на одежде учителей. Найдено множество сапог-скороходов, сбежавших от своих хозяев, и уйма шапок-невидимок, так и не найденных родителями. Позже стали появляться и неопознанные летающие объекты: мячи, кирпичи и т.д. / Наша группа провела 3 года практически в полном составе. Прошедшие годы изнурительного труда не прошли для нас даром: численность популяции сократилась на 4 человека). Важнейшим элементом стилизации, используемой в праздничном дискурсе, выступает карнавальное начало. Карнавализация усиливается использованием стилистически нагруженных форм (канцелярит, безличные глаголы, терминологизированная лексика и т. д.) в сочетании с символами, фиксирующими нарушение школьной нормы (кирпич, жвачка, дурак и под.).

176

Жанр воспоминания достаточно часто стилизуется в форме текстов народной культуры, причем наиболее востребованными в этом отношении оказываются жанры частушки и сказки. Эти формы активнее других используются в современном праздничном дискурсе в целом, что объясняется в первую очередь их жанровой природой. Прагматические установки частушки, лаконичность ее формы и эмоциональность содержания позволяют представить реальные факты школьной жизни ярко, образно, комично (По истории опрос: погибаем, братцы! Кто-то на урок пошел — наверно, камикадзе!). Развернутая прозаическая форма сказки, устойчивая,

концептуально выверенная система героев, а также ее развлекательное и обучающее начало, связанное с субкультурой детства, особая сказочная реальность дают возможность реализовать установку, связанную с ритуальной составляющей рассматриваемого праздника (*Жил-был мальчик – Ваня Петраков. Жил он с мамой, папой, бабушкой и дедушкой. Ходил в детский сад и совсем не умел читать и писать...*).

Отметим, что стилизация является свойством современного праздничного дискурса и — шире — карнавальной составляющей современной культуры в целом. В праздничном тексте, будучи наиболее активно представленной в жанре воспоминания, она проявляет себя и в других жанровых формах, вплоть до обрамления праздничного действия.

Одной из распространенных форм стилизации, используемых в праздничном тексте “Последнего звонка”, является клятва (клятва выпускников), что, опять же, способствует выражению ритуальной составляющей праздника. Стилизация проявляется в особой ритмико-ролевой организации рассматриваемого фрагмента праздничного текста (чредование высказываний ведущего — магистра, облаченного в мантию, выпускника прошлых лет и др. — и реплик выпускников — *Клянемся!*). Содержание клятвы определяется концептуальными установками обучающей ситуации школьного пространства — необходимость не нарушать нормы школьной и послешкольной жизни, реализоваться в личностном, профессиональном и финансовом отношении (*Клянетесь ли, о недорослей племя, Достичь в труде успехов небывальных? Клянетесь ли не прерывать общенья Со школой, что вам знания дала? ... Клянетесь ли, о юные болваны, Бросаясь без оглядки в море жизни, Не забывать в дальнейшем*

Альма-мамер, А главное — столовую ее? ... А если вдруг вас посетит удача, Клянется ли, став в тыщу раз богаче, Последнюю рубашку от Версаче Вы этой вот обители отдать? / Клянемся не забывать друзей, с которыми прошли сквозь ветры и бури школьной жизни! Клянемся помнить учителей, отдававших нам себя без остатка!).

Последний звонок в одном из учебных заведений города был оформлен в виде праздничной демонстрации.

Стилизация в этом случае осуществляется на разных уровнях. Моделируется реальное пространство, организованное по модели праздничной демонстрации: трибуна, колонны демонстрантов, несущих транспаранты, звучит соответствующая музыка. Вербально это поддерживается содержанием лозунгов и транспарантов, как в точности повторяющих “источник” (*Пусть всегда будет небо! Пусть всегда будет солнце! / Юноши и девушки! Настойчиво овладе- вайте знаниями!*), так и преобразованных в соответствии с содержанием исследуемого праздника (*Выпускники всех стран, соединяйтесь! / Да здравствуют выпускники! Ура! / Да здрав- ствует Лицей! Ура!*).

Притом что в основе организации праздничного события “Последнего звонка”, в том числе его текстового воплощения, лежит карнавализация, в структуре праздничного текста обязательно присутствуют лирические включения, где карнавал нейтрализуется, уступая место несовместимым с ним эмоциональным проявлениям. Это отчетливо проявляется, например, в выступлениях учителей, где, наряду с игровыми текстами воспоминаний, присутствуют лишенные развлекательного компонента напутствия. Эмоция грусти перед расставанием отсылает на периферию игровые установки в ре-

чах выпускников. И наиболее отчетливо, структурно обоснованно реализуется превалирование лирического начала в финальных строчках праздничного текста “Последнего звонка” (*Сейчас он раздастся по всем коридорам, Веселый и грустный последний звонок. Звени же над прошлым и настоящим, Звени же над детством, вдаль уходящим, Веселый и грустный последний звонок!*!).

Праздник “Последнего звонка” традиционно завершается следующим торжественным актом: выпускник по кругу проносит на плече первоклассницу, звоняющую в колокольчик. Это символически завершает обряд инициации, замыкая пространство праздничного действия (движение по кругу), завершая данный — школьный — этап жизни выпускников и позволяя им начать новый жизненный круг.

Сходство и различия пространственной модели в праздничных текстах “Последнего звонка” и “Посвящения в студенты” определяются принадлежностью к реализации обряда инициации, осуществляемого в различных социальных условиях.

179

1. Реальное пространство праздничного действия также ограничено актовым залом, где пространственно ограничиваются две зоны: преподаватели и первокурсники. Таким образом, ролевое значение зала оказывается структурированным в соответствии с задачами данного праздника.

Место действия праздника не зависит от места обучения. Это связано, во-первых, с тем, что студенческая жизнь включает большее количество субкультурно нагруженных локусов, чем школьная, — корпуса вузов, общежития, библиотека, клубы, парковые зоны вузов и т. п.; во-вторых, символически начало новой жизни

еще не ассоциируется у первокурсников с конкретным пространственным объектом — учебным корпусом, деканатом и т. п. (ср. “Последний звонок” студентов-пятикурсников, прощающихся с “пространством” своего корпуса).

Праздничное оформление не отличается жесткой регламентированностью, при этом чаще всего оформление подчеркивает корпоративную составляющую праздника (эмблема факультета, вуза). Основное действие разворачивается на сцене, причем “виновники торжества” — первокурсники — по своей функции приближаются к “гостям праздника”, поэтому в сакральное пространство сцены они попадают редко — только по специальному приглашению. Таким образом, этот праздник воспринимается как мероприятие всего факультета в целом, где старшекурсники демонстрируют знание правил поведения в данной субкультуре, подспудно обучая этому новое поколение. Преподаватели же в основном выступают в качестве наблюдателей (почетных гостей), на сцену обязательно поднимаются лишь представители администрации факультета. Иногда преподаватели также участвуют в едином праздничном действии, демонстрируя внутрикорпоративную целостность коллектива. При этом сцена как элемент реального пространства карнавально переосмысливается, моделируя пространство, заданное содержанием сценария (ср. сакральное пространство сцены в “Последнем звонке”). В отличие от “Последнего звонка”, зал не включается в систему праздничного действия, реплики приглашения на сцену относятся только к вышеназванным ролевым группам.

Основные мотивы, звучащие в выступлениях всех ролевых групп, можно представить в виде единой системы. Их содержание реализу-

ется сквозь призму оппозиции “учеба / все, что мешает учебе” (*Так, завтра у меня три пары, а я еще не начал писать курсовую. А еще этот день рождения у Наташи... Голова болит!* Так, какое сегодня число? День рождения был 14-го, а мы праздновали 10 дней, значит, сегодня 24 октября!). Но в фокусе внимания той или иной ролевой группы оказывается содержательный элемент, определяемый ее внутренними установками. Так, в выступлениях преподавателей чаще всего актуализируются концепты “студенческая дружба”, “профессионализм”, “ученичество” (*Студенчество — самое прекрасное время, всю прелесть этого вы поймете, когда закончите университет. Самое главное, что вы здесь найдете настоящих друзей, научитесь добывать знания, которые помогут вам состояться профессионально*); в речах студентов — “свобода выбора”, “безденежье”, “любовь”, “учеба” и др. (*Где тут находятся сокровища? — Если ты спустишься со второго этажа, выйдешь на улицу и завернешь за угол, ты увидишь здание. Это такая аллегория сундука с сокровищами. Здесь ты найдешь все, кроме денег, но зато здесь есть много прелестных девиц, и стипендия студента составляет 25 евро. Так что учись, студент!*), у первокурсников — страх перед будущими испытаниями, неумение жить по законам студенчества (про первые дни в общежитии: *Мы хотели пить — не было воды, мы хотели есть — не было еды. Мы шли в научку и черпали силы из книг!*).

2. Эстетическое переосмысление пространства для большинства “Посвящений в студенты” выстраивается как создание виртуального мира, реальные границы которого определяет сцена. Реальные пространственные границы действие чаще всего приобретает в “связочных”

репликах ведущих, когда на сцене звучат поздравления представителей администрации вуза и факультета, а также ответное слово первокурсников (*Слово предоставляется председателю профкома студентов... / А теперь послушаем новых людей на нашем факультете! Слово предоставляется впервые!*).

Структура эстетически переосмыслинного пространства моделирует совокупность компонентов студенческой жизни, осознаваемых самими студентами как наиболее значимые. В этой системе, как и в системе школьного миро-восприятия, значительную роль играют профессионально-предметные зоны, но если в школьном дискурсе через учебные дисциплины моделируются различные общечеловеческие жизненные навыки, то в тексте студенческого праздника сквозь призму общих студенческих ценностей на первое место выходят профессиональные составляющие (*Ваш самый памятный день минувшего семестра? — День, когда я пересдал матан! — Что вы считаете самым трудным в учебе? — Пересдачу матана. — А самым легким? — Пересдачу алгебры — Можно ли назвать минувший семестр удачным для вас? — В этом семестре я успешно пересдал матан, алгебру и геометрию. / Это как-то слишком серьезно Может быть, добавим искру любви?.. Ни один порядочный роман без этого не обходится. Ну, там, Маринина, Донцова, Апулей — или у него была искра страсти?*).

Текстовая составляющая “Посвящения в студенты” не отличается устойчивой жанровой организацией, так как жанровая система обуславливается задачами эстетической интерпретации действительности, реализуемой в данном празднике. Традиционным для “Посвящения” является лишь жанр поздравления, полу-

чающий разное формальное воплощение (от прозаического и стихотворного поздравления как самостоятельного текста до частушки, сценки и т. д.).

Профессионально ориентированные ценностные установки определяют пространственную структуру моделируемой действительности. Эстетически переосмысленное пространство может быть представлено в виде центрической модели, ядром которой являются учебные аудитории и деканат, а на периферии — общежитие, роща и другие локусы. Сценическое действие, посвященное учебному процессу, актуализируется наиболее частотно. Дисциплинарная сфера предстает как совокупность специальных дисциплин, “трудность” каждой из которых определяется либо ее новизной для превокурсников, либо особенностью личности преподавателя. Формально это воплощается в основном в сценках, анекдотах или частушках (*Экзамен — это беседа двух умных людей. — А если один из них не очень? — Тогда другой останется без стипендии / На филфак пришли учиться. Книжки думали читать. Вместо этого нам нужно Языки чужие знать*).

В карнавальных установках праздника заложены основы субкультурно обусловленной интерпретации студенчества в его вещном выражении. Предметный код маркирует как общестуденческие символы: *конспект, зачетка, экзаменационные билеты, первая и последняя парты, стол преподавателя и др.*, так и специфические — профессиональные: *мышь, клава, мама* — у студентов-программистов, *кость, скелет, халат* — у медиков, *книга* — у филологов (*А сейчас я покажу вам то, что замещает все новые технологии в нашем профессиональном образовании, что заменит личную жизнь и всегда буд-*

дет сопровождать вас в нелегком пути — книгу! / Легким движением руки любая одежда белеет и превращается в медицинский халат...).

Вышеназванные мотивационные установки лежат в основе другого способа эстетической организации пространства, определяемой задачами сценария праздника. Так, рассматриваемый праздник на филологическом факультете ТГУ был построен в форме путешествия главного героя по миру, что также удобно в плане организации пространственной модели, позволяющей задать ассоциативное поле любой предметной сферы (*остров Каллисто — Античность — Античная литература как учебная дисциплина; средневековый трактир — Литература Средних веков и Возрождения; избушка Бабы Яги — Устное народное творчество и т. п.*).

Подведем итоги.

184

Праздничное пространство противопоставлено бытовому. Его организация в рассматриваемых праздничных текстах соответствует архайической ритуально-мифологической модели, где “пространство оживотворено, одухотворено и качественно разнородно. Оно не является идеальным, /.../ “пустым”, не предшествует вещам, его заполняющим, а, наоборот, конституируется ими. Оно всегда заполнено и всегда вещно; вне вещей оно не существует”¹⁴. Такая организация праздничного пространства обусловлена задачами рассмотренных праздников — моделирование обряда инициации. Специфика такого моделирования связана с карнавальным переосмыслением действительности, определяемым установками любого современного праздника как такового.

Прежде всего, в основе дифференциации рассматриваемых пространственных моделей лежит различие векторе темпоральной ориен-

тированности данных праздников — “Последний звонок” как итог школьной жизни, “Посвящение в студенты” — возможность начать новую жизнь.

Различия в пространственных моделях “Последнего звонка” и “Посвящения в студенты” определяются, кроме того, субкультурной спецификой. В результате школьное пространство представляется как среда, где человек проходит этап ученичества, постигая основы жизни вообще; это пространство жестко регламентировано, а его жители (учителя и ученики) состоят в строгой иерархии. Студенческое пространство — более творческое, его границы менее жесткие. В этой сфере, главным образом, постигаются профессиональные знания, равноценными по отношению к которым являются и общечеловеческие, и собственно-молодежные модели поведения.

Таким образом, разработка данной проблематики способствует решению методологической задачи выявления специфики эстетического и прагматического языкового осуществления. Обращение к материалу праздничного дискурса позволяет поставить проблему выявления национально-специфических особенностей русской национальной картины мира XXI века как результата динамического взаимодействия социально обусловленного и духовно-личностного начал.

185

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Гужова И. В. Праздник как феномен культуры в контексте целостного подхода: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. Томск, 2006. С. 7.

² В данном разделе такие тексты к анализу не привлекаются.

³ Гуревич П. С. Проблемы субкультуры в современной западной социологии // Социологические исследования. 1998. № 10. С. 16 – 28.

⁴ Матвеева С. Я. Субкультура в динамике культуры // Субкультурные объединения молодежи. М., 1987.

⁵ Неклюдов С. Ю. Несколько слов о “постфольклоре” // www.ruthenia.ru/folklor

⁶ Толстой Н. И. Язык и культура // Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1999.

⁷ Щепанская Т. Б. Традиции городских субкультур // Современный городской фольклор. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2003. С. 27 – 33.

⁸ См. сборники: Логический анализ языка. Языки пространств. М.: Языки русской культуры, 2000; Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М.: Наука, 1988; а также: Черванева В. А., Артеменко Е. Б. Пространство и время в фольклорно-языковой картине мира. Воронеж, 2004; Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М.: Гнозис, 1994; и др.

⁹ См.: Борисов С. Б. Субкультура девичества: российская провинция 70 – 90-х гг. ХХ в.: Автореф. дис. ... канд. филос. наук // www.ruthenia.ru/folklor; Леонтьева С. Г. Поэзия пионерских праздников // www.ruthenia.ru/folklor; Белоусов А. Ф. Школьный быт и фольклор. Ч. 1 – 2. Учебный материал по русскому фольклору. Таллин, 1992; Ханютин А. Школьный рукописный альбом-песенник: новый успех старого жанра // Массовый успех. М., 1989; и др.

¹⁰ Дубровина К. Н. Студенческий жаргон // Научная деятельность высшей школы: Филологические науки. 1982. № 1; Шумов К. Э. “Эротические” студенческие граффити // Секс и эротика в русской традиционной культуре. М., 1996; Бушнелл Д. Грамматика настенных надписей // Психологические особенности самодеятельных подростково-юношеских групп. М., 1990; Шумов К. Э. Студенческие традиции // Современный городской фольклор. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2003. С. 165 – 179; и др.

¹¹ Шумов К. Э. Студенческие традиции // Современный городской фольклор. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2003. С. 165.

¹² В г. Томске к таковым относятся лицеи — гуманитарный, коммерческий, политехнический, сибирский и др.

¹³ К исследованию привлекались материалы праздников, проведенных в 2000 – 2007 гг.

¹⁴ Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. 2-е изд. М.: Российская энциклопедия, 1994. Т. 2. С. 340.

1.2. ЯЗЫКОВЫЕ МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВА

1.2.1

КАТЕГОРИЯ ПРОСТРАНСТВА И СПОСОБЫ ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ ГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕФИКСОВ)

188

Проблеме определения границ и содержания категории пространства посвящено значительное количество работ разных областей знания. Как и в исследованиях философского и социологического, в лингвистике превалирует тенденция рассматривать физическое пространство как первичное, в то время как другие формы существования пространства представляются как вторичные, т.е. как результат дополнительных когнитивных операций мозга и репрезентации языка. Вторичность “отпространственных” значений в языке интерпретируется по-разному, однако связь между пространственными и непротранственными смыслами считается генетически обусловленной. Отражением этого явля-

ется наличие в языке устойчивых моделей, по которым происходит трансформация исконного пространственного значения в смежные, затрагивающая содержание как целых языковых категорий, так и отдельных единиц, в том числе глагольных префиксов.

Такая трансформация пространственного содержания отражает устойчивую связь физических и аксиологических сущностей в сознании человека, в результате которой непространственные ситуации рассматриваются языком как некие семантические кальки с пространственных. Так, когнитивная модель глагола в этой связи представляет собой “аналог определенного вида деятельности”, выстроенный по образцу движения, нахождения в пространстве и перемещения в нем. Такая модель включает обязательные и дополнительные компоненты — пространственные ориентиры и/или их трансформированные аналоги (tempоральные, квалификационные, аксиологические и т. п.).

Одной из основных тенденций современного языкознания является обращение к функциональной стороне языка, его организации, связям с когнитивными процессами человеческого мозга, вследствие чего в научный фокус попадают прежде всего универсальные категории, какой в том числе является и пространство во всех его проявлениях.

На новом этапе развития науки переосмыслению подвергаются основные понятия лингвистики, что связано с новым представлением языка как не только непосредственного объекта исследования, но и как реального орудия реконструкции когнитивно-языковой системы, ее устройства и признаков. Так, языковое значение определяется как “когнитивный фе-

номен”, а любые данные о нём — как “проливающие свет на структуры сознания, их “форматы” и внутреннее устройство”¹. Исходя из постулата, что между когнитивными структурами и языковыми существует вполне определённое соотношение, можно сделать вывод, что при когнитивном аспекте исследование знания и значения смыкается.

С этой точки зрения лингвистика может претендовать на центральную роль в развивающейся когнитивной науке, так как она имеет дело с конкретными структурами, отражающими внутреннюю человеческую деятельность по их формированию и выражению. Человек имеет возможность “объективировать ментальную деятельность, вербализуя её результаты, описывая её в “ословленном” виде”, это “делает показания языка бесценными свидетельствами человеческого разума и человеческой неразумности”². Анализ языковых структур в этом смысле призван ответить на вопрос, “какая информация вербализуется при подведении её под тело” того или иного языкового знака³.

В этой связи исследователи все чаще обращают свои взгляды к анализу частных языковых явлений, так как семантическое описание узких групп языковых единиц способно охватить систему их взаимосвязей, особенности денотативной соотнесенности, связи с более широким контекстом. К такого рода изысканиям можно отнести исследования предлогов, глагольных префиксов, именных суффиксов. В подобных исследованиях указанные единицы представляются относительно автономными языковыми элементами, ассоциированными с определенными квантами содержания, с одной стороны, и функционально значимыми элементами более сложной структуры, в рамках кото-

рой они способны реализовать указанное содержание — с другой.

Характеризуя современное состояние дел в лингвистической науке, исследователи отмечают, что, несмотря на так называемую “когнитивную революцию”, в том числе и в отечественной лингвистике, “ниспровержения” старых ценностей не произошло, те же проблемы зазвучали по-иному. Так, например, вопросы, поставленные лингвистами в рамках учения функциональной грамматики, важнейшие вопросы коммуникативной лингвистики, теории номинации и другие оказались соотносимы с новой тенденцией. В когнитивизме и лингвистике проявился общий “интерпретативный” подход. Когнитивная лингвистика призвана изучать “ментальные” основы понимания и продуцирования речи с точки зрения того, каким образом структуры языкового знания представляются и какое место занимают в переработке информации. В этой связи важно понять, каким должно быть ментальное представление языкового знания и как это знание перерабатывается в такой системе, как человеческий мозг. Говорящий и слушающий рассматриваются как “система переработки информации, состоящая из конечного числа самостоятельных компонентов и соотносящая языковую информацию на различных условиях”⁴ для различных целей. Именно поэтому современная наука в первую очередь обращается к исследованию миромоделирующих механизмов языка, при этом синтезирующий характер исследований, соединяющий методы и результаты изысканий разных школ и направлений, сейчас наиболее актуален. Это в полной мере относится и к категории пространства, ставшей в последние десятилетия объект-

том пристального внимания ученых разных областей науки.

Пространство представляет собой одну из базовых философских категорий, отражающих существенные стороны человеческого бытия. Проблема содержания данной категории является предметом споров исследователей разных областей науки еще с античности. Первичность категории пространства объясняется прежде всего тем, что время и пространство — основные формы существования материи, с которыми человек взаимодействует с первых дней своей жизни. Исконность категории пространства подтверждается в самых разнообразных сферах деятельности: человека: в мифотворчестве, в языке, в литературе и в науке.

Пространство определяет важнейшие свойства и характеристики физических, биологических, психических и социальных объектов. Проблеме определения границ и содержания категории пространства посвящено немало работ.

Формирование философских представлений о пространстве и времени изначально связано с деятельностью античных философов, с естественно-математическими открытиями, которые легли в основу научной картины мира. Пространство рассматривалось либо как вместилище для объектов, в нем существующих, либо как соединительная ткань для этих объектов и их взаимоотношений, зависящая от них. В современной науке широко представлены исследования не только физических, но и биологических, ментально-психических, социальных и других характеристик пространства и времени, в результате чего исследователи пришли к концепции множественности форм пространства и времени⁵. Таким образом, для всякой формы существования материи сущ-

ствуют детерминированные ею формы пространства.

Языковая картина мира значительно противопоставлена научной, она фиксирует пространство с точки зрения его значимости в обыденной жизни человека — носителя языка: размеров, границ, объемов пространства, а также с точки зрения соотнесенности человека с пространством. В этой связи лингвистов интересует не столько реальное пространство, существующее объективно, независимо от человека и его физической, ментальной, языковой деятельности, сколько его языковой вариант — результат восприятия человеком пространства внешнего мира и его отражения в языке. В процессе восприятия пространства, постижения его параметров и ориентиров, человек оперирует разными типами знаний, полученных им посредством когнитивных операций разного плана. Знания об объекте восприятия, отражённые в “звучашей” материи, включают в себя вербальные и невербальные знания; долговременные знания, хранящиеся в памяти еще до момента восприятия конкретного объекта, и выводные знания, полученные в момент познания; кроме того, это не только энциклопедические знания об окружающем мире, но и эмоциональные впечатления, нормы и оценки, выработанные в социуме, то есть некие общефоновые знания, которые варьируются у носителей разных менталитетов и языков. Поэтому естественно несоответствие реального пространства и его языкового варианта, которое является точкой отсчета многочисленных исследований, посвященных описанию языковой картины мира. Средства, служащие в языке выразителями пространственных отношений, не только фиксируют физи-

ческое пространство, но и интерпретируют его с учетом разных критерииев.

В лингвистике представлен целый ряд работ, посвященных пространству, его интерпретации, средствам репрезентации пространства в языке. Это исследования категории локативности в рамках функциональной грамматики⁶, работы о пространственно-дистанционных наречиях и предлогах⁷, исследования о типах пространственных моделей преобразования⁸, многочисленные современные исследования семантических схем русских глагольных приставок⁹ и др.

Как и во многих исследованиях философского, социологического и культурологического плана, в лингвистике превалирует тенденция рассматривать физическое пространство как первичное, прототипическое, в то время как связанные с ним другие формы существования пространства (ментально-психическая, социальная и др.) представляются как вторичные, то есть как результат дополнительных когнитивных операций мозга и репрезентации языка. Первичность физических параметров окружающего мира подтверждается способностью человека видеть его, а зрение, наблюдение, зрительное восприятие являются простыми операциями человеческого мозга, результаты которых в первую очередь зафиксированы языком. Дальнейшее “развертывание” пространственной семантики в языке в определенной мере индивидуально для каждого отдельного языка, несмотря на наличие общих особенностей человеческого мышления. Сравнение иных параметров реальности с пространственными ориентирами, переосмысление последних и приспособление их для измерения временных, количественных, качественных, причинно-след-

ственных свойств окружающего мира характерно в той или иной мере для большинства европейских языков. Идею о том, что язык придает нематериальным объектам свойства вещей, находим еще у Б. Уорфа. О наличии базового (пространственного) прототипа в группе тождественных /близких языковых смыслов говорится в работах Р. Лангакера, Л. Талми¹⁰, Е. С. Кубряковой¹¹, В. Г. Гака¹², В. А. Плунгяна, Е. В. Рахилиной¹³, Г. И. Кустовой¹⁴ и др.

Таким образом, для языкознания характерно представление пространственных значений в качестве базовых, которые в результате их сопоставления с иными ориентирами становятся выразителями “вновь познанных смыслов”¹⁵. То есть первичным значением той или иной единицы (если таковое в принципе имеется), по всей видимости, является именно пространственное, остальные значения появляются путем когнитивных преобразований пространственного значения по моделям, сложившимся у носителей того или иного языка. Однако при всем многообразии способов концептуализации деятельности, обнаруживаемых в различных языках мира, их отличает наличие общей базы¹⁶. Можно предположить, что основу этой базы в сфере представления действия составляют простейшие физические действия и движения. По мнению В. Г. Гака, “пространственные значения являются первоосновой многих языковых средств обозначения как на уровне слова, так и на уровне структуры предложения. Это подтверждает, что восприятие пространства — одно из первых и элементарных проявлений познания мира человеком”¹⁷. Вторичность “отпространственных” значений в языке интерпретируется по-разному: как метафорическое преобразование семантики пространства у предлогов¹⁸, как

развитие вторичных (непространственных) функций у пространственных моделей в языке и возникновение эффекта метафоричности¹⁹, как система непространственных смыслов, формирующихся вокруг пространственного прототипа у полисемического слова²⁰, как параллелизм пространственных и темпоральных отношений и задание когнитивных операций для преобразования членов разных категорий друг в друга²¹, как трансформация физических ситуаций в нефизические²² и т. д. Несмотря на такое разнообразие трактовок трансформации пространственной семантики в языке, очевидным является то, что связь между пространственными и непространственными смыслами генетически обусловлена и “язык стремится использовать одну и ту же единицу для обозначения разных ситуаций”²³.

196

Действительно, язык относительно редко создаёт новые типы знаков, активно используя те знаки, которые уже функционируют в языковой системе, переосмысливает их. Для этого в языке имеются определенные модели, по которым происходит трансформация исконного пространственного значения в смежные, происходящая в языке на разных уровнях, начиная от языковых категорий и заканчивая преобразованием денотативного значения отдельных языковых единиц, в том числе глагольных префиксов — семантических распространителей глагола, позволяющих варьировать его смысловое содержание. Такая трансформация пространственного содержания отражает устойчивую связь физических и аксиологических сущностей в сознании человека, в результате которой непространственные ситуации рассматриваютя языком как некие семантические кальки с пространственных. Так, когнитивная модель

глагола в этой связи представляет собой “аналог определенного вида деятельности”, выстроенный по образцу движения, нахождения в пространстве и перемещения в нем. Такая модель включает обязательные и дополнительные компоненты — пространственные ориентиры и/или их трансформированные аналоги (временные, квалификационные, аксиологические и т. п.).

В отечественной функциональной лингвистике пространство связывается с категорией локативности, которая трактуется как “семантическая категория, представляющая собой интерпретацию мыслительной категории пространства, и вместе с тем как ФСП, которое охватывает разноуровневые средства данного языка, взаимодействующие при выражении пространственных отношений”²⁴. Это поле моноцентрического типа, так как не существует нескольких центров поля, как в случаях с категориями таксиса, качественности, посессивности и некоторых других, однако в поле нет и единой системы противопоставленных друг другу грамматических (в широком смысле) средств выражения локативности, которая бы выполняла роль ядра указанного поля²⁵. То есть поле локативности реализуется посредством разноуровневых языковых средств: от служебных языковых единиц (глагольных префиксов, падежных флексий, предлогов) до сложных синтаксических конструкций.

С точки зрения плана содержания категории локативности любые пространственные отношения, по мнению создателей функциональной грамматики, включают обязательные составляющие: локализуемый объект, локализатор, по отношению к которому рассматривается указанный объект, и пространственное отношение,

которым они связаны. Кроме того, эти отношения представляют собой процесс, который, как все процессы, имеют начало, продолжение и конец, поэтому основной оппозицией, на которой строятся пространственные отношения, является противопоставление динамического процесса перемещения и статического процесса местонахождения. Частными выражителями локативных отношений служат геометрические позиции предметов, так или иначе отраженные в языке: “В языковых формах стихийно отобразились основные геометрические позиции, с которыми приходится сталкиваться человеку при определении положения субстанции в пространстве”²⁶. В целом пространственные отношения сводятся к представлению локализации в виде а) точки (трехмерного пространства), б) линии (плоскости), в) окружности (сферы). В первом случае реализуются отношения типа “внутри – снаружи”, “спереди – сзади”, “сверху – внизу”, “возле – в”. Во втором случае локализация представлена позициями “сквозь”, “по поверхности”, “вдоль”, “мимо”. Третий тип локализации включает в себя два типа отношений: “вокруг” и “через”. Возможны и модификации локализаций, при которых происходит сочетание пространственных отношений, как, например, у единиц *через дом* (где? куда? как?), *вокруг дома* (где? куда?) и т. п. и их трансформация (при вторичных функциях).

Для выражения локативных отношений в языке существует ряд специализированных средств, для которых функция обозначать пространство с его ориентирами является первичной. Это предлоги, падежные окончания, глаголы (прежде всего глаголы локализации в пространстве, движения и перемещения), глагольные префиксы, наречия, придаточные пред-

ложении места. Однако, несмотря на первичность пространственного значения этих средств, оно у них не единственное: "...модели, обычно выражающие пространственные отношения, могут приспосабливаться для передачи значений иного рода, выполняя свои вторичные функции"²⁷. Асимметричность языкового знака реализуется и в обратном процессе: модели с первичным непространственным значением могут использоваться языком для обозначения локативных отношений. Первые из указанных моделей составляют ядро поля локативности, вторые образуют его периферию. Пространственные модели, использующиеся языком в иных функциях, составляют периферию тех полей, для которых характерны эти функции.

Основные составляющие локативных отношений выражаются по-разному. Если локализуемый предмет и объект-локализатор обычно реализуются через именные формы, то пространственное отношение выражается любым средством, призванным передавать связь субстанций. В русском языке подобные средства представлены предлогами, флексиями, глаголами и глагольными префиксами. Исследователями отмечается "глубинная функциональная аналогия между предлогом и глаголом", которая указывает на то, что они способны выражать один и тот же тип отношений²⁸. В семантической корреляции с предлогами находятся глагольные префиксы, выражающие частные пространственные (и "отпространственные") отношения, зачастую дублирующиеся предлогами (*перепрыгнуть через канаву, зайти за угол* и т. п.) и способные участвовать в модификациях пространственных моделей.

По мнению исследователей, "пространственные отношения, наряду с временными, яв-

ляются одним из типов базовых отношений, воспринимаемых человеком и отражаемых формами языка”, так как именно пространственные и временные характеристики присущи материю любого типа²⁹. При этом пространственные критерии наиболее просты для восприятия в силу своей наглядности и осязаемости, возможности быть воспринятыми непосредственно, без дополнительных ментальных операций, как в случае с временными отношениями. Именно поэтому пространственные отношения представляются как первичные, а способы и средства их выражения в результате дополнительных когнитивных операций позволяют выражать другие, более сложные семантические отношения. Таким образом, пространство является основой трансформации в смежные категории (в категорию времени, модальности, множественности). Для целого ряда единиц разного уровня (предлогов и генетически родственных им префиксов, наречий, союзов и некоторых синтаксических конструкций) характерна следующая цепочка в развитии их значений: пространство – время – причина (и/или другие логические отношения)³⁰. Обращение к природе подобных семантических трансформаций характерно для когнитивных исследований по семантике, в основе большинства которых пространственные значения рассматриваются именно как базовые. На этом построены исследования по описанию семантической структуры пространственных предлогов, наречий, префиксов исходя из геометрических характеристик ситуации, в презентации которой участвует данная единица. На следующем этапе описание указанной денотативной ситуации проецируется на другой тип ситуации (временной, каузативный, социальный и т. д.)³¹.

Первичность пространственных отношений в языке рассматривается в исследовании по топологической семантике Л. Талми, утверждающего универсальность закономерностей и связей, лежащих в основе взаимоотношений единиц поверхностного уровня языка и содержащих элементов, таких как движение, фон, фигура, каузативность и т. д.³² По его мнению, категориям (измерение, протяженность, ограниченность, разделенность и т. п.), объединяющим грамматические понятия, присущи важнейшие свойства, отражающие особенности концептуальной организации языка. Это универсальный для языков параллелизм в вербальном представлении пространственных и темпоральных отношений и способность языков к когнитивным операциям, преобразующим члены той или иной категории в другие за счет корреляции грамматических и лексических средств. Главным принципом представления пространственных отношений в языке, по мнению Л. Талми, является деление места действия на первичный и вторичный объекты, соответственно фигуру и фон. Фигура представляет собой движущийся или движимый объект с неизвестной траекторией, значение которой надо определить; а фон — неподвижный объект, выполняющий роль точки отсчета в отношении пути фигуры³³ (ср. локализуемый объект и локализатор как основные составляющие локативности в теории функциональной грамматики). Отношения между ними задаются предлогами (или глагольными префиксами). У каждого языка имеется свой набор пространственных схем, при помощи которых реализуются отношения между первичным и вторичным объектами. Основная часть элементов, описывающих пространственные отношения, построена на оппозициях *верх*

— *низ, правая — левая сторона, передняя — задняя часть* и т. п., одна из которых оказывается проявленной в той или иной единице. Эти оппозиции практически универсальны в разных языках, однако существуют значительные расхождения между тем, “какие именно особенности пространственной конфигурации фигуры и фона получают в них грамматическое выражение” и каким образом трансформируются отношения между ними³⁴. Так, оппозиция *верх — низ* и ее образная трансформация *хороший — плохой* не во всех языках является основной и обязательной, языки обнаруживают различия и в средствах ее репрезентации.

Говоря о базовости пространственных смыслов, несправедливо было бы абсолютизировать пространственный компонент значения в семантике единиц разного уровня абстракции. Пространственное значение является первичным, но не единственным. Так, по мнению В. Г. Гака, значение глагола (даже с явным пространственным компонентом) не сводится только к локализации, так как к нему добавляется значение его дистрибуции (конструкция, обстоятельства), способное влиять на семантику глагола, трансформировать ее, создавая зачастую “эффект метафоричности”³⁵, корректируя значение исходной единицы.

С точки зрения когнитивной лингвистики явление “эффекта метафоричности”, возникающего при трансформации базового значения, естественно, так как само мышление образно, оно выходит за четкие рамки прямого отражения действительности. Познавая мир, членя его на фрагменты, человек прибегает к помощи метафоры для осознания и называния этих фрагментов. Поэтому вполне объяснимо, что основополагающие для человека пространственные кри-

терии оценивания окружающей действительности пропускаются сквозь призму метафоры с целью применения их к осознанию и называнию явлений иного порядка, чем физическое пространство и его ориентиры. Поэтому если сущность метафоры определяется как “понимание и переживание сущности одного рода в терминах сущности другого рода”³⁶, то совершенно закономерно существование ориентационных метафор, опирающихся на пространственные ориентиры *верх – низ, в – из* и т. п.³⁷ Такие метафоры мотивированы и реальной действительностью, и нашим сознанием. По всей видимости, описанные авторами теории функциональной грамматики типы представления локализации в языке (см. выше) и являются теми пространственными оппозициями, на которых строится наше представление обо всём том, что вытекает из “метафорической обработки” пространства. Таким образом, развитие новой семантики у той или иной языковой единицы определяется ее первичным пространственным значением, но не ограничивается им. Далее в силу вступает действие когнитивных операций, в результате которых создается более сложная семантическая структура, функциональный компонент ее может подавлять пространственный. В особенности это относится к семантической эволюции глагольных префиксов, прошедших, как и значительное большинство предлогов, путь развития значений от пространственных к непространственным (tempоральным, квалификационным и др.).

Современное описание глагольных приставок имеет богатую длительную традицию, объединяющую результаты разных научных направлений (аспектологии, дериватологии и т. п.). По мнению М. А. Кронгауза, основные

исследования в области семантики глагольного приставочного словаобразования подразделяются на работы “парадигматического” и “сингтагматического” планов³⁸. Первые сконцентрированы либо на семантическом устройстве одной приставки, либо на области приставочного словаобразования в целом. В фокусе работ второго плана находится семантическое взаимодействие приставки с глагольной основой и с контекстом в целом³⁹. Однако оба научные направления придерживаются нескольких теоретических принципов, объединяющих их, и прежде всего мысли о возможности, несмотря на многозначность приставки и приставочного глагола, исследования и описания их семантического единства⁴⁰. Современная лингвистика рассматривает человека как многокомпонентную систему переработки информации и ее вербализации путем подбора и закрепления определенных средств выражения для определенных типов смыслов, многие из которых “предшествуют языку, существуя в доязыковой примитивной форме в качестве протоязыковых презентаций мира, полная реализация которых зависит от языка”⁴¹. Среди таких “доязыковых” смыслов, несомненно, есть пространственные, способные выражаться в языке единицами разного уровня и разной степени дробности. В сфере глагола эти значения, помимо глагольной основы, выражают префиксы. В последних работах по семантике глагола все чаще утверждается мысль о наличии у приставки собственной семантики, выделяются признаки ее автономности. Однако идея относительной номинативной самостоятельности префиксов не нова для лингвистики. В лингвистической литературе находим аналогии между префиксами и частицами, предлогами, наречиями, определения-

ми, занимающими препозиционное положение перед глаголами, и другими языковыми сущностями.

По мнению исследователей, значений одной приставки одновременно и много, и мало, так как они иерархизированы, относятся к разным уровням абстракции⁴². С одной стороны, это узкопараметральные (большой частью пространственные) значения, унаследованные приставками от предлогов; с другой — это более сложные семантические характеристики, вырастающие из взаимовлияния префикса и глагольной основы, являющиеся результатом дальнейшего семантического развития префиксальной морфемы. Такие семантические компоненты префиксальной семантики гораздо шире, чем пространственные и временные значения, зачастую они создаются на базе метафоры. Утверждение связанности всех значений приставки между собой предполагает наличие у нее определенной семантической системы, состоящей из конкретных значений, которые могут объединяться в более абстрактные, а также из особенностей семантического перехода одного значения в другое, особенностей реализации значения в контексте (словном и текстовом). В результате совокупность значений приставки может быть представлена как определённая, “подвижная” система⁴³ с центром и периферией разной степени потенциальности. Связь между значениями приставки поддерживается наличием единого, прототипического, компонента значения⁴⁴, а также наличием “семантической сети”⁴⁵, которую представляют собой отдельные значения приставки, связанные с глагольной основой и со значениями другого уровня абстракции. При этом глагольные префиксы не просто репрезентируют некоторые семантические компоненты в

общем глагольном значении, а образуют семантическую рамку вокруг значения глагола, одновременно самостоятельную и связанную с глагольной основой, в эту рамку можно вставить то или иное глагольное содержание, соотносимое с ней семантически, которое в дальнейшем разворачивается по заданным направлениям. Последние, в свою очередь, диктуются теми когнитивными (концептуальными) структурами и операциями с ними, которые “связаны с языковыми знаками (и соответствующими им ситуациями) и благодаря которым эти знаки можно распространить на другие ситуации”⁴⁶. Зачастую именно на глагольном префиксе лежит роль конкретизатора и трансформатора исходного действия, стоящего за глаголом.

Обратимся к конкретному материалу, чтобы проиллюстрировать сказанное. Для этого рассмотрим семантические особенности некоторых русских глагольных префиксов.

Глаголы с префиксом ПРИ- представляют собой одно из основных звеньев глагольной системы русского языка, среди них выделяются единицы самых разных ЛСГ: глаголы движения, речи, физического воздействия, состояния, ментальные глаголы (*приехать, придинуться, привстать, приумолкнуть, пригнуть, придвигнуть, принадвинуть, приоткрыть, призаяннуть, привыкнуть, приозябнуть* и т. п.). Данный префикс особенно продуктивен в русском языке, хотя единицы с аналогичной приставкой многочисленны и в других славянских языках.

В русском языке префикс ПРИ- реализуется в нескольких значениях:

- достигнуть какого-либо места, прибыть или доставить в какое-нибудь место, соединиться с чем-нибудь (*прибежать, приплыть, принести, придинуть, прилипнуть, припасть* и т. д.);

- совершить действие с незначительной интенсивностью, не полностью (*призадуматься, притормозить, припухнуть* и т. д.);
- дополнительно совершить действие, прибавить что-нибудь в дополнение к тому, что уже имеется (*прикупить, пририсовать, приделать* и т. д.);
- довести действие до результата (*прилакать, пристыдить* и т. д.) и некоторые другие.⁴⁷

Основным для данного префикса является пространственное значение “приближения к какой-то точке” или “близость вообще”. Характеризуя семантику глаголов с префиксом ПРИ-, Г. А. Волохина, З. Д. Попова отмечают, что действие, обозначаемое этими глаголами, происходит поверхностно, неглубоко, приставка в этом случае (в отличие от ДО-, В-) “оставляет невыраженной сему предела перемещения”⁴⁸ (ср. *прилететь – долететь – влететь*). Таким образом, если представить любое действие, обозначенное глаголом с префиксом ПРИ-, по макету движения, то оно будет происходить на поверхностном уровне, не нарушая внутренней структуры объекта (или субъекта), не выходя за пределы, обозначенные для данного типа движения (действия). Локализация пространственных отношений реализуется в данном случае в виде линии (плоскости): *[К дому] со всех сторон пристроены сени и сенички* (Н. Гоголь); *Две свечи, прилепленные на выступах стены, тускло освещали убогое убранство блиндажа* (А. Степанов). В этом случае фигура занимает непроникающее положение по отношению к фону. Это значение и является, по всей видимости, прототипическим пространственным значением приставки и служит точкой отсчета для дальнейшего развития ее значений.

Наиболее близко пространственному четвертое из указанных выше значений префикса (общерезультативное), так как достижение какого-либо пространственного предела легко трансформируется в доведение этого, а также подобных действий до конечного результата: *[Степан Михайлович] приказал себе **приготовить** других лошадей и, отдохнув час два-три, поскакал прямо к ней* (С. Аксаков); *Прошел проводник с фонарем и **пристыдил** Гека, что люди спят, а он скамейками хлопает* (А. Гайдар). Конкретное перемещение объекта расценивается как абстрактное действие вообще. Такая семантическая эволюция префиксальной семантики естественна для славянских языков, где развивались категории степеней действия, а затем категория вида. Отношения локативности при этой конфигурации значения граничат с отношениями предельности действия. Отметим, что некоторые единицы с приставкой ПРИ- в указанном значении сохраняют пространственный компонент в значении “приближения”, “близости” либо “движения”: *приготовить, примерить*.

Второе значение приставки (деминутивное, смягчительное) является результатом семантической трансформации пространственного значения. Такой тип трансформации обусловлен общими особенностями мышления: человеческое сознание легко трактует приближение к чему-то без нарушения границ как не абсолютное, то есть неполное приближение, а также неполное действие вообще. Вероятно, здесь можно говорить об “эффекте метафоричности”, возникающем на основе ориентационной метафоры⁴⁹. Пространственные параметры действия (“близость чего-то”, “приближение к чему-то”) преобразуются в количественные и начинают

отражать степень охвата действием его участников, меру его интенсивности. Актуализируя степень совершения действия, обозначенного глаголом, префикс ограничивает его рамки, оценивая его, представляет данное действие соотносимым с другим действием, обращая внимание на то, что оно совершается не в полной мере по сравнению с некой нормой подобного действия. В глаголах *привстать*, *припухнуть*, *притормозить*, *призаянуть* и др. значение приставки ПРИ- — деминутивное, заключается в выражении меры действия. В этом случае действие совершается слегка, отчасти, немного, до некоторой степени: *Его малость приконтузило* (Н. Грибачев); *Распрямив присогнутые долгим трудом плечи, они смотрели на море* (А. Борщаговский); *Полковник бросился к ним, стал грозно кричать, хотел припугнуть и два раза выстрелил на воздух из револьвера* (В. Вересаев).

209

Роль деминутивного префикса ПРИ- в выражении общей семантической структуры глагола заключается в том, что именно он задает рамки действия, названного глаголом, диктует определенный набор пропозиций на денотативно-пропозициональном уровне глагола. Префикс указывает на наличие фонового (потенциальногого) действия (*встать*, *пухнуть*, *тормозить*, *заянуть*), соотносит его с реально произведенным действием (*привстать*, *припухнуть*, *притормозить*, *призаянуть*) и, “сравнивая” их, корректирует рамки реализованного действия “по трафарету” потенциального (ср.: *Митька крепко задумался* (А. Белянин); *Конечно поверить этому чиновники не поверили, а, впрочем, призадумались* (Н. Гоголь)). Предполагается, что некий субъект, существующий в нашем сознании, некогда совершил действие, аналогичное рассматриваемому действию, но в полной мере,

то есть в обычном для этого типа действий объеме, и получил результат, отличный от полученного при реальном действии, более полный, сильный и т. п. Именно это “идеальное” действие (и его результат) и является нормой для данного действия, которая закрепляется в качестве идеального опыта в нашем сознании и служит точкой отсчета для всех аналогичных действий, являясь фоном для сравнения с ними и актуализируясь, когда рамки указанной нормы не совпадают с рамками реализованного действия. Такая связь разноуровневых действий (реального и “идеального”) естественна для человека и закреплена в языке (в семантике русского глагола эта связь традиционно выражается на префиксальном уровне). Отношения локативности сменяются отношениями качественности действия, а приставка перестает быть выразителем исключительно пространственных отношений, препрезентируя принципиально иную семантику.

В русском языке существует группа глаголов с префиксом ПРИ- в третьем указанном значении — дополнительного воздействия на объект, прибавления чего-то к тому, что уже имеется. При этом данное (в большей степени “присоединительное”, “пространственное”) значение складывается, по всей видимости, на основе деминутивного. Часть объекта, которую прибавляют, обычно оказывается меньше самого объекта, к которому происходит прибавление (*призанять денег, принанять работников, прикупить ещё зерна*): *Теперь бы нам только триста рублей на короткое время призанять* (А. Островский); *Мне вот пустошь прикупить хочется, рядом продается, три тысячи просят* (А. Островский). Таким образом, комплетивное значение является результатом трансформации

пространственного и деминутивного значений приставки. В подобных единицах префикс становится выразителем не локативных отношений, а отношений качественности и в некоторой степени дистрибутивности действия, внутреннего таксида.

Тот же тип семантической трансформации пространственного значения наблюдаем у приставки ПОД-. Так же как и у ПРИ-, у префикса ПОД- первичное значение пространственное: “действие направить вниз, подо что-нибудь” (*подлезть, поднырнуть, подсунуть* и т. д.): ...*Он пригнулся к земле и подлез в подрытую собаками подворотню* (Н. Гарин-Михайловский); *Очень любила лежать на газетах, подползши под верхний лист* (А. Куприн). Однако такие компоненты, зафиксированные в семантике приставки ПОД-, как “приближение”, “вплотную к предмету”, “горизонтальное действие”, “действие без нарушения границ предмета”⁵⁰, обусловливают её деминутивное значение. Этим значением называется действие, задуманное и/или проведённое по каким-либо причинам ниже “нормы глагольного действия” (*слегка подзатянутъ, немного подбодрить, слегка подзыть, чуть-чуть подвыпить* и т. д.): *Катенька не отвела глаза, только нагнула голову и, когда отец подтолкнул было к ней князя, быстро скользнула за ковер...* (А. Н. Толстой); *Мозоли на бычьих шеях ... подзаросли ворсой* (В. Фоменко); *[Крыков] тотчас же отыскивал свое дело: то подмазать глиной печку, то подправить матицу, то вон крыльцо разъехалось* (Ю. Герман).

При данном значении префикса часто возможна (но не обязательна) синонимия глаголов с приставками ПРИ- и ПОД- в указанном значении — *подпухнуть — припухнуть, подбодрить — прибодрить, подзаяннуть — призаяннуть*, что

может свидетельствовать о нейтрализации пространственного компонента их значений. Однако если исходить из “исконных” пространственных значений данных префиксов, то ПОД- сохраняет в своих значениях сему “непосредственной близости”, пространственную характеристику “снизу”, “рядом”, в то время как префикс ПРИ- актуализирует семы “приближения”, “появления” объекта, не маркируя место присоединения к нему, в отличие от префиксов ПОД- и НА-. На наш взгляд, последняя семантическая характеристика (немаркированность места присоединения, приближения), сохраняющаяся и в деминутивном значении приставки, делает возможным использование префикса ПРИ- с более широким кругом глагольных основ, в то время как более конкретные с пространственной точки зрения семы “снизу вверх”, “сбоку и снизу” делают приставку ПОД- “разборчивой” в присоединении к глагольным основам (**подвстать*, но *привстать*; **подоткрыть*, но *приоткрыть* и наоборот — *поднакидать*, но **принакидать*), в силу чего круг глаголов с данной приставкой более ограничен.

То же относится к данной приставке в комплективном значении (также совпадающем с аналогичным значением префикса ПРИ-) — дополнительного совершения действия. В этом значении у приставки нейтрализуется пространственный компонент “снизу”. Глаголы с таким значением префикса обозначают действие, совершённое добавочно к основному (*ещё немного подгладить рубашку, подзаработать ещё немного к уже заработанному, подлить воды к тому, что уже есть*): *Иногда думаешь: ... не подкупить ли к старому генератору еще два, поставить их на локомобили* (В. Тендряков); *Разве что подклянчить еще у кого денег?* (Ю. Арак-

чеев); *Допивай, горяченького подолью*, — угощала Арина Елисеевна (Игишев). Сами действия, обозначенные этими глаголами, “не единичны”, состоят из двух-трех или ряда повторяющихся действий, должное повторение которых приведёт к определённому результату (в соответствии с нормой подобного действия). Таким образом, каждое добавочное действие дополняет основное с целью приведения результата к должному уровню: *поднакопить денег, подлить воды (добавить объекта), подзакрутить кран (добавить действие)*. Так как добавочное действие по его протеканию, интенсивности, результату “меньше” основного, следовательно, семантика приставки, как и у ПРИ-, соединяет значения дополнительного совершения действия и совершения его в незначительной степени, в любом случае действие оценивается как совершенное ниже нормы действия.

Для префиксов ПРИ- и ПОД- (чаще в диалектном материале) характерна еще одна особенность, сближающая их: маркируя количественные характеристики действия, эти приставки (в противовес деминутивному значению) в некоторых контекстах могут выступать в сатуративном значении, указывая на совершение действия с особой полнотой проявления, исчерпанностью и даже избыточностью (*принакормить коней досыта, приналовать рыбы ведро, приразрушить все дома до последнего, совсем штукатурка прирастрескалась*): *Когда пришли бандиты, они все переворотили. Много людей прикрошили, притоптили* [Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби]. В таких глагольных единицах проявляется усилительная функция префиксов ПРИ- или ПОД-, при которой их значение наславляет-ся на значение глагола или первичной пристав-

ки, что приводит к семантическому эффекту возрастания количества признака действия, его насыщенности. В этом случае разъединяющее, деструктивное, значение глагола и накопительное значение первичных префиксов оказываются “удвоенными”, а “исконная” деминутивность ПРИ- и ПОД- поглощается. Отметим, что это может наблюдаться в рамках одной глагольной единицы (*призагнуть слегка и призагнуть так сильно, что вещь сломалась, подвыпить слегка и подвыпить сверх меры*). Отмеченная исследователями⁵¹ энантиосемия префиксальных глаголов, на наш взгляд, отражает интерпретационный характер этих единиц и человеческого сознания, так как дополнительные оттенки значения, придаваемые префиксом глаголу, играют не только номинативную, но и характеризующую роль, отводя действию то или иное место на нормативной шкале по ту или иную сторону нормы глагольного действия. Префикс в таких случаях выступает в качестве формального показателя низкой или высокой степени действия, а действие, обозначенное мотивирующим глаголом, будет соответствовать норме действия. Характеристики “слегка”, “немного” и им подобные относительны и субъективны, что позволяет человеческому сознанию передвигать их по соответствующей шкале в зависимости от преследуемых номинативных и коммуникативных целей.

Ярким представителем глагольных префиксов с трансформацией пространственной семантики является русский глагольный префикс НА-.

Префикс НА- продуктивен в русском языке, кроме того, глаголы с этим префиксом активно представлены в других славянских языках (чешском, польском, белорусском). НА- соединяется с широким кругом глагольных основ,

среди них встречаются глаголы физического воздействия, покрытия, давления, глаголы оперирования с предметами, с растениями, глаголы приготовления (заготовления) пищи, а также глаголы движения, перемещения (субъектные и объектные), отдельные глаголы ментально-психической, речевой, социальной сфер: *напилить, намотать, налепить, налететь, натереть, насочкить, натянуть, набросать, насобирать, вышивать, напокрывать, навыжимать, навырщивать, наполивать, наклеить, навытекать, наехать, наприезжать, навыдумывать, напридумывать, нарасказывать* и др.

В русском языке префикс НА- реализуется в нескольких значениях:

- направить действие на поверхность чего-либо; поместить(ся) на чем-нибудь, натолкнуться на что-нибудь (*накатить, наехать, наклеить, накинуть, нацарапать* и т. д.);
- накопить(ся) в определенном количестве (*натаскать, наварить, надергать* и т. д.);
- интенсивно совершить действие (*нагретить, нагладить, начистить* и т. д.);
- приучить(ся) к чему-нибудь (*набегать, наездить, натренировать, намуштровать* и т. д.);
- слабо, слегка, бегло совершить действие (*наиграть, напеть* и т. д.);
- довести действие до результата (*нагреть, напугать, напоить* и т. д.)⁵²

215

Основным значением префикса НА- считается “направление на поверхность предмета”, “наличие чего-либо на поверхности”. В данном случае фигура занимает непроникающее положение по отношению к фону, в отличие от ситуаций, отражаемых префиксами В-, ПЕРЕ- и т. д., локализация отношений представлена в виде линии: *Шапка была натиснута на лоб* (М. Ро-

щин); *Три девушки-колхозницы хлопотали вокруг хлеба, тщетно пытаясь набросить на него длинный, широкий брезент* (Д. Павленко). Наиболее ярко трансформация прототипического пространственного значения проявляется во втором из указанных значений — накопительном (кумулятивном). Последнее является, по мнению исследователей, результатом развития исконного значения приставки — “сверху”, “сверх”, “свыше”, т.е. движение к верхнему пределу действия⁵³.

Глаголы с приставкой НА- в кумулятивном значении обозначают несколько или много действий (и представляют их единой глагольной единицей), каждое из которых в качестве результата предполагает новый или просто изменённый объект, а всё действие в целом — суммарный объект, накопленный в результате действий, совершённых последовательно, одно за другим, в несколько приёмов или одновременно, сразу, иногда хаотично. Данные оттенки значения корректируются контекстом, такие глаголы обычно сочетаются со словами “масса”, “множество”, “уйма”. Накопление результатов действия предполагает накопление, суммирование как большого числа объектов (*нарвать цветов, напечь пирогов, накупить книг, навытисывать журналов*), а также определённого количества, меры общего для ряда действий объекта (*насолить капусты, натопить печь, навыворачивать земли, нарассказывать всякого*), так и субъектов действия (*набежали, наприезжали, наприходили*): *На палубе наворочены колеса, станы, оси, кадки, дуги* (А. Серафимович); *А псевдонимов-то наизобретала, хоть литературный кружок создавай* (В. Кетлинская); *Набежала к ней прислуга и челядь дворовая* (С. Аксаков).

Внутренняя структура таких глаголов представлена несколькими однородными действиями: *накидали* = *кинули один раз* + *кинули второй раз* + и т. д. По отношению к пространственному значению в семантике приставки происходит трансформация компонента “нахождение на поверхности”, то есть на плоскости, а не в каком-либо вместилище, поэтому результаты действия оказываются на виду, а не внутри, а следовательно, они видимы и накапливаются в определенном количестве. В отличие от префикса ПРИ-, в данном случае соприкосновение с плоскостью имеет не точечный, а плоскостной характер, поэтому действие, обозначенное глаголом с приставкой НА-, представляется как совершенное много раз, в большом объеме. “В самом определителе “много” содержится оценочный момент количества объектов, оценка подразумевает точку отсчета: “много” обозначает больше нормы, больше обычного”⁵⁴, больше нормы действия, которая может быть выражена сопоставимым глаголом с иным префиксом (ср.: *насолить капусты на всю зиму* — *посолить банку огурцов, наприсыдать два мешка писем — прислать телеграмму*).

217

Подобный тип ситуации описывается и глагольными единицами с дистрибутивными приставками, однако, в отличие от глаголов с дистрибутивным значением, кумулятивные глаголы содержат в своей семантике акцент на последующем использовании результатов действия, оперировании ими, то есть префикс НА- вносит в семантическую структуру глагола проспективную направленность, в отличие от дистрибутивных префиксов ПО-, ПЕРЕ-, ИЗ-. Таким образом, дистрибутивное и кумулятивное значения имеют общие компоненты — множественность объектов или субъектов, но при

дистрибутивном значении акцент делается на последовательности, очерёдности выполнения действия (или действий), то есть на его “некаотичности”, расчленённости, а при кумулятивном значении — на его суммарности, возможности производства действия не последовательно, а сразу, массово (всеми субъектами или над всеми объектами), бессистемно:ср.: *Митька уже решил в своем уме как-нибудь вскоре прийти сюда одному, без Саньки, повыловить из-под камней всех ершей* (Н. Никандров); *До выезда ему хотелось перегладить гимнастерки, брюки и белье* (М. Алексеев); *Мостик хворостом крыт, доверху соломы накидано* (Т. Гончаров); *Глядь — скатерть развернулася, откудова ни взялися две дюжие руки, ведро вина поставили, горой наклали хлебушка* (Н. Некрасов).

Среди глаголов с кумулятивной приставкой основными являются единицы, имеющие в своей семантической структуре компонент проспективности: накопление обычно имеет цель, поэтому закономерно, что среди глагольных единиц с приставкой НА- большую часть занимают конструктивные глаголы. Однако указанная приставка сочетается и с деструктивными глаголами: как с собственно деструктивными (без положительного конструктивного начала), так и с глаголами, являющимися деструктивными только по способу действия, а по цели и результату — конструктивными (ср.: *наломать веток, наразбивать чашек, набросать вещей и навысекать огня, наскоблить полов, нарубить дров*).

В накопительном значении префикса НА-, помимо сем результативности, множественности, исчерпанности действия, выделяются такие семантические признаки, как пресыщение, удовлетворённость действием, его особая интенсивность и полнота, то есть действие, обозначенное

глаголом с приставкой в данном значении, оказывается не только названным, но и характеризованным производителем действия и/или его наблюдателем с точки зрения количества действия, его интенсивности, а следовательно, желательности-нежелательности такой интенсивности. В данном случае параметрическое оценивание количества действия, количества его результата сочетается с оценкой его нужности, рациональности. Отклонение от нормы глагольного действия может проявляться в глаголах по-разному — как желательное (*напечь много вкусного, навыращивать много овощей*) и как нежелательное (чаще всего с деструктивными глаголами, а также в зависимости от внеязыкового контекста) (*набросал вещей, наразбивали посуды; назакваивал столько капусты, что она прокисла*, и т. д.): *Заходите, заходите, бабоньки... Про вас всего напасено...* (Г. Успенский); *У Елены глазки наплаканы... Соседки судачат, жалеют* (В. Короленко).

219

Отметим, что префикс НА- в подобных глаголах вносит указание на отклонение от нормы действия, количественно оценивая его; модальные смыслы желательности-нежелательности такого количества действия определяются самой глагольной основой, а также контекстом событий, в который вписано действие, обозначенное глаголом с приставкой НА-. Эти единицы наиболее показательны в отношении сочетания квантитативной (количественной) и утилитарной (целевой) оценки⁵⁵ действия. В семантическом компоненте “много” в структуре приставки НА- заключена оценка меры действия, количества созданного/разрушенного действием, названным глаголом с префиксом НА-, по отношению к стереотипной для носителя языка норме для подобного действия (количественная оценка): *Через две пятилетки мы уж тут заводов*

настроим (М. Шолохов); *Мы там уток настремляем* вдоволь (И. Тургенев); *Ожирел, брюхо нарастил, — проворчал Богословский* (Ю. Герман). Кроме того, указанный семантический компонент “много”, как и компонент “мало”, оценивается человеком и с точки зрения его практичности, полезности в общей деятельности человека (утилитарная оценка). Так, много чего-либо конструктивного, нужного (как в двух первых примерах) — это хорошо, много чего-либо деструктивного, ненужного (как в третьем примере) — плохо, причем, как мы уже отмечали, данные оценки зависят от внеязыкового контекста (ср.: *навыращивать яблок* — *навыращивать сорняков*, *написывать поздравительных открыток* — *написывать анонимок*).

Таким образом, кумулятивное значение приставки является результатом трансформации ее пространственного значения. Отношения локативности в данном случае трансформируются в отношения качественности действия, его множественности. Кроме того, префикс является безусловным выражителем количественной (параметрической) оценки действия, т.е. отношения локативности пересекаются со сферой модальности (оценочности).

Третье и четвертое указанные значения префикса НА- являются естественным семантическим продолжением его кумулятивного значения: накопление результата оценивается либо как интенсивность действия, либо как достижение “приучения” кого-либо к чему-либо.

В плане трансформации локативной семантики приставки интересно пятое значение НА-: слабо, слегка, бегло совершить действие: *И вот понемножку, вполголоса, Меркулов начинает напевать* (А. Куприн). В данном случае трансформация первичного пространственного значения

префикса происходит с использованием конфигурации “на плоскости, на поверхности”, а значит, без проникновения. Нахождение на чем-либо расценивается нашим сознанием как незначительное действие, проникновение внутрь — как действие с нарушением границ, а следовательно, более значительное. Семантическая трансформация префикса основана на оппозиции *внутри — снаружи*, лежащей в основе многочисленных ориентационных метафор, так как человек, проецируя свойства физического мира на нефизические объекты, считает нужным установить четкие границы этих объектов: “проведение границы (и тем самым очерчивание территории) является актом квантификации”⁵⁶, а нарушение внутренних границ расценивается как значительное. В данном случае такого нарушения не происходит, поэтому действие представляется выполненным в малой степени, незначительно, слегка.

Как и у приставки ПРИ-, последнее (общерезультативное) значение префикса НА- возникает как трансформация его пространственного значения, при которой локативность в семантике приставки может сохраняться (особенно при взаимодействии с глаголами с пространственным значением), а можетнейтрализоваться полностью. Отношения локативности при этой конфигурации значения трансформируются в отношения предельности действия.

Итак, пространство, являясь базовой категорией человеческого мировидения, оказывается крайне значимым в языке. Помимо своего непосредственного денотативного содержания, данная категория репродуцируется в другие категории. Преломляясь сквозь призму сознания носителя языка, пространство способно находить отражение в самых разнообразных языковых формах. Не является исключением и развет-

вленная сфера русской глагольной префиксации. Для выражения пространственного и “отпространственного” содержания в языке имеются определенные модели, по которым происходит семантическая трансформация подобного рода. Соотносимыми с категорией локативности в русском языке являются категории предельности, качественности, множественности, модальности. В качестве средств выражения преобразованной локативной семантики выступают в том числе и рассмотренные выше (а также целый ряд других) префиксы. Глагольные приставки, приспособленные когда-то языком для указания пространственных отношений между фактами действительности, на данном этапе развития преобразовались в своеобразные качественные и аксиологические показатели действия.

ПРИМЕЧАНИЯ

222

¹ Кубрякова Е. С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика — психология — когнитивная наука // Вопросы языкоznания. 1994. № 4. С. 37.

² Там же. С. 41.

³ Кубрякова Е. С. Глаголы действия через их когнитивные характеристики // Логический анализ языка: Модели действия. М., 1992. С. 84.

⁴ Демьянков В. З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопросы языкоznания. 1994. № 4. С. 22.

⁵ Философская энциклопедия. М., 1967.

⁶ Теория функциональной грамматики: Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность. СПб., 1996.

⁷ Всеволодова М. В., Владимирский Е. Ю. Способы выражения пространственных отношений в современном русском языке. М.: Русский язык, 1982; Плунгян В. А., Рахилина Е. В. Полисемия служебных слов: предлоги через и сквозь // Русистика сегодня. 1996. № 3. С. 1 – 17; Малаяр Т. Н.

Пространственные концепты в семантике английских предложно-наречных слов и сочетаний *in front (of)*, *ahead (of)*, *behind*, *beyond* // Исследования по семантике предлогов: Сб. статей. М.: Русские словари, 2000. С. 263 – 296; *Плунгян В. А., Рахилина Е. В.* По поводу “локалистской” концепции значения: предлог ПОД // Там же. С. 115 – 133.

⁸ *Гак В. Г.* Языковые преобразования. М.: Школа “Языки русской культуры”, 1998.

⁹ *Кронгауз М. А.* Глагольная приставка, или координата времени // Логический анализ языка. Язык и время. М., 1997. С. 152 – 157; *Он же*. Исследования в области глагольной префиксации: современное положение дел и перспективы // Глагольная префиксация в русском языке. М.: Русские словари, 1997. С. 4 – 28; *Он же*. Опыт словарного описания приставки от- // Глагольная префиксация в русском языке. М.: Русские словари, 1997. С. 62 – 86; *Он же*. Приставки и глаголы в русском языке: семантическая грамматика. М.: Школа “Языки русской культуры”, 1998; *Добрушина Е. Р., Меллина Е. А., Пайар Д.* Русские приставки: многозначность и семантическое единство. М.: Русские словари, 2001.

¹⁰ По: *Скребцова Т. Г.* Американская школа когнитивной лингвистики / Последсл. Н. Л. Сухачева. СПб., 2000.

¹¹ *Кубрякова Е. С.* Глаголы действия через их когнитивные характеристики. С. 84 – 90.

¹² *Гак В. Г.* Указ. соч.

¹³ *Плунгян В. А., Рахилина Е. В.* По поводу “локалистской” концепции значения: предлог ПОД-. С. 115 – 133.

¹⁴ *Кустова Г. И.* Типы производных значений и механизмы языкового расширения. М.: Языки славянской культуры, 2004.

¹⁵ *Крейдлин Г. Е.* Метафора семантических пространств и значение предлога // Вопр. языкоznания. 1994. № 5. С. 19 – 31; *Кустова Г. И.* Указ. соч.

¹⁶ *Вежбицкая А.* Понимание культур через посредство ключевых слов / Пер. с англ. А. Д. Шмелёва. М.: Языки славянской культуры, 2001.

¹⁷ *Гак В. Г.* Указ. соч. С. 672.

¹⁸ Крейдлин Г. Е. Указ. соч. С. 19 – 31.

¹⁹ Теория функциональной грамматики...

²⁰ Лангакер Р. по: Скребцова Т. Г. Американская школа когнитивной лингвистики / Послесл. Н. Л. Сухачева. СПб., 2000.

²¹ Талми Л. по: Скребцова Т. Г. Указ. соч.

²² Кустова Г. И. Указ. соч.

²³ Плунгян В. А., Рахилина Е. В. По поводу “локалистской” концепции значения: предлог ПОД-. С. 116.

²⁴ Теория функциональной грамматики... С. 5.

²⁵ Там же.

²⁶ Там же. С. 9.

²⁷ Там же. С. 7.

²⁸ Там же. С. 12.

²⁹ Там же. С. 6.

³⁰ Там же. С. 7.

³¹ Кириченко А. С. Системные семантические характеристики и область денотации предлога *между* // Исследования по семантике предлогов: Сб. статей. М.: Русские словари, 2000. С. 338 – 351; Селиверстова О. Н. Семантическая структура предлога НА // Исследования по семантике предлогов: Сб. статей. М.: Русские словари, 2000. С. 189 – 242; и др.

³² Талми Л. по: Скребцова Т. Г. Указ. соч.

³³ Там же.

³⁴ Там же. С. 147.

³⁵ Теория функциональной грамматики... С. 22.

³⁶ Лакофф Дж. по: Скребцова Т. Г. Указ. соч. С. 74.

³⁷ Там же.

³⁸ Кронгауз М. А. Исследования в области глагольной префиксации...

³⁹ Добрушина Е. Р., Меллина Е. А., Пайар Д. Указ. соч. С. 10.

⁴⁰ Там же.

⁴¹ Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996. С. 23.

⁴² Кронгауз М. А. Приставки и глаголы в русском языке... С. 152.

⁴³ *Волохина Г. А., Попова З. Д.* Русские глагольные приставки: семантическое устройство, системные отношения. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1993; *Вараксин Л. А.* Семантический аспект русской глагольной префиксации. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1996; *Кронгауз М. А.* Глагольная приставка... С. 152 – 157; *Он же.* Опыт словарного описания приставки от-. С. 62 – 86; *Он же.* Приставки и глаголы в русском языке...; и др.

⁴⁴ *Волохина Г. А., Попова З. Д.* Указ. соч.; *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974; *Он же.* Избранные труды. Т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Школа “Языки русской культуры”, 1995.

⁴⁵ *Кронгауз М. А.* Исследования в области глагольной префиксации... С. 4 – 28; *Он же.* Опыт словарного описания приставки от-.

⁴⁶ *Кустова Г. И.* Указ. соч. С. 11.

⁴⁷ Русская грамматика: В 2 т. / Под ред. Н. Ю. Шведовой. М.: Наука, 1980. Т. 1. С. 368 – 369.

⁴⁸ *Волохина Г. А., Попова З. Д.* Указ. соч. С. 37 – 38.

⁴⁹ *Лакофф Дж. по: Скребцова Т. Г.* Указ. соч.

⁵⁰ *Волохина Г. А., Попова З. Д.* Указ. соч. С. 83.

⁵¹ *Авилова Н. С.* Вид глагола и семантика глагольного слова. М., 1976.

⁵² Русская грамматика... С. 361 – 362.

⁵³ *Волохина Г. А., Попова З. Д.* Указ. соч. С. 75.

⁵⁴ *Королева Ю. В., Лебедева Н. Б.* Русские глаголы с приставкой НА- кумулятивно-накопительного способа действия // Явление вариативности в языке: Материалы Всерос. конф. (13 – 15 декабря 1994 г.). Кемерово: Кузбас-свузиздат, 1997. С. 178.

⁵⁵ *Арутюнова Н. Д.* Об объекте общей оценки // Вопросы языкоznания. 1985. № 3. С. 13 – 24; *Вольф Е. М.* Субъективная модальность и семантика пропозиции // Прагматика и проблемы интенсиональности. М., 1988. С. 124 – 143.

⁵⁶ *Лакофф Дж. по: Скребцова Т. Г.* Указ. соч. С. 74.

1.2.2

ОБРАЗ ПРОСТРАНСТВА: ДАЛЕКИЙ И БЛИЗКИЙ

226

Лексика разных индоевропейских языков сохраняет свидетельства глубоких исторических корней взаимодействия категории пространства и общей оценки. Представления, структурирующие пространственный мир человека, были исходно настолько значимы на ранних и последующих этапах индоевропейской культуры, что использованы активно в формировании категории общей положительной и отрицательной оценки и, возможно, категории бытийности.

Пространство — одна из первых реалий бытия, которая воспринимается и дифференцируется человеком. Оно организуется вокруг человека, ставящего себя в центр макро- и микрокосмоса. Не случайно не только пространство дифференцируется подробно языковыми средствами во всех языках, но оно оказывается в основе формирования многих типов номинаций, относящихся к другим, непространственным сферам. Предлагаем посмотреть на участие пространственных представлений в формировании общей положительной и отрицательной оценки, семантики бытия, участие, получившее выражение на лексическом уровне индоевропейских языков.

1. Семантическая модель “(то, что) **здесь и сейчас** (есть)” → “настоящее, истинное, хорошее; оставаться/жить”.

Ряд авторитетных исследователей допускают, что и.-е. *su- ‘хороший’ может быть однокорневым с глаголом в значении ‘быть, существовать’ — *es-, *(e)s-ъ- <*θ¹es- (др.-инд. ás-mi, лат. sum, esse, слав. *esmь и т. п.)¹. Так, в своем словаре Ю. Покорный отмечает, что обращение к семантической структуре производных и.-е. *es- : *su- показывает возможность производности значений ‘хорошее’ (и ‘верное’, ‘истинное’) от ‘сущее, существующее’ (ср., например, скр. sad-asant ‘существующий и несуществующий’; ‘хороший и плохой’, ásant ‘несуществующий’; ‘неправильный’; ‘плохой’; др.-инд. sánt-, sát-, авест. hant-, hat- ‘существующий’, ‘настоящий’, ‘хороший’ (“...es- ‘sein’...partizipium sent-, sont-, spt- ‘seiend’, z. T. mit Entwicklung zu ‘wahr, tatsächlich’, und weiter teils zu ‘gut’, teils zu der ‘wirkliche Täter, der Schuldige’”)².

Еще определенное, сравнивая хеттские и греческие примеры, об этом говорил Й. Фридрихс: “Trotz unserer noch geringen Kenntnis der hethitischen Lautlehre glaube ich doch nicht irre zu gehen, wenn ich aššuš mit griech. ἔυς ‘gut, trefllich’, aus *esús gleichsetze. Die Gleichung: heth. Aššuš = griech. ἔυς, idg. *esús ist nämlich ganz parallel der bereits bekannten und unbestweifelten: heth. aššant- ‘seiend’ = griech. ἔοντ-, idg. *esónt-”³. Раньше подобную же мысль высказал Э. Швингер, проведя семасиологический анализ древнеиндийских и древнеиранских слов со значением ‘gut’ и ‘böse’ и определив семантические модели их образования, среди которых “Seiend, wesenhaft, wirklich, wahr – gut und das Gegenteil: a) 1) bhavya ‘такой, как нужно, уместный; красивый’; 2) satya ‘правильный, истинный, вер-

ный'; 3) sant 'существующий, настоящий; хороший', sattama 'best'; b) пур Vereinungen von a). 1) abhavya 'некрасивый, безобразный, плохой, несчастный'; 2) asatya 'ложный, обманчивый'; 3) asant 'несуществующий, такой, какой не должен быть', то есть 'ложивый, неверный, безнравственный, плохой'⁴. Более глубокая, чем индоевропейского уровня, реконструкция позволяет предполагать исходное пересечение категории пространства и бытия в концептуальной картине мира: ностратическое *yesA- 'быть на месте' → 'пребывать, жить, быть' ~ и.-е. *^hes- 'быть' и 'сидеть'⁵.

228

Пример из германских языков. У германцев обнаруживаем принципиально иное, чем у других индоевропейцев, осмысление и собственное языковое представление понятия 'жить'. Глагол *live* восходит к общегерманской основе *lib- 'оставаться', 'продолжать (быть)' (ср. гот. liban, др.-в.-нем. leben, англосакс. libbian, дат. leve, швед. lefva, др.-исл. lifa 'жить', 'быть оставленным', 'оставаться', др.-исл. lif, англосакс. lif 'жизнь', др.-в.-нем. lib, lip, ср.-в.-нем. libes 'жизнь, человек'). Рассматриваемый глагол восходит к индоевропейскому корню *leip- 'мазать, намазывать; приклеивать, липнуть, прилипать' (ср. рус. *при-льнуть*, *при-лепить*)⁶.

Известно, что к VI в. после продолжительного периода великого переселения народов германцы полностью перешли к мирному осёдлому образу жизни. В отличие от кочевников, в сознании которых категория пространства бесконечна, для осёдлого народа среда обитания сводится к сравнительно небольшому участку земли, где находятся жилища, поселения, поля и угодья, т.е. пространство своего обитания. Познание и обживание пространства народом играет весьма важную роль в формировании нацио-

нального менталитета. Осмысление своего места в физическом мире позволяет человеку организовать свою социальную жизнь. Видимо, именно подобным образом занятие определённого пространства в сознании германского этноса относилось с проживанием, с определённым образом жизни: переосмысление понятия от ‘оставаться, быть оставленным’ → ‘оставаться на одном месте’ → ‘оставаться надолго, отныне существовать’ к ‘жить’ представляет собой собственно германскую семантическую инновацию.

2. Семантическая модель “**близко/рядом** (находящийся)” → “близкий человек: любимый, друг”.

Примером реализации этой семантической модели может служить история и происхождение рус. *приятель*, *приязнь*, имеющих соответствия в других славянских языках (ср. укр. *приятель*, словен. *rijatelj*, др.-чеш. *příetel*, польск. *przyjaciel* и др.) и получивших письменную фиксацию в ранних древнерусских текстах (с XI в.). В древнерусском сохранился и глагол *прияти*, *прияю* в значениях ‘любить, доброжелательствовать, заботиться о ком-л.’ (Срезневский), имеющий соответствия в других славянских языках (с.-хорв. *priјati* ‘преуспевать, удаваться’, чеш. *přáti*, *přítí* ‘благоприятствовать’ и др.). Этим славянским лексемам по значению близки и однокорневые образования в других indoевропейских языках, ср. др.-инд. *ṛgiúá* – 1) ‘приятный, милый, любимый; любящий’; 2) ‘муж, супруг, любовник, зять’; 3) ‘доброта, благосклонность’, *ṛiti* ‘любовь, расположение, дружба, радость’, лтш. *prieks* ‘радость’, гот. *frijon* ‘любить’, *friaþwa* ‘любовь’, *frijonds* ‘друг’, нем. *freien* ‘сватать’, *freuen* ‘радовать’, *Freund*, англ. *friend* ‘друг, приятель’ и т. д. Рассматриваемое этимологическое гнездо считается продолжени-

ем и.-е. основы *prijo-: *prijā (<*prāi- : *pr̥di- : *pr̥t-). К этому же этимологическому гнезду относится целый ряд грамматикализованных лексических единиц, ср. лат. p̥iae-*<*pr̥t->*, prior, слав. pri- (приставка и предлог) и т. п.⁷

Обычно реконструируемое значение и.-е. основы *prijo- как ‘быть расположенным, любить, жалеть’ следует, видимо, рассматривать как вторичное, производное и исходить из более простого ‘рядом (находящийся), близко’, получившего развитие как ‘близкий (человек)’ → ‘дорогой, любимый; быть расположенным, любить’ (ср. скр. pr̥iya-samvâsa ‘совместная жизнь с близкими’).

3. Семантическая модель “выше – ниже” → “лучше – хуже”.

Пространственные признаки “выше” и “ниже” неоднозначно участвуют в формировании общей положительной и отрицательной оценки, что совершенно очевидно демонстрируют, например, лексические единицы с общеоценочным значением германских и кельтских языков.

Ранний способ выражения общей отрицательной оценки ‘хуже’ в германских языках представлен в гот. wairs (срав. ст. нареч.), wair-siza (срав. ст. прилаг.), др.-исл. verr, verri (срав. ст. нареч., прилаг.), verstr (превосх. ст.), др.-англ. wiers, wiersa, wierrest, др.-сакс. wirs, wirsa, wirrista, др.-фриз. wirra, wersta, др.-в.-нем. wirs, wirsiro, wirsisto ‘хуже, худший’⁸. В целом ряде современных германских языков эти языковые единицы сохраняют функции компаратива и суперлатива (ср. англ. worse, worst, исл. verri, verstur), но в немецком языке, например, значение общей оценки у продолжений др.-в.-нем. wirs утрачено (ср. wirr ‘растрапанный, спутанный, неясный’, Wirren ‘неурядицы, волнения’, unwirsch ‘трубый, неприветливый’), это значе-

ние просматривается лишь в устойчивом словосочетании, употребляющемся в юго-западных диалектах немецкого языка (*Es macht sehr wirsch* ‘очень плохая погода’)⁹.

Этимология вышеприведенной лексики со значением общей оценки спорна: ее возводят к прагерм. *wers-, *werz-, но генетические связи в других индоевропейских языках не столь явны. Более известна гипотеза Ю. Покорного, который относит данную германскую лексику к производным и.-е. *wers ‘высокий’, ‘возвышенное место’, ставя в ряд с др.-инд. *várgšīya-* ‘выше’, *váršisthas* ‘высший’, *váršman* ‘верх’, ‘вершина’, лат. *vergūsa* ‘нарост’, литов. *viršùs* ‘верх, вершина’; слав. *vъгчъ ‘верх’, однокорневое др.-ирл. *ferr*, подобно германским соответствиям, выражает общую оценку, но с противоположным знаком ‘лучший, лучше, better’ (<*werso- ‘верхний, высший, uppere’)¹⁰. Полярность оценок не вызывает удивления, поскольку очевидно, что ‘выше’ как отклонение от общепринятого (нормы) может расцениваться и положительно, и отрицательно.

Общегерманским языковым средством выражения общей отрицательной оценки являются и продолжения индоевропейской основы *upélo-s ‘плохой, дурной, злой, bad’, представленной в прагерманском как *ubila-, имеющей продолжение в гот. *ubils* (нареч. *ubilaba*), др.-англ. *yfel*, др.-фриз. *evel*, др.-сакс., др.-в.-нем. *ubil*, ср.-н.-нем. *ovel*, англ. *evil*, нем. *übel* и т. п., с ними сближается др.-ирл. *fel* ‘bad’¹¹. Общеоценочное значение производных основы *upélo- можно, видимо, рассматривать как региональную семантическую инновацию, учитывая формально близкое скр. *úpala-* ‘камень, мельничный жернов’, *úpalâ-* ‘верхний камень жерновов’. Но скорее всего это не инновация, а вариативная (региональная) реализация семантической универ-

салии, представляющей в общей оценке базовую оппозицию “верх — низ”. На эту мысль находит как сопоставление с хетт. *ipr-* ‘восход (солнца)’ и хетт. *huiar(p)-* ~ *hup(p)* ‘treat badly’, *huiarpa-* ‘bad’ (об этом Леман со ссылкой на Уоткинса и Тышлера¹²), так и разорванный ареал представления общей оценки производными от и.-е. **ipr-*, **ipró-*.

Особенностью этого индоевропейского корня является его формальная вариативность (модификации, видимо, поздне- и послеиндоевропейского времени¹³) и энантиосемичная реализация плана содержания. Вероятно, и.-е. **ipró-*, **ipr-* является вариантом к корню **eup-*, представленному в гот. *iup* ‘вверх, наверх’, *iupana* ‘сверху’, и.-е. **(e)up-s-* в кельтских *ðs*, *ðas* (ирл. *ós* : *uas* ‘над, сверху’, *uasal* ‘высокий’ и др.), слав. **vysokъ* (из **ūps-o-* с *v-* протетическим), греч. ὑψοῦ ‘вверх’, ὑψηλός ‘высокий’¹⁴. Удлинение гласного отмечается в германских рефлексах: др.-англ. *þr*, *þrr* ‘вверх по течению, наверх, сверху’, др.-в.-нем. *ūf* (нем. *auf*), др.-сакс., др.-фриз., др.-исл. *þr*, англ. *ipr* ‘вверх, наверх’. В готском *uif* имеет противоположное значение ‘под’, как и др.-ирл. *fo*, греч. ὑπό, ὑπο, лат. *s-ub < *s-up* ‘под, ниже, низкий’, давшее производное ‘близ, у, при’¹⁵.

Та же противопоставленность значений наблюдается и у других производных рассматриваемого и.-е. корня: **uprag-*, **upreg-* продолжено в гот. *ufar*, ирл. *for* ‘над’, лат. *super*, греч ὑπέρ, скр. *upári* ‘вверху, над; высоко над’, при этом скр. *úpara* — это 1) ‘нижний’, ‘задний’, ‘более поздний’, ‘более близкий’ и 2) ‘нижний камень прессы (для выжимания сомы)’, ‘нижняя часть жертвенного алтаря’. Энантиосемия отмечается и в пределах семантической структуры одного слова,ср. исл. *ofan* ‘сверху, на поверхности’ и ‘вниз

по (с)’ или нем. *üppig* ‘пышный, роскошный, изобилующий’ и др.-в.-нем. *uprig* ‘ничтожный, незначительный, пустой, напрасный’. Противоречивость семантики находит объяснение в предполагаемых особенностях семантической деривации: либо исходное значение ‘прилегать снизу к чему-л.’ (‘быть под чем-л.’) получило развитие как ‘(снизу) наверх, сверху’ (*unten an etw. heran*, *dann (von unten) hinauf, über*), либо исходным определяется значение ‘превышать норму, быть чрезмерным’, а далее отсюда ‘излишний, незначительный, пустой’ и ‘чрезвычайно богатый, изобилующий’ (*über das Maß hinausgehend*, die sich zu ‘*überflüssig, unnütz, leer, eitel*’ und zu ‘*strotzend, überreich weiterentwickelt*’)¹⁶.

Как представляется, семантические отношения в этимологическом гнезде производных и.-е. **ipró-*, **ipr-* допускают и другую интерпретацию, оказываются весьма интересны в когнитивном аспекте. Дело в том, что в ряде случаев в семантике этих производных пересекаются (сталкиваются) значения ‘под; снизу’, ‘над; сверху’ и ‘быть близким, прилегать’: скр. *ира* — это предлог со значением ‘близость, примыкание или приближение’, ‘помощь’, *úra* ‘вверх, наверх; к...’, *upás-thā-* ‘идти к..., подходить’, *úraga* — это ‘нижний’, ‘задний’, ‘более поздний’ и ‘более близкий’, авест. *ира*, др.-перс. *ipā-* ‘к...; близкий; приближаться’, лат. *s-ub* ‘под, ниже, низкий’; ‘близ, у, при’, исл. *ofan* ‘сверху, на поверхности’ и ‘вниз по (с)’ и др. Похоже, что языковое средство и.-е. **ipró-*, **ipr-* было знаком с синкретичным значением ‘прилегающий сверху/снизу’ (если только в роли дифференцирующего средства не выступал аблaut, ср. следы варианта **eipr-* в германских). Окончательное же оформление лексическими средствами представления о полюсах вертикали “верх — низ” происходило

в позднеиндоевропейский период, самостоятельно в продолжениях разных диалектов индоевропейского, о чем свидетельствует появление деривативных пар *уп- и *уп-ер-, *уп- и *уп-ел-, *уп- и *(e)уп-с- (см. выше), возникновение внутри- и межъязыковой энантиосемичности у образований от *(e)уп-.

Дескриптивный признак как основание общей оценки в германских языках можно определить предположительно как ‘низкий’ > ‘плохой’ или ‘превышающий норму, чрезмерный’ → ‘плохой’. Скорее предпочтителен второй вариант,ср. исл. of ‘слишком, чересчур’, др.-в.-нем. uppa ‘напрасно, тщетно’, uppri ‘злой, злобный, wick-end’ (<*‘чрезмерный’?).

С другой стороны, в пересечении значений ‘выше’ – ‘ниже’ и ‘лучше’ – ‘хуже’ можно увидеть семантический процесс, аналогичный происходящему в современном русском языке изменению значения слова *супер* (ср. широкое употребление в рекламе слова *суперцены* как ‘низкие, сниженные цены’, значение которого возникло в результате исторического изменения семантики ‘сверх, свыше’ → ‘хорошо, лучше’ → ‘ниже’).

4. Семантическая модель “**напротив/наоборот**” → “плохой, злой, дурной”.

Разговорное русское *пакостный* означает ‘мерзкий, отвратный, очень плохой, скверный, вызывающий отвращение’ и ‘делающий пакости’. Значение практически не изменилось по сравнению с тем, что отмечал В. Даль (*пакостный* ‘скверный, гадкий, мерзкий’; ‘нечистый, оскверняющий’; ‘зловредный, злонамеренный’)¹⁷. В древнерусских текстах, начиная с XI в., *пакостный* – это ‘вредный, губительный’ (*Недугъ пакостныи раждаютъ*), ‘вредящий, препятствующий чему-л.’ (*Горка бо бѣ [вода] родомъ и бѣдно пити ея, и на чадоплодьства па-*

костьна), ‘испытывающий вред, поврежденный’ и ‘связанный с тяжелой, неприятной необходимостью’ (*уготовавъшая масло бес печали бѣаху...а уродивыя пакостьна врѣмене дожьдаша*)¹⁸. Прилагательное продолжает семантику производящего существительного *пакость*, которое в других славянских языках или известно лишь в просторечном употреблении и в говорах, а в общем употреблении от него сохранились только производные, или оно просто утрачено (ср. производные др.-рус. *пакостити* ‘причинять вред’, ‘мешать, препятствовать’, рус. диал. *пакоститься* ‘портиться’ (*Дорога стала пакоститься*. Новг.)¹⁹.

Наиболее распространенное объяснение происхождения общеславянского **пакость* исходит из того, что *пакость* образовано от *пак-*: *опак-* с суффиксом *-ость*. Однокорневыми образованиями видятся ст.-слав., др.-рус. *паки* (*пакы, пакъ*) ‘обратно’, ‘назад’, ‘наоборот’, ‘напротив’, ‘опять, вновь’, *пакибытие* ‘новое рождение, духовное обновление (в религиозном понимании)’, *опакы* ‘назад, в обратном направлении’, ‘напротив, наоборот’, *опако* ‘назад; задом наперед’, болг. *нак*, с.-хорв. *nâk* нареч. ‘между тем’, чеш., в.-луж., н.-луж. *nak* ‘но, снова’. Функционально близким в оценочном отношении русскому *пакостный* является с.-хорв. *opâk* ‘грубый, резкий, жестокий, злой’ и ‘дурной, испорченный, нехороший’ и *пакостан* ‘пакостный; злобный, ехидный, злорадный’ при *пакостити* ‘делать что-л. назло, вредить, портить’²⁰.

Как внешние для славянских лексем сближения определяются др.-инд. *ápâkas* ‘в стороне, позади’, лат. *opâcus* ‘тенистый’ (сострв. ‘противопоставленный’), др.-в.-нем. *abuh* ‘обращенный в другую сторону; обратный; враждебный’, ср.-в.-

нем. *ebich*, арм. *haka-* ‘противо-’²¹. При таком сближении интересны в семантическом отношении факты севернорусских говоров: *паки* ‘грехи’ (*Что али я буду страдать за чужие паки?* Костр., 1914 г.), *пакиша* ‘левша’, *на пакишу* ‘изнанку, неладно’ (новг.), ‘наоборот’ (твер., 1820 г.), *пакорукий* ‘с изуродованной рукой (о чел.)’, ‘плохой работник’ (сев.-двин.) и т. п.²²

Таким образом, факты внутреннего и внешнего сравнения позволяют предложить семантическую модель ‘делать наоборот’ → ‘вредить, пакостить’, поэтому *пакость* *‘сделанное наоборот; вредное’. Эта модель актуализируется и внутренней формой русского прилагательного *противный* и близкого ему *отвратительный*. В связи с этим как маловероятное представляется предположение, выдвинутое в “Историко-этимологическом словаре” П. Я. Черных, что “лучше производить о.-с. **pakostъ* от о.-с. **kostъ*, с приставкой *rá-* (ср. *náгуба*), старшим значением можно считать что-нибудь вроде ‘костный нарост’, откуда позже ‘болезнь’ (подагрическая?), отсюда далее – ‘вред, несчастье, зло’”²³. Это предположение сделано на том основании, что в.-луж. *rakość* ‘костный нарост’, а ‘болезнь’ (в частности, о проказе) – одно из значений др.-рус. и ст.-слав. *пакость* в ряду других, не связанных с обозначением какого-л. вида болезни (ср. ‘зло, вред, ущерб’; ‘поругание’; ‘беспокойство; ‘препятствие’; ‘тяжелое испытание, несчастье’; ‘нечистота, мерзость’²⁴). Скорее в этом случае можно видеть разрыв этимологических связей между *пакы* (*паки*, *пако*) и *пакость*, сближение последнего с *кость* как народную этимологию. Историко-культурная значимость признака, предположительно отраженного в дескриптивной части значения лексемы *пакость* (как *на-и кость*), не такова,

чтобы стать основой для формирования частно- и общеоценочного значения (если только не допускать, что заболевания кости/костный нарост был бичом древних славян?!). Поэтому и маловероятно семантическое развитие ‘костный нарост’ → ‘болезнь’ → ‘вред, зло’. Видимо, здесь реализация культурного сценария, по которому плохо то, что вопреки желанию/против блага человека делается.

5. Семантическая модель “**далекий/дальний**” > “чужой”, “плохой, злой, дурной”.

Реконструкция генетических отношений средств выражения общей отрицательной оценки общеиндоевропейского уровня показала, что в целом ряде индоевропейских языков есть неотделяемая приставка как продолжение и.-е. *dus-, означающая ‘нечто противное’, ‘трудное’ или ‘дурное’ и выступающая в качестве первой части сложных слов (др.-инд. dus-, dur-, авест. duš-, duž-, арм. t-, греч. δύσ-, кельт. do-, du-, гор. tuz-, др.-англ. tor-, др.-в.-нем. zur-): греч. δύσ-εργος ‘трудно исполнимый’ (εύ-εργός ‘хорошо поступающий, удобный для обработки’), δύσ-ελπις ‘потерявший надежду, безнадежный’ (εὖ-ελπις ‘имеющий хорошую надежду’), δυσμενής ‘враждебный, неприязненный’ (=др.-инд. dur-mánas-), dušṭa ‘злой, плохой’, dur-vargha ‘неприятного цвета’, ‘серебро’ при su-várga ‘красивого цвета’, ‘цвета золота; золото’, сак. duš-darrau- ‘имеющий злую волю’, перс. dušman ‘враг’, гор. tuz-werjan ‘сомневаться’²⁵. В славянских и балтийских языках и.-е. *dus- ‘плохой’ не оставило следов (не считая слав. *dъždь ‘дождь’ < иран. *duž-diu-).

Для и.-е. *dus- имеется два этимологических решения. В первом случае и.-е. *dus- связывают с понятием “чужой, дальний” (*dus- = “das Fremde, Entfernte”)²⁶. Во втором случае

как правдоподобная оценивается связь с **deus-* ‘недоставать, не хватать, ermangeln’²⁷ и предполагается продолжение в славянской традиции индоевропейской, образующей представление о ‘плохом’ из исходного ‘недостаток/излишок/непарность’, ср. историю и происхождения рус. *лихой* (при отсутствии прямых продолжений и.-е. **dus-*).

Исторически ранний случай реализации связи понятия “плохой” с “ дальний, не-близкий” и “чужой” усматривается в спорадически встречающемся в индоарийских, иранских и славянских языках префиксе *ku-*, формально-семантическое становление которого связывается с собственно вопросительно-неопределенным местоименным корнем **kw-* и членом привативной оппозиции “ближнее” (-i-) — “далнее” (-u-) в составе местоимений. “Видимо, в данном случае возобладало понятие “дальний” с последующим семантическим развитием в ‘чужой’ (ср. слав. *онъ свѣтъ* ‘дальний’, т.е. ‘пограничный, мир’) и ‘плохой’”²⁸. В древнеиндийском языке *ku-* придает словам пейоративное значение, значение ущербности (*ku-karman* ‘дурное деяние’, *ku-saga* ‘порочный, безнравственный’, *ku-putra* ‘худший сын’, *ku-grāma* ‘убогая деревня; маленькая деревня; деревня, где нет раджи, реки’ и т. п.). Препозитивное *ka-* усиливает оценочный оттенок и может использоваться как в положительном, так и отрицательном плане (*kā-pura* ‘какую (могучую) крепость имеющий’, *ka-agni* ‘маленький огонь’, *kā-pathan* ‘плохая дорога’. Аналогичные значения привносят препозитивные местоименные элементы *kad-// kat-*, *kim-*²⁹. Префикс *ku-* может быть поставлен в ряд аналогичных образований в иранских (авест. *kū-nāīrī-* ‘распутница, дурная женщина’, перс. *kanīr* ‘лентяй; обжора’< **ka-*

nагуа- и др.) и славянских языках (в виде *ка-, *ко- *ку-, *къ-, *ча-, ѿ- прослеживается с пра-славянского периода, однако часть из них отмечена лишь в отдельных языках), ср. *каверза*, *ко-верза* < *ка-*, *ко-* + *върз- ‘вязать, плести’ при *ко-верзни* ‘лапти’, *ко-улок* ‘глухой заворот; грязный, непроезжий переулок’ и др.³⁰ В славянских языках с такими препозитивными элементами, возводимыми в конечном счете к индоевропейским местоименным основам, образуются не только имена, но и глаголы, ср. праслав. *кандыбати ‘идти прихрамывая или с трудом; ковылять’ (>рус. диал. *каньбать*, *шканьбать*), *самърѣти от глагола *търѣти (>болг. *чемрѣя* ‘хворать, чахнуть’), *серурити сѧ (>словен. *срігіти* сѧ ‘взъерошивать перья; важничать’) и др. Слова, образованные по этой модели, всюду оказываются на периферии общего продуктивного словообразования. Тем не менее они представляют немалый интерес своей “живучестью” в разных языках³¹.

Как видим, лексика разных индоевропейских языков сохраняет следы встреч, взаимодействия представлений, характеризующих категорию пространства и общей оценки, а также, вероятно, свидетельства исходной близости категории пространства и бытийности на глубоком доисторическом уровне. Нетрудно убедиться, что обозначенные семантические модели и стоящие за ними логико-философские оппозиции сохранили свою значимость и до настоящего времени.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959. S. 340 – 342 (далее: *Pok.*); Bader F. Etydes del composition nominale en micenien. 1: Les prefixes

melioratifs du Grec. Roma, 1969. P. 108; *Mayrhofer M.* Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Heidelberg, 1953 – 1964. Lfg. 20. S. 174; Lfg. 23. S. 478.

² *Pok.* S. 341.

³ *Friedrich J.* Einige hethitische Etymologien // IF. 1923. Bd. 41. S. 370 – 371.

⁴ *Schwyzer E.* Die altindischen und altiranischen Wörter für gut und böse // Festgabe Adolf Kaegi von Schülern und Freunden dargebracht zum 30. September 1919. Frauenfeld, 1919. S. 20.

⁵ *Илич-Свityч В. М.* Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский). Введение. Сравнительный словарь (б – К). М., 1971. С. 268 – 270.

⁶ Etymologisches Wörterbuch der Deutschen / W. Pfeifer etc. 1 – 2 Bde. Berlin, 1993. Bd. 2. S. 148 (далее: EWD).

⁷ EWD. Bd. 1. S. 372; *Walde A.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 3-te, neubearb. Aufl. von Hofmann J. B. Bd. 1 – 2. Heidelberg, 1938 – 1954. Bd. 2, prae- (далее: *Walde-Hofmann*); *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1964 – 1973. Т. 3. С. 369 – 370 (далее: *Фасмер*); *Черных П. Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 68 (далее: *Черных*).

⁸ *Lehmann W. P.* A gothic etymological dictionary. Leiden: E. J. Brill, 1986. S. 391 (далее: *Lehmann*).

⁹ *Paul H.* Deutsches Wörterbuch. 9., vollst. neu bearb. Aufl. Tübingen: Niemeyer, 1992. S. 747.

¹⁰ *Pok.* S. 1151 – 1152.

¹¹ *Lehmann.* S. 371.

¹² Там же.

¹³ Там же. S. 209.

¹⁴ *Льюис Г., Педдерсен Х.* Краткая сравнительная грамматика кельтских языков / Пер. с англ.; Ред., предисл. и примеч. В. Н. Ярцевой. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1954. С. 45; *Черных.* Т. 1. С. 173 – 174; *Lehmann.* S. 209.

¹⁵ EWD. Bd. 1. S. 74; *Walde-Hofmann.* Bd. 2. S. 612 – 614.

¹⁶ EWD. Bd. 1. S. 74; Bd. 2. S. 1480, 1490.

¹⁷ Словарь русского языка: В 4-х т. / Глав. ред. А. П. Евгеньева. 2-е изд., испр., доп. М.: Русский язык, 1981 – 1984. Т. 3. С. 12; *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. 3-е изд., испр. и доп. / Под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ. СПб.; М., 1903 – 1909 (1994). Ст. 15.

¹⁸ Словарь русского языка XI – XVII вв. М.: Наука, 1975 – 2002. Вып. 14. С. 129 – 130.

¹⁹ Черных. Т. 1. С. 615 – 616; Словарь русских народных говоров / Глав. ред. Ф. П. Сороколетов (Вып. 1 – 23), Ф. П. Филин (Вып. 24 – 37). Л.; СПб., 1965 – 2003. Вып. 25. С. 159 (далее: СРНГ).

²⁰ Фасмер. Т. 3. С. 188 – 189; Черных. Т. 1. С. 615 – 616.

²¹ Фасмер. Т. 3. С. 142.

²² СРНГ. Вып. 25. С. 156 – 159.

²³ Черных. Т. 1. С. 616.

²⁴ Словарь русского языка XI – XVII вв. Вып. 14. С. 130.

²⁵ Pok. Bd. 1. S. 227; Walde A. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, hgb. J. Pokorny. 3 Bde. Berlin; Leipzig, 1928 – 1932. Bd. 1. S. 816 (далее: *Walde. – Pok.*); Frisk Hj. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1954 – 1963. Bd. 1. S. 425.

²⁶ Ссылка в: Mayrhofer Lfg. 9. S. 54.

²⁷ *Walde. – Pok.* Bd. 1. S. 816: “Zusammenhang mit *deus-ermangeln*” ist sehr wahrscheinlich, dagegen solcher mit *duōū “zwei” als “entzwei” (z. B. Fick III 169), oder *dāu-“brennen, quälen” (Fick I 233) kaum zuzugeben”. *Frisk Hj.* Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1954 – 1963. Bd. 1. S. 425: “Idg. *dus- wird gewöhnlich mit äåýïäé “ermangeln” (s. 2. δέω) verbunden”. Есть предположение и о связи и.-е. *dus- с понятием “чужой” (ссылка в: Mayrhofer Lfg. 9. S. 54: *dus- =”das Fremde, Entfernte”).

²⁸ Красухин К. Г. Дейктические показатели в категориях времени и наклонения (на материале древних индоевропейских языков) // Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность, дейксис. М.: Наука, 1992. С. 244.

²⁹ Эдельман Д. И. (со ссылкой на Т. И. Оранскую) в работе: Иранские и славянские языки: Исторические отношения. М.: Вост. лит., 2002. С. 187 – 190.

³⁰ Эдельман Д. И. Иранские и славянские языки. С. 188 (здесь же ссылка на историко-этимологические исследования этих компонентов в славянских языках О. Н. Трубачев, Ж. Ж. Варбот, Н. В. Никончук, ЭССЯ).

³¹ Там же.

1.2.3

РУССКИЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ВНЕШНОСТИ: КОНЦЕПТ ‘ХУДОЙ’ В СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ *

Вариативность соотношения пространственных характеристик внешности человека и оценочности выявляет комплексный историко-этимологический и лингвокультурологический анализ: разные субкультуры с разной степенью подробности прописывают лексическими средствами структуру национально-специфического концепта ‘худой’ в его эволюции.

243

Важнейшей задачей современного языкоznания является осмысление языковых фактов через призму лингвокультурологических методов анализа, через концептуальный анализ представлений, формирующих языковую картину мира (Н. Д. Арутюнова, Ю. Д. Апресян, Т. И. Вендина, Е. В. Урысон, А. Д. Шмелев, Е. С. Яковлева и мн. др.). Человек отразил в языке свой физический облик, свои внутренние состояния, отношение к себе и окружающему миру, вписал себя в окружающее прост-

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для молодых российских ученых, кандидатов наук и их научных руководителей № МК-6322.2006.6.

ранство, охарактеризовал себя как элемент этого пространства.

Понятие пространства относится к числу самых существенных в картине мира, пространство — это “одна из первых реалий бытия, которая воспринимается и дифференцируется человеком. Оно организуется вокруг человека, ставящего себя в центр макро- и микрокосмоса”¹. Объекты, наполняющие окружающее нас пространство, воспринимаются нами одновременно с их внешними свойствами, в первую очередь — с их количественными физическими параметрами, размерами, то есть высотой, глубиной, габаритами, объемом и др.² Количественные физические параметры характеризуют объекты по величине и тем самым отражают их способность занимать определенные части пространства. Следовательно, описание параметрической характеристики человека может дополнить картину языкового моделирования пространства.

С развитием цивилизации, культуры изменяются представления людей о мире, поэтому концепты, характеризующие мир и человека, также изменчивы, они отражают специфику мировоззрения носителей языка на разных этапах развития национальной культуры и ее субкультур. Синхронно-диахронный анализ семантической деривации в лексико-семантическом поле ‘худой’ в русском литературном языке, говорах и городском просторечии позволяет исследовать фрагмент языковой картины мира, характеризующийся пространственно-параметрическими признаками как презентацию национального культурно значимого концепта.

Выбор в качестве единицы анализа имен прилагательных обусловлен тем, что слова именно данной части речи наиболее ярко поз-

воляют выразить отношение к явлению действительности, совмещая в своей семантической структуре семантический и прагматический аспекты языка³. В адъективной лексике “удивительным образом сочетаются как собственно признаковое обозначение, так и особенности восприятия данного свойства, т.е. лингвистические данные по существу соседствуют со сведениями ... экстралингвистического плана”⁴.

Слова с параметрическим значением как языковые элементы, репрезентирующие русский национальный образ внешности, рассматривались в научной литературе чаще всего в синхронном плане попутно в связи с какой-либо определенной проблемой и не были предметом специального комплексного историко-этимологического и лингвокультурологического описания, позволяющего представить не только структуру концепта ‘худой’, но и его эволюцию⁵.

245

Анализируемый концепт представляют 16 лексических единиц литературного языка и большой ряд синонимичных им лексем в территориальных вариантах русского языка (более 170 слов). Многочисленность элементов лексической группы открывает возможность для более полного охвата разнохарактерных процессов семантического развития. Материал же русского городского просторечия представлен достаточно фрагментарно, и историко-этимологический анализ просторечных слов затруднен из-за отсутствия сводных лексикографических источников. Основной интерес представляет со-поставление материала литературного языка и говоров, то есть кодифицированного языка, с одной стороны, и территориально варьируемого языка крестьянского населения — с другой.

Каждая разновидность русского языка по-своему отражает внелингвистическую реальность, представляя свое видение анализируемого нами фрагмента русской ЯКМ в разных субкультурах в пределах общей национальной культуры. Как отметил А. Д. Шмелев, “иногда различия между разными языковыми картинами мира внутри одного языка оказываются больше, чем межъязыковые различия”⁶. В нашем случае диалектный материал отличается не только значительно большим количеством единиц, но и числом признаков, коррелирующих с признаком худобы. Эти различия обусловлены разницей в бытовом укладе, характере труда, уровне образования, особенностями мирапонимания представителей этих субкультур в пределах общерусского языкового сознания. Если данные литературного языка представляют культуру прежде всего образованного слоя русской нации, то в диалектной, территориально варьируемой, разновидности языка находит свое отражение крестьянская культура, культура простого народа, разница между которыми зависит от принятых в этих субкультурах эталонных представлений о телосложении человека. “Различные субкультуры, — писали Дж. Лакофф и М. Джонсон, — в составе некоторой магистральной культуры обладают базисными ценностями, но присваивают им разные индексы приоритетов”⁷. Просторечную субкультуру можно назвать промежуточной, поскольку просторечие — это “относительно устойчивая наддиалектная система с рядом “собственных” показателей на всех языковых уровнях, имеющая собственную языковую базу, при этом обладающая общими языковыми чертами как с литературной разговорной речью, так и с диалектами”⁸.

Историко-этимологический анализ показал, что группа адъективной лексики, обозначающей небольшой объем тела человека, прошла длительный путь эволюционного развития, претерпев изменения как в количественном, так и в качественном отношении на семантическом уровне.

Проанализировав историю и этимологию каждого прилагательного, мы пришли к выводу, что истоки формирования концепта ‘худой’ относятся еще к индоевропейскому периоду. На лексическом уровне это выражено двумя лексемами — **тонкий** и **либивый**.

Русское **тонкий** и его однокорневые соответствия в других славянских языках продолжают индоевропейскую основу ***ten-** ‘длинный, вытянутый; тонкий; худой’, в которой прослеживаются синкетично представленные значения большой длины, худобы, слабости, ср. санскр. **tanu** ‘слабый’, ‘тонкий, худой; худощавый’, ‘маленький, малый’, **taniman** ‘слабость’, ‘худоба; худощавость’, перс. **tanuk** ‘тонкий, нежный’, ‘редкий’, ‘мелкий’ и др., осет. **tæn** ‘тонкий, тонкая лепешка’, ‘жидкий, редкий’, лат. **tenuis** ‘тонкий’, ‘узкий’, ‘худой, худощавый’, греч. **ταῦνος** – в сложных словах со значениями ‘тонкий’, ‘длинный’, лит. **tevas** ‘тонкий’, с тем же значением др.-в.-н. **dunni** (совр. нем. **dünn** ‘тонкий, худой, стройный’), англ. **thin** и нек. др.⁹ Учитывая факт, что др.-инд. **tanu-** имеет значение ‘мелкий’, ‘тонкий, худой’, можно предположить, что семантика худобы у слов с данным корнем сформировалась еще в индоевропейский период (от параметрического признака ‘вытянутый’ > ‘тонкий’ > ‘худой (о человеке)'). Подобный семантический переход см., например, в более позднем образовании – русском диалектном прилагательном **истяжной** ‘вытянутый’, ‘худой’.

Праславянское ***libъ (либивый)**, которое связано чередованием с ***lēbavy¹⁰**, является производным и.-е. ***lei(bh)-** ‘уменьшаться, худеть, погибать’. В близкородственных балтийских языках представлены однокорневые образования, ср. лит. **lāibas** ‘тонкий, стройный’, **laibēti** ‘становиться тонким, стройным’, лтш. **laībs** ‘худой, хилый’ и нек. др.¹¹ Тот же индоевропейский корень ***lei-** с расширителями **-l-** и **-s-** продолжают лтш. **liēls** ‘большой’, лит. **lielas** ‘то же’ и лит. **lięsas** ‘худой, тощий’ и нек. др.¹², возможно, сюда же относится греч. **λειρός** ‘худой и бледный’¹³. Ю. Покорный считает продолжением индоевропейского корня ***lei-** слова, развивающие в разных индоевропейских языках в основном семантику слабости, болезни, малого размера¹⁴. Таким образом, параметрические признаки ‘длинный, вытянутый, высокий’ и сопутствующий признак ‘слабый’ еще на индоевропейском уровне структурируют концепт ‘худой’.

Часть анализируемой лексической группы, являющаяся по происхождению общеславянской, реализует в качестве мотивирующего параметрический признак ‘маленький, (занимающий небольшую часть пространства)’, ср. русск. диал. **дробный** ‘худой’, блр. **дробны** ‘мелкий, небольшой, щуплый’, ‘худой сложеньем’, **драбнавіды** ‘худощавый’, **здрабнелы** ‘похудевший, небольшой’, чешск. **drobný po hube** ‘худой, испитой с лица’, ср. также алб. **drobit** ‘обессилеть, истощать’, **drobitje** ‘истощение’¹⁵. В качестве мотивирующих в этот период выступают также признак слабости здоровья (**млявый**), общеотрицательный признак ‘плохой’ (**худой**), ‘костлявый, с выпирающими костями’ (производные от ***kostь**), ‘скудный’ (**щуплый**), ‘сухой, высохший’ (**сухой**).

Некоторые из приведенных признаков, структурирующих концепт ‘худой’ на индоевро-

пейском и общеславянском уровне, сохраняя свою актуальность, выступают как мотивирующие признаки и в восточнославянский период при образовании новых лексических единиц: ‘слабый’ (**тщедушный, морной, дохлый**), ‘сухой, высохший’ (**подсухий**). На восточнославянском этапе значение небольшого объема тела получает осмысление и через признак общей отрицательной оценки (**ледащий**).

Большинство исследуемых прилагательных приобретают семантику худобы уже непосредственно в период самостоятельного существования русского языка, и — как показал анализ — образование новых лексических единиц шло в основном по уже известным с древности моделям. Прежде всего, это параметрические модели: ‘длинный’ > ‘худой’ (**голенастый, галямый, жигулистый, жаровой, истяжной** и др.), ‘маленький’ > ‘худой’ (**дрязгий, пиглявый** и др.). В лексике, получившей значение ‘худой’ как переосмысление параметрических признаков в период существования собственно русского языка, обнаруживаются следующие новые семантические модели: ‘кривой, изогнутый’ > ‘худой’ (**вихлявый, подвихлый, дибльный**), ‘пустой’ > ‘худой’ (общерусск. **тощий**, дигл. **безживотный, безнутрый, бескишечный**), ‘поджатый’ > ‘худой’ (**поджамший, подфильй, подчеревый**), ‘дошедший (до чего-либо)’ > ‘худой’ (**дошлый, доходной**).

Подводя итог, отметим, что параметрическая характеристика небольшого объема тела человека изначально, с индоевропейских и праславянских времен, могла сочетаться с признаком негативной оценки ‘слабый’. Это проявляется в том, что основная масса русских прилагательных, имеющих индоевропейские, общеславянские и восточнославянс-

кие истоки, оценивала худое телосложение человека через признаки с отрицательной оценкой. Исключением является слово **тонкий** с мотивирующим пространственно-параметрическим признаком, не имевшее, вероятно, изначально прагматической оценки. Это прилагательное могло характеризовать представителя другой культуры — человека из высшего сословия (обычно женщину) как привлекательного внешне.

В новое время представления об эталоне внешности человека во многом связаны с социальным положением людей. Этот вопрос поднимал еще Н.Г. Чернышевский в диссертации “Эстетические отношения искусства к действительности”. Автор выделил два основных типа эстетически привлекательной внешности — “простонародный” и “светский”¹⁶. Если в простонародном представлении худоба однозначно характеризовалась негативно как следствие болезни, бедности, то с точки зрения светского человека могла оцениваться и как внешне привлекательный тип телосложения.

Эта тенденция прослеживается в современном русском литературном языке, где, в отличие от диалектов¹⁷ и просторечия в связи с изменением норм телосложения, наблюдается движение к мелиоративной оценке (или, по крайней мере, к нейтральной характеристике) признака худобы. В литературном языке в структуре концепта ‘худой’ наблюдается “расщепление” на ‘худой (избыточно)’ и ‘худой (в пределах нормы)’, что отражается на языковом уровне в существовании двух синонимических рядов с разной оценкой в зависимости от степени худобы¹⁸. Первый синонимический ряд с доминантой **худой** — **тощий, костлявый, испитой, исхудальный, тонкий, щуплый, щедущий** — определяется

как не соответствующий современной культурной норме, поскольку он характеризует небольшой объем тела человека как следствие болезней, голодания, неблагоприятных условий и т. п. Второй ряд с доминантой **худощавый** – **жилистый, поджарый, поджаристый, субтильный, сухой, сухощавый, сухопарый, тонкий** – указывает на то, что умеренная худоба удовлетворяет современным требованиям к телосложению человека.

В настоящее время в русской концептосфере исследуемый концепт худобы имеет точки соприкосновения с другими концептами, что, в частности, выражается в корреляции в пределах семантической структуры одного слова значения ‘худой’ с другими значениями.

На материале говоров в настоящее время концепт ‘худой’ имеет точки соприкосновения в первую очередь с параметрическими концептами ‘высокий’ (**будылястый, жигулистый, истяжной, подчигарый, прогонистый** и др.) и ‘малый’ (**морной, щадный, недодяглый, недородный, недокументенный** и др.). Используя в своей структуре параметрические признаки, анализируемый концепт пересекается и с важнейшим концептами общей отрицательной оценки ‘плохой, дурной’ (**ледащий, плохой, некошной, дикий, невенный, непоряющий, пиглявый** и др.), эстетической привлекательности / непривлекательности ‘некрасивый, невзрачный’ (**ледащий, недокументенный, суресный** и др.) и некоторыми другими (концепт здоровья / незддоровья, концепт этической оценки и др.). Особенно следует выделить обширную группу диалектных слов, имеющих наряду с ‘худой’ и общее отрицательное значение ‘плохой, дурной’, сочетающихся параметрическую характеристику телосложения и признак, принадлежащий аксиоло-

гической шкале оценок. Наиболее ярко негативная характеристика худого телосложения проявляется в словах, в семантике которых происходит сужение значения — перенос от общеоценочного к частнооценочному параметрическому значению ‘худой’, в таких словах, как **плохой, ледащий**, и, возможно, **некошной**. То есть в народном мировидении настолько однозначно отрицательно оценивалось худое телосложение человека, что параметрический признак внешности — худоба — характеризовался как частное проявление общеотрицательного признака. Все сказанное подчеркивает значимость признака худобы в русской концептосфере, в системе культурных ценностей, в определении идеального телосложения человека.

По данным материала городского просторечия, в сознании его носителей концепт ‘худой’ имеет пересечение в основном не с пространственно-параметрическими характеристиками, а с концептом здоровья / незддоровья (**доходной, дохлый, ледащий**). Для носителей просторечия, по всей видимости, параметрический аспект характеристики внешности человека не был актуален.

В отличие от диалектного и просторечного материала, данные русского литературного языка показывают, что концепт ‘худой’ на современном этапе, с одной стороны, сохраняет свое признаковое поле и строится на основе изначально структурирующих его признаков параметрического характера (**тонкий, поджарый, субтильный**) и ‘слабый’ (**испитой, тощий, тщедушный, щуплый**). С другой стороны, признак ‘худой’ оказывается смежным (в пределах семантики одной лексемы) с рядом других признаков: ‘ветхий, старый’ (**худой**), ‘сильный, крепкий’ (**жилистый**), ‘деликатный, обходительный’

(**субтильный**), ‘аккуратный’ (**поджарый, сухощавый, тонкий, худощавый**), что показывает взаимодействие концепта худобы с рядом других концептов как негативного, так и позитивного содержания. В отличие от диалектно-просторечного материала, здесь более последовательно репрезентирована положительная оценка худого человека.

Таким образом, существует различие между вариантом фрагмента ЯКМ, отражающим худобу в русском литературном языке, с одной стороны, в говорах и просторечии — с другой. В диалектах концепт ‘худой’ представлен преимущественно по параметрическим признакам и более дифференцированно. Все сказанное подтверждает большую значимость исследуемого концепта для представителей крестьянской культуры.

Язык и культура каждого этноса формируются не изолированно, но и при взаимодействии языков и культур различных народов, представляя собой результат их взаимного влияния и обогащения. Основная масса исследуемых прилагательных является исконными по происхождению, заимствованный характер имеют только несколько слов со значением ‘худой’ в русском литературном языке и говорах. Ряд заимствованных прилагательных приобретает значение худобы в результате переосмыслиния пространственно-параметрических признаков. Так, в русском литературном языке лексема **субтильный** является латинизмом, появившимся в XVIII в. через посредство французского или немецкого языков, ср. франц. **subtil** ‘субтильный, хрупкий, тонкий, мелкий’, нем. **subtil** ‘тонкий’ < лат. **subtilis** ‘тонкий (о нити)’¹⁹. В качестве мотивирующего имеют пространственно-параметрические признаки

два диалектных прилагательных со значением небольшого объема тела — **капшивый** и **сурусный**. Тюркизм **капшивый** ‘небольшого роста и сухощавый, тщедушный’ фиксируется с XIX в.²⁰ (ср. татар. **капшобай** ‘тонкий, узкий, худощавый’). В других тюркских языках представлены однокорневые слова с семантикой узости, сдавленности, например, кирг., алт. **капчал** ‘горное ущелье’, ‘узкая и длинная горная долина’, ‘горный проход’ и нек. др.)²¹. Прилагательное **сурусный** ‘маленький, тощий, плохенький, невзрачный’, зафиксированное в XIX в.²², наряду с однокорневыми словами с семантикой небольшой величины, малого количества **суруска, суружка** ‘крошка, крупинка, зернышко, соринка’, **суруско, суруску** ‘мало, немного’ возводят к олонецкому **suurus**²³, ср. также олон. **suurukse** ‘мучная болтушка для похлебки, крошево’, фин. **suurus** ‘замес, примес’, ‘приправа’, ‘еда’, ‘завтрак’²⁴. Таким образом, пространственно-параметрические характеристики были настолько важными и устойчивыми для формирования русского концепта ‘худой’, что заимствования актуализировали те же самые мотивирующие признаки, что и исконные единицы.

Как известно, исторически русская культура складывалась в русле дохристианских воззрений славян, в системе ценностей которых имелось представление о важности и взаимообусловленности явлений большого объема тела, физической силы, здоровья и красоты. Худоба, как показали результаты нашего исследования, в данном мировоззрении однозначно оценивалась негативно. Принципиальные изменения взгляда на телосложение возникли под влиянием христианского мировоззрения и культуры, резко разграничивших материаль-

ный и духовный мир, когда человек стал рассматриваться в рамках оппозиции “душа и тело”. Наличие худого и некрасивого тела, согласно данному мировоззрению, не предполагало наличия плохой души, но тем не менее худое тело в древнерусскую эпоху в основном не характеризовалось как эстетически привлекательное явление.

В старорусский период (XIV – XVII вв.) сохраняются древнерусские прилагательные со значением худобы и невзрачности; фиксируется прилагательное **щуплый** ‘маленький, худой’, отрицательно оценивающее параметрические признаки внешности человека; появляются производные от **сухой**, которые отражают начало процесса изменения представления о норме телосложения, оценивая со временем умеренную худобу тела человека без отрицательной коннотации.

Дальнейшее изменение оценки телосложения человека происходит в XVII – XVIII вв., в эпоху становления русской нации, русского национального языка и культуры, влияния западноевропейских языков и культуры. В процессе эволюции семантики группы прилагательных со значением ‘худой’ меняются внутренние связи ее членов: в литературном языке формируются два синонимических ряда, по-разному оценивающих худое телосложение, что тоже говорит об изменении структуры исследуемого нами концепта. Пространственно-параметрические признаки, таким образом, уже взаимодействуют с эстетическими. Происходит разрушение этических и эстетических оценок средневекового мировоззрения, согласно которому человек, его внешность и внутренний мир могли оцениваться однозначно положительно либо отрицательно; и человек в харак-

теристике языковой и литературной картины мира предстает уже как явление сложное и неоднозначное.

Последующая народная (диалектно-просторечная) культурная традиция была ориентирована именно на прагматический аспект в оценке телосложения, поэтому почти вся лексика (преимущественно в говорах), отражающая концепт худобы, до последнего времени имела отрицательную оценку. С точки зрения диалектоносителей (и в меньшей степени — для носителей городского просторечия) худой человек, как правило, является больным и, следовательно, характеризуется как плохой работник, а эстетическая оценка телосложения непосредственно вытекает из прагматической. В диалектной языковой системе, как правило, вступают в корреляцию параметрические признаки и признаки силы и здоровья, приписываемые людям, имеющим достаточно большой объем тела, ср. устойчивый фольклорный эпитет в словосочетании *дородный добрый молодец*.

Эстетические критерии оценки телосложения человека и его внешности на современном этапе в целом изменяются (в литературном языке и отчасти в говорах) в том плане, что прежние параметры внешней привлекательности, существовавшие на протяжении долгого времени, — большой рост, крупное телосложение, физическая сила — постепенно утрачивают положительную оценку.

Итак, проведенный диахронный анализ языковых средств выражения параметрической характеристики человека позволяет поставить ряд важных вопросов, таких как соотношение пространственных характеристик и оценочности в языковой картине мира. Количественная сторона параметрического признака,

таким образом, приобретает аксиологическую окрашенность.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Так В. Г. Пространство вне пространства // Логический анализ языка: Языки пространств / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова, И. Б. Левонтина. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 127.

² Рябцева Н. К. Размер и количество в языковой картине мира // Там же. С. 108 – 116; Семенова С. Ю. О некоторых свойствах имен пространственных параметров // Там же. С. 117 – 126.

³ Николаева Т. М. Качественные прилагательные и отражение “картины мира” // Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии. М., 1983. С. 235.

⁴ Спиридонова Н. Ф. Язык и восприятие: семантика качественных прилагательных: Дис. ... канд. филол. наук. М., 2000. С. 142.

⁵ Богуславский В. М. Человек в зеркале русской культуры, литературы и языка. М.: Космополис, 1994. 238 с.; Васильевич А. П. Концепт телосложения в восприятии наивного носителя языка: часть и целое // Язык и когнитивная деятельность. М., 1989. С. 114 – 125; Кузнецова Н. Н. Имена прилагательные, определяющие возраст и внешность человека в русских народных сказках: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1997. 254 с.; Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Сост. Ю. Д. Апресян и др. М., 2000. Вып. 1 – 2. С. 400 – 403 (далее: Апресян); Попов Р. Н. Орловская лингвистическая школа // Образование и общество. 2001. № 4 (10) // http://www.education.rekom.ru/4_2001/popov.html; Урысон Е. В. Эстетическая оценка тела человека в русском языке // Логический анализ языка: Концептуальные поля прекрасного и безобразного / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова. М.: Индрик, 2004. С. 471 – 486.

⁶ Шмелев А. Д. Русская языковая картина мира: Материалы к словарю. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 15.

⁷ Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры: Сб. / Общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской. М.: Прогресс, 1990. С. 405.

⁸ Юнаковская А. А. Омское городское просторечие: Фразеология: Словарь. Омск: Вариант-Сибирь, 2004. С. 4.

⁹ Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959 – 1969. S. 1069 (далее: *Pok.*); Buck A. D. A dictionary of selected synonyms in the principal indo-european languages. Chicago, 1949. S. 889; Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958 – 1989. Т. 3. С. 261 – 264; Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. 2-е. изд. М.: Русский язык, 1976. С. 766; Семерены О. Введение в сравнительное языкознание / Пер. с нем. Б. А. Абрамова; Под ред. и с предисл. Н. С. Чемоданова. М.: Прогресс, 1980. С. 62; Черных П. Я. Историко-этимологический словарь русского языка. 2-е изд., стер. М.: Русский язык, 1994. Т. 2. С. 250 (далее: Черных).

258

¹⁰ Machek V. Etymologický slovník jazyka èeského a slovenského. Praha: Nakladatelství èeskoslovenské Akademie, 1957. S. 526; Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch des slavischen sprachen. Wien, 1886. S. 168 (далее: *Miklosich*); Pok. S. 661; Skok P. Etimologijski rjeènik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslavenska akademija znatnosti i umjetnosti, 1973. Т. 2. S. 239; Либерис А. Литовско-русский словарь. Вильнюс: Гос. изд-во политич. и науч. лит., 1962. С. 302 (далее: *Либерис*); Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд / Ред. О. Н. Трубачев. М.: Наука, 1974 – 2002. Вып. 15. С. 71 (далее: ЭССЯ).

¹¹ Miklosich; Pok; Либерис; ЭССЯ.

¹² Либерис; ЭССЯ.

¹³ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. 2-е изд., стер. / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачёва. М.: Прогресс, 1986 – 1987. Т. 2. С. 492 (далее: *Фасмер*); Этимологический словарь украинского языка / Сост. Р. В. Болдырев и др. Киев: Наукова думка, 1982 – 1989. Т. 3. С. 321 – 322.

¹⁴ *Pok.*

¹⁵ Краткий албанско-русский словарь. 13 000 слов / Сост. Р. Д. Коши, Д. И. Косталлари; Под ред. А. Косталлари. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГИС, 1951. С. 108; Тлумачальны слоунік беларускай мовы / Под ред. К. К. Атраховича (Кандрата Крапивы). Мінск: Галоуная редакцыя Беларускай савецкай энцыклапедыі, 1977 – 1984. Т. 1. С. 192; *Сцяшкович Т. Ф.* Слоунік Гродзенскай вобласці. Мінск: Навука і тэхніка, 1983. С. 131; ЭССЯ. Вып. 5. С. 122.

¹⁶ *Чернышевский Н. Г.* Эстетика. М., 1958. С. 55.

¹⁷ В говорах этот процесс проявляется лишь в небольшой степени: в последнее время (XIX – XX вв.) в анализируемом семантическом поле по-новому осмыслиается признак номинации ‘поджатый’ как ‘подтянутый, аккуратный’ (**подбористый**).

¹⁸ *Апресян.* С. 400 – 403; Словарь синонимов русского языка / Ред. А. П. Евгеньева. Л.: Наука. Ленингр. отд-е, 1970 – 1971. Т. 2. С. 660 – 661.

¹⁹ *Фасмер.* Т. 3. С. 793; *Черных.* Т. 2. С. 216.

259

²⁰ *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка / Репринтное воспроизведение издания 1903 – 1909. Под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ. М.: Прогресс-Универсал, 1994. Т. 2. С. 220.

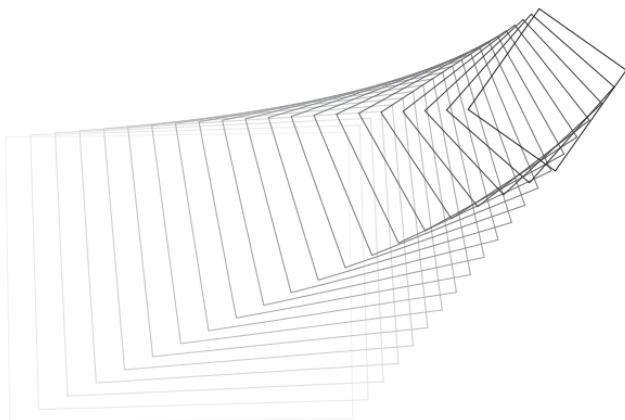
²¹ Этимологический словарь тюркских языков / Отв. ред. Г. Ф. Благова. М.: Языки русской культуры, 1997. Вып. 1. С. 273 – 274.

²² *Куликовский Г. И.* Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб.: Отделение рус. языка и словесности АН, 1898. С. 116.

²³ *Фасмер.* Т. 3. С. 808.

²⁴ *Вихрос И., Щербаков А.* Большой финско-русский словарь / Под ред. В. Оллыкайнен и И. Сало. 3-е изд., стер. М.: Русский язык, 1996. С. 603.

2. МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА



2.1

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ МЕТАФОРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВРЕМЕНИ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА*

Мы начинаем постигать пространство, прежде чем мы постигаем время. <...> Мы говорим, что время идёт. Что оно бежит. Что оно словно река. Мы представляем себе, что у него есть направление и длина, что оно может быть описано так, как мы описываем пространство.

Но разве время то же самое, что пространство?

Питер Хёг. Условно пригодные

263

В разделе анализируются исходные пространственные семантики, посредством которых категория времени метафорически может быть представлена в русской языковой картине мира. Вычленяются и описываются те фрагменты этой картины, в которых исходные пространственные образы эксплуатируются на системной (модельной) основе при актуализации темпоральных характеристик. Закономерности отслеживаются как на семантическом, так и на грамматическом уровне рассматриваемых моделей.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Оксфорд – Россия (Oxford Russia Fund).

Тот факт, что в основу понимания времени могут быть положены различные пространственные характеристики, отмечается многими исследователями (Н. Д. Арутюновой¹, Б. А. Успенским², А. Д. Шмелевым³, Е. С. Яковлевой⁴ и др.). Однако необходимо отметить следующие моменты. Осмысление категории времени не сводимо только к пространственным интерпретациям, что отмечают, например, Дж. Лакофф и М. Джонсон, анализируя языковую модель “время – деньги”, где время и его отрезки уподобляются чему-либо ценному для человека⁵. Да и в целом пространственная семантика минимально задействована при характеристике времени в субъектно-объектных метафорических моделях времени (а это целый корпус моделей): преимущественно только в той степени, что любое действие предполагает пространственную компоненту. Кроме того, эксплуатация пространственных образов при актуализации свойств времени в ЯКМ в большинстве случаев имеет опосредованный характер.

Анализ метафорических сочетаний, содержащих темпоральное значение, показывает, что единицы с исходной пространственной семантикой используются для описания времени только в некоторых случаях.

Пространственное значение может быть актуализировано при изучении таких особенностей метафорического моделирования категории времени в РЯКМ, как 1) определение направления движения времени, 2) различие циклического и линейного типов времени, 3) обозначение наличия, бытования каких-либо отрезков времени.

Но в первую очередь пространственные основы характерны для тех метафорических моделей, где при обозначении времени актуализиру-

ется семантика движения и связываемых с ним изменений. Такие модели в работе обозначаются как **языковые метафорические модели движения времени (ЯММДВ)**. В них целый ряд именных (прежде всего) темпоральных метафор имеет исходное пространственное значение.

В лингвистике среди исследователей нет единого мнения относительно количества языковых моделей движения времени и их “взаимоотношений”. Е. С. Яковлева, анализируя историю данного вопроса, приводит следующие взгляды на эту проблему: существует только одна языковая модель (ЯМ), согласно которой время *текёт, движется*, а человек лишь пассивно воспринимает его течение (Б. А. Успенский⁶, Т. В. Цивьян⁷); существуют две ЯМ, которые могут быть обозначены как “динамическая” (*время движется*) и “статическая” (*человек движется во времени*) с точки зрения “статики” или “динамики” времени в той или иной ЯМ (Е. С. Яковлева⁸).

265

А. Д. Шмелёв интерпретирует эти ЯМ в аспекте противопоставления исторической динамики образа времени: динамическая модель представляет этап “архаичного” восприятия действительности, статическая модель времени отражает особенности восприятия действительности современным человеком: “Несколько упрощая картину, можно сказать, что при “архаичном” подходе мир представляется стабильным, неподвижным, а время — движущимся (“идущим”, “текущим”) мимо него. /.../ Однако более современное представление о времени предполагает совсем иную картину: время постоянно и неподвижно, а человек, наблюдатель, движется через него в направлении от прошлого к будущему”⁹.

Е. С. Яковлева обозначает эти модели как *активную* и *пассивную*, акцентируя тем самым

“место” человека в данных ЯМ. То есть данная номинация образов движения времени обратна, “зеркальна” по отношению к ранее представленной — статической и динамической, — где на первый план выходит “позиция” времени. Е. С. Яковлева пишет о функциональной разведённости данных ЯМ: используя активную модель восприятия времени, говорящий обозначает либо те события, которые он пережил сам, преодолел, либо такие, которые ему предстоит пережить, где он мыслит себя *активным* участником; посредством пассивной модели описывается не зависящее от человека движение времени¹⁰. В классификации Н. Д. Арутюновой такие модели обозначены как модели Потока времени и Пути человека¹¹.

При всей разнице подходов к изучению проблемы языкового отражения движения времени можно выделить несколько общих принципиальных аспектов.

При описании языковых моделей всегда учитывается как положение времени, так и позиция человека по отношению к нему: время и человек выступают здесь как равноправные величины. Иначе говоря, в данном случае мы имеем дело с проявлением антропоцентричности как одного из главных признаков, отличающих языковую картину мира (ЯКМ) от научной картины мира (НКМ). И поэтому в дальнейшем, вслед за Т. В. Цивьян, мы будем рассматривать и определять время не как некое безотносительное понятие, а с точки зрения положения (самоидентификации) человека в той или иной ЯМ¹².

Во всех вышеприведённых описаниях ЯМ ключевым является понятие движения, через которое время, очевидно, только и может быть осмыслено в языке: либо время движется относительно человека, либо человек движется отно-

сительно времени. Следовательно, исходя из определения **движения** (перемещение в пространстве в каком-л. направлении; передвижение¹³), можно сделать вывод о том, что такое движение-перемещение подразумевает как минимум трёхкомпонентную структуру: 1) субъект движения; 2) пространство, в котором это движение происходит; 3) направление движения.

Анализ структурно-смысловых элементов языковых моделей (что осмысливается как субъект движения, как пространство, в рамках которого осуществляется движение, каково направление этого движения, а также то, какую позицию занимают время и человек в этих моделях) и средств их выражения позволяет выделить три типовые языковые метафорические модели движения времени (ЯММДВ): 1) динамическую модель; 2) статическую модель; 3) синхронные модели.

Каждая из выделенных в работе моделей движения характеризуется своеобразием роли человека и времени, их субъектно-объектных отношений и направления движения времени и человека, которое в большинстве случаев не эксплицировано и устанавливается только путём анализа других компонентов метафорической модели. Кроме того, рассмотрение ЯММДВ позволяет отметить некоторые закономерности осмыслиния времени в русском языке в плане линейной и циклической форм времени.

Уподобление времени (отрезков времени) элементам пространства особенно характерно в первую очередь для статической ЯММДВ, где обозначения пространственных элементов могут получать временную семантику в сочетаниях с генетивными определительными обозначениями времени: **порог третьего тысячелетия**, **дороги времени**: Мы **подошли к порогу Третьего**

Тысячелетия с громадными потерями, со страшным опытом разъятия и растления всего живого (Чернов); *Пути её жизни были прямы* (Голсуорси, перевод Станевич); *[Казахи] подписали паритетный договор с Россией в надежде на равноправное, совместное движение по дорогам времени* (Алимжанов). При такой интерпретации субъектную позицию при предикатах движения занимают обозначения человека, группы лиц, общественных, государственных органов и т. д., обозначение отрезков времени занимает позицию пространственного локализатора. Субъектная позиция времени возможна при предикате ожидания, фиксирующего пассивную позицию времени по отношению к “передвигающемуся человеку”: *нас ждут веселые каникулы*.

В качестве базового обозначения в таких случаях используются глаголы перемещения по траектории движения, обозначающие движение как вперед, так и назад, ядерные глаголы лексико-семантической группы (ЛСГ) перемещения, в том числе интегральный глагол движения *идти*. Кроме того, редко, но используются приставочные глаголы со значением достижения результата *войти*: *Войти в новое тысячелетие; Войти в лета (года)* и т. п. При этом скорость передвижения не маркируется, не используются в качестве базы метафорического осмыслиения наименования движения в других физических сферах (например, водное или воздушное пространство).

Как отмечалось, в этой модели время уподоблено пространству (*полю, дороге* и т. п.), а обозначения временных отрезков — физическим, пространственным ориентирам движения субъекта. Движется же (отметим, что понятие *движения* является, возможно, ключевым для понимания категории времени) в такой модели

человек. Одни [великие люди] умирали, едва достигнув зрелого возраста, другие едва дотягивали до сорока лет, **третью, перешагнув сорокалетний возраст**, влчили тем не менее жалкое существование и всё равно как бы погибали для общества (Зощенко); **Да, на дороге поколений, На пыли расточённых лет Твоих шагов, твоих движений Остался неизменный след** (Брюсов); **[Тот порыв]** был порывом дикого страха, который **привёл меня к самым чёрным дням моей жизни** (Искандер).

Отрезки времени, которые именуются в сочетаниях, представляющих данную модель (*войти в новый год, предстоящий день, идти к этому дню, нас ждёт тяжёлая неделя* и т. п.), позволяют сделать заключение о том, что человек в такой интерпретации движется в будущее. Подтверждением подобного рода выводов является и тот факт, что движение человека во (по) времени отражает закономерности его филогенеза, когда характерные особенности роста человека (взросление, старение и т. д.) метафорически представляются как этапы одностороннего движения по некоему жизненному пути от рождения к смерти.

Посредством анализируемых сочетаний метафорически обозначается и развитие человека как члена какой-либо социальной структуры, государства, общества, а также дается оценка исторических, социальных аспектов развития каких-либо общественных и государственных институтов. И если ориентация движения человека в рамках такой модели однодirectionalна (от прошлого к будущему), то движение государства и общества может осуществляться как вперёд (в будущее), так и назад (к прошлому).

В художественных текстах метафорические сочетания реализуют потенциальные воз-

можности языковых метафорических моделей: если какой-либо субъект движения обладает способностью перемещаться вперёд, то, следовательно, он гипотетически должен иметь способность двигаться и назад. Такая логика задаётся семантикой исходных значений метафорических переносов, их фреймовых структур. Например, в рассматриваемой статической модели движения времени такое свойство проявляется в том из значений, в котором метафорически интерпретируется движение общества в историческом “пространстве”: *Мы идём к (светлому) будущему; / Мы идём, возвращаемся (!) к прошлому (тёмному, мрачному и т. п.).* Определения со значением “степень освещённости” в такой ситуации могут служить дополнительным оценочным маркером. Отметим, что сочетания с подобной семантикой характерны, прежде всего, для публицистических текстов. Необходимо также заметить, что анализ статической модели выявляет неактуальность противопоставления языковых и художественных метафор, так как данная модель выражается преимущественно при помощи метафор второго типа. Скорее, здесь следует говорить о *первичности* (*идти вперёд*) и *вторичности*, производности (*идти назад*) метафор, отражающих то или иное направление движения времени (*вперёд* или *назад*).

В статической модели, в отличие от динамической и синхронной, “горизонтальная” вариативность движения человека во времени представлена несколько шире, что обусловлено наличием в семантической структуре метафор, отражающих эту модель, компонентов со значением пространства, в котором происходит движение: *столбовая дорога истории (столбовой):* главное направление в движении или развитии чего-л.),

окольные пути истории (окольный): лежащий в стороне от прямого, кратчайшего направления, делающий крюк, дугу (о пути, дороге), кружный) и т. п. Здесь следует отметить несомненную этическую ориентированность такого пространства, проявившуюся в семантике определений пространственных номинаций, метафорически воплощающих время: в структуру этической аксиологической модели “хорошо/плохо” русского языкового сознания включены противопоставления “второстепенный / главный” (*столбовой*) и “прямой / непрямой” (*окольный*).

В подавляющем же большинстве случаев в связи с тем, что траектория движения времени зачастую никак не обозначена, представляется целесообразным считать такое движение прямолинейным.

Следует отметить, что метафорические сочетания, составляющие статичную ЯММДВ, не могут быть охарактеризованы как ядерные метафоры времени в русской ЯКМ, так как имеют ярко выраженную книжную стилистическую маркированность и характерны прежде всего для публицистических текстов.

271

Исходное значение (ИЗ) пространственных характеристик может иметь и ряд метафорических определений времени. Это слова с семантикой размера, величины **длинный (ИЗ)** Имеющий большую длину; **результирующее значение (РЗ)** Длительный, продолжительный) и **короткий (ИЗ)** Небольшой, малый по длине; **РЗ** Непродолжительный, малый по времени): *Медленно и равнодушно проходит для неё [девочки] длинный день с его однообразными заботами* (Куприн); *Долг летний день да коротка неделя. А месяц мелькнёт, и не заметишь* (Лаптев). В такой интерпретации *отрезки времени* (что тоже само по себе пространственно-

временная метафора!) уподобляются отрезкам пространства, и для обозначения их величины оказываются вполне пригодными исконно пространственные характеристики.

Другую подгруппу метафорических пространственно-временных определений составляют слова со значением указания на близость или удалённость отрезка времени **близкий** (**И3** Находящийся неподалёку, на небольшом расстоянии; **Р3** Отделённый небольшим промежутком времени, вскоре наступающий), **недалёкий** (**И3** Находящийся, происходящий на небольшом расстоянии; **Р3** Такой, который происходил, имел место недавно или произойдёт, наступит вскоре), **далёкий** (**И3** Находящийся, происходящий на большом расстоянии; **Р3** Отделённый большим промежутком времени; происходивший в давнее время; относящийся к давнему времени), **дальний** (**И3** То же, что далёкий; **Р3₁** Отдалённый по времени; **Р3₂** Относящийся к давнему прошлому): *Но близок день, лампада догорает* (Пушкин); *В феврале чуткий нос уж чувствует в воздухе мягкое веянье близкой весны* (Гончаров); *Пришлось вспомнить то что недалёкое прошлое*, когда неразумно проживалось отцовское добро (Чехов); *Несмотря на то что недалёк был уже вечер...* было душно (Гайдар); *Но тихо. День ещё далёк, И люди спят кругом* (Твардовский); *И не он ли, Фишка Теченин, в далёкие годы* был неустанным зачинщиком веселья на всех деревенских играх? (Марков); *Вспоминают впечатления самого дальнего прошлого*, где сновидения сливаются с действительностью (Вересаев); *Во времена дальние* приезжал в Ленкорань некий любитель-ботаник (Соколов-Микитов). В обеих подгруппах прослеживается единство исходных значений и единство переносных, что дале-

ко не всегда характерно для групп метафорических определений времени.

В наиболее распространённой в русском языке **динамической ЯММДВ** время (и его отрезки) представляются в виде материи, субъекта, движущихся мимо (или через) человека, который пассивен по отношению к этому движению. Время в этой модели уподобляется человеку (*время идёт, бежит*), животным (*время летит, ползёт*), водному потоку (*время течёт, льётся*) и т. д.

Данная ЯММДВ создаётся сочетанием имен времени, его отрезков с глаголами в переносном значении, исходным значением которых является “перемещение физического объекта в пространстве”. В сознании говорящего процессуальные характеристики времени имеют такие свойства, как поступательность перемещения, его самостоятельность и односторонность.

Время здесь не уподобляется пространству или пространственным фрагментам. Пространство вообще может быть не актуализировано в этой метафорической модели, его образ задействован опосредованно в такой мере, в которой пространство необходимо для осуществления представления движения. Поскольку движение — это всегда перемещение из одной точки пространства в другую, то и метафорическое представление движения времени должно актуализировать пространственную семантику. Наиболее пространственные образы задействованы посредством глаголов со значением течения жидкости, когда время или его отрезки уподоблены потоку жидкости, реке. Иногда это приводит к появлению генетивных пространственно-временных конструкций “река времени”, “текение дней”, временного предлога “в течение”.

В этом случае движение времени выражается с помощью ЛСВ глаголов *течь*, *литься* и их префиксальных образований. Возможно, что поводом для данного метафорического переноса послужило содержательное сходство водного потока с представлениями человека о времени: его недискретность, постоянство течения и т. д. Можно предположить, что именно это семантическое ограничение явилось причиной того, что данная группа содержит так мало слов и пополняется только за счет префиксального словообразования. Все глаголы этой группы являются нейтральными относительно семы интенсивности. Приведем контексты с данными вариантами производящей семантики образа времени: *Время неверно сравнивают с рекой. Речная вода уходит, а время хоть и течёт, но с тобой остаётся* (В. Д. Иванов); *Как милы тёплые красы Ночей роскошного востока! Как сладко льются их часы* (Пушкин); *В пространство между завтра и вчера // бесследно утекают год за годом* (Губерман).

Имплицитные пространственные аспекты могут быть выявлены в моделях движения времени, как уже было сказано выше, при определении направления такого движения, которое в целом представляется затруднительным. Для решения этой задачи, прежде всего, необходимо разграничить те контексты, в которых говорится о течении (движении) времени как некоей безграничной величины (*время идёт, течёт*), и те, в которых обозначается движение каких-либо отдельных отрезков времени, градуированных человеком на том или ином основании (*час, день, век* и т. д.).

Необходимость такого разграничения обусловлена тем, что в зависимости от того, имеется ли в виду движение “безграничного” времени

или какого-либо его отрезка, находится сама возможность определения направления движения времени в принципе, так как в тех случаях, когда говорится о течении безграничного времени (*время идёт, дни бегут* и т. п.), направление его движения не может быть как-либо определено (или, напротив, его определение может оказаться вариативным, так как какой-либо более-менее объективной проверке эти умозаключения не могут быть подвергнуты).

Иные выводы позволяет сделать анализ тех случаев, когда говорится о движении каких-либо отрезков времени, так как временные промежутки всегда как-либо маркированы по их принадлежности к будущему, прошлому или настоящему, и, соответственно, представляется возможным проследить направление их перемещения. Обозначения отрезков течения времени либо сочетаются с приставочными глаголами перемещения, при этом приставки маркируют направленность движения (*у-* — удаление, *при-* — приближение, *про-* — сквозное проникновение и т. д.), либо семантика направленности движения выражается лексически в их значении. Движение отрезков времени выражается при помощи следующих сочетаний: *близится полночь, день уходит, год прошёл, приближается ночь* и др. Проанализируем подробнее одно из этих выражений со словом ***приближаться*** (ИЗ Переместиться на более близкое расстояние к кому-, чему-л.; РЗ Стать близким по времени). Рассмотрим ситуацию, которая метафорически обозначается посредством выражения *приближается ночь*: человек стоит в некоем пространстве, обратившись лицом в ту сторону, где расположено будущее, ему навстречу движется *ночь*. (Понимание будущего как того, что *впереди*, а прошлого — того, что *позади*, зафик-

сировано в словарных статьях “впереди” и “позади”, кроме того, такая закономерность отмечается и многими исследователями: “...*впереди* всегда относится к будущему, а *позади* — к прошлому”¹⁴; “...будущее ассоциируется у нас с тем, что “впереди”, прошедшее — с тем, что “позади” нас”¹⁵ и т. д.). Таким образом, *ночь*, находящаяся ещё *в будущем*, *идёт, приближается* к ожидающему её человеку, находящемуся *в настоящем*, и постепенно *ходит в прошлое*. То есть отрезки времени в такой интерпретации *всегда* понимаются как приходящие откуда-то *спереди, из будущего*. В качестве иллюстрации, подтверждающей приближение времени именно навстречу человеку, могут быть приведены следующие строки: *Попрыгунья стрекоза Лето красное пропела; Оглянувшись не успела, Как зима катит в глаза* (Крылов). Отнесённость ещё не наступивших отрезков времени, событий к области *прошлого* достаточно чётко обнаруживает себя во внутренней форме слова в номинации времён: *прошлое* — “то время, которое уже *прошло*”. Данная особенность номинации может рассматриваться и в качестве одного из доказательств того, что *динамическая ЯММДВ* является доминирующей в РЯКМ, поскольку именно для этой модели характерно такое осмысление направления движения времени.

Во всех ситуациях, рассмотренных выше, независимо от того, кто в них является субъектом движения (время или человек), и от того, в каком направлении происходит такое движение (из прошлого в будущее или из будущего в прошлое), движение возможно только *вперёд*.

Кроме направленности, всякое движение предполагает какую-либо траекторию и может быть охарактеризовано и по её форме (в “горизонтальной” и “вертикальной” плоскостях): пря-

молинейное, параболическое и т. д. Однако в случае с движением *времени* такой параметр, как траектория, актуализируется очень редко. Анализ тех немногочисленных случаев, в которых траектория движения времени как-либо обозначена, позволяет сделать следующие выводы.

В “вертикальной” плоскости движение времени может быть уподоблено *дугобразной кривой — день клонится к вечеру, его жизнь клонилась к закату* и т. п., ср.: **клониться** (**ИЗ** Принимать наклонное положение, наклоняться, нагибаться; **РЗ** Близиться, приближаться к какому-л. моменту, являющемуся пределом развития чего-л.).

Среди характерных особенностей подобного представления траектории движения времени наиболее ярко выделяются следующие.

1) Подобным образом характеризуются только отрезки времени, которые предполагают “стандартно” оцениваемые начало и завершение (*день; жизнь*).

2) Узульными метафорами обозначается только спуск (*клониться*), но не подъём.

3) В данной номинации движения времени может быть актуализирована оценочная семантика, основанная на архетипическом противопоставлении *верх / низ*, например: *на склоне лет, жизни; жизнь клонится к закату = жизнь заканчивается*. Подобное аксиологическое ориентирование двучленных миромоделирующих структур (*свой / чужой, левый / правый, дальний / близкий, внутренний / внешний* и под.) включается в систему характерных для языкового сознания принципов мировосприятия и мироотражения. Оппозиции “таковы (названы таким образом), что как бы отражают непосредственное восприятие картины мира через пять человеческих чувств. Однако уже на следующем

шаге те же самые “буквальные” оппозиции приобретают метафорическое значение и в конце концов становятся выразителями сложнейших концептов (ср. хотя бы семантическую историю и функционирование оппозиции высокий / низкий, от чисто пространственной перешедшей к обозначению структуры общества, духовных, моральных ценностей и т. п.)”¹⁶. Соответственно, семантика исследуемых метафорических номинаций, основанная на движении от *верху* к *низу*, может быть метафорически интерпретирована как движение от *хорошего* к *плохому*, то есть *ухудшение*.

В художественном тексте эта метафорическая модель может получить, например, следующее развитие: *Куда течёт из года в год // часов и дней сумятица? // Наверх по склону жизнь идёт, // а вниз по склону катится* (Губерман). Если в узуральной метафоре актуализируется только семантика спуска, то в данном случае на основе ее переосмыслиния антонимически обыгрывается и потенциально возможная семантика подъёма.

В “горизонтальной” плоскости траектория движения времени метафорически моделируется значительно реже, даже в художественных метафорах. Нами был обнаружен только один случай отражения горизонтального “искривления” движения времени: *Солнце шло сторонкою, да время — стороной* (Башлачев). Метафорический смысл формируется сочетанием обозначения времени (*время шло*) и пространственно-го конкретизатора (*стороной*). Очевидно, что в этом фрагменте обозначается положение, некая позиция героя в жизни: *в стороне от хода жизни, событий и т. п.* Сходная ситуация описывается и в следующем высказывании, в котором отклонение от прямой траектории движения

обозначается фразеологическим сочетанием с яркой внутренней формой, актуализирующим в данном контексте смысл отклонения от магистрального пути: *Я вдруг оглянулся: вокруг никого.* // *Пустынно, свежо, одиноко.* // ***И я – собеседник себя самого – // у времени с боку припёка*** (Губерман).

Маркированность отрезков, относимых к циклическому времени, также может иметь пространственные исходные образы, поскольку циклическое время вследствие своей основной характеристики (повторяемости) метафорически соотносится с пространственным образом круга или окружности.

В целом изучению такого феномена, как циклическая и линейная (линеарная) формы времени, посвящено немало исследований. Главным образом, в такого рода работах доминанта циклического времени связывается с архаическим, космологическим сознанием, а линейного времени – с историческим (современным) сознанием. Например, Б. А. Успенский комментирует данный аспект следующим образом: “Космологическое сознание предполагает, что в процессе времени постоянно повторяется один и тот же онтологически заданный текст... Между тем, историческое сознание, в принципе, предполагает линейное и необратимое... время”¹⁷; Е. С. Яковleva замечает: “Представление о времени как о вращении по кругу, восходящее к сезонным, календарным циклам, отличает архаические цивилизации... развитие же представлений о линейном движении времени в первую очередь связано с формированием исторического сознания, необходимыми атрибутами которого являются идеи начала и конца, а значит – эволюции, развития”¹⁸. Вместе с тем допускается и “существование” этих времён, что также

отмечается в ряде работ: “Сочетание линейного восприятия времени с циклическим в разных формах можно наблюдать на протяжении всей истории”¹⁹; “С древнейших времён в сознании человека существуют два представления о времени — время как последовательность однотипных событий, “жизненных кругов” (циклическое) и время как однонаправленное поступательное движение (линейное)”²⁰.

Также можно сделать вывод о том, что критерием различия рассматриваемых форм времени является: для циклического времени — повторяемость и “вечность” временных ориентиров, а для линейного времени — принципиальное осознание неповторимости и исключительности событий.

Анализ метафорических сочетаний со значением движения времени позволяет раскрыть некоторые особенности соотнесения циклической и линейной форм времени.

Для того чтобы проанализировать, каким образом линейная и циклическая формы времени отражаются в языке, прежде всего необходимо определиться с тем, что считать единицей циклической формы времени или, говоря иначе, — с тем, *что такое цикл*. Для этого приведём несколько словарных определений данного понятия:

- 1) совокупность взаимосвязанных явлений, процессов, работ, образующих законченный круг развития в течение какого-л. промежутка времени²¹;
- 2) совокупность явлений, процессов, составляющая кругооборот в течение определённого времени²²;
- 3) совокупность каких-л. явлений, процессов, работ, составляющих законченный круг действия, развития чего-л.

Исходя из этих определений, можно сделать вывод о том, что языковая номинация служит средством выражения идеи циклического времени в тех случаях, когда каким-либо образом актуализируется семантика **любого из отрезков времени, являющихся частью цикла**. Например, **весна** и **лето** являются сегментами **годового** цикла, **день** и **ночь** – **суточного** и т. д.

Определим такие обозначения, как **собственно** циклические, что необходимо для отличия их от **несобственно** циклов, под которыми мы будем понимать, например, жизнь человека. Жизнь как фрагмент времени не может быть при строгой идентификации определена как цикл, но вместе с тем она подразумевает членение на некие составляющие, общие, единые, типизированные для всех. А именно это качество (типичность / неповторимость) является одним из главных признаков при разведении циклического и линейного времён, например, у Е. С. Яковлевой: "... в "культурной парадигме" носителей языка с понятием циклического времени связываются идеи природных циклов, бесконечных возвратов и повторов одних и тех же событий, общности человеческих судеб на всех кругах бытия; с понятием же линейного времени ассоциируются такие характеристики, как "неповторимость", "的独特性", "единичность" событий, не обратимость самого процесса. Естественно поэтому, что "циклическое сознание" настроено на типизацию (отождествление того, что есть, с тем, что уже не однажды было), а "линейное" – на индивидуализацию"²³. Так, для жизни человека такими типизированными составляющими являются *рождение, младенчество, детство, отрочество, юность, молодость, зрелость, старость,*

смерть. Количество таких составляющих может варьироваться от некоего минимума (детство — молодость — зрелость — старость) до максимума обозначений, в том числе и синонимических. Н. А. Потаенко обозначает данную градацию как “*возрастную шкалу (или шкалу жизненного пространства)*” и добавляет в неё “*деления, социально ориентированные: дошкольный / школьный возраст, несовершеннолетие / совершеннолетие, трудоспособный / пенсионный возраст*”²⁴. Здесь представляется любопытным отметить, что наиболее подробное членение и, соответственно, наибольшее количество номинаций характерны для начального периода жизни человека. Очевидно, что таким образом язык опосредованно отражает резкие качественные изменения, происходящие за эти относительно небольшие промежутки времени, что как раз характерно для этого периода жизни человека, в отличие, например, от последующих. Кроме того, одним из косвенных доказательств “циклической отнесённости” времени человеческой жизни являются и достаточно типичные для языка сравнения-штампы с отрезками, относящимися к собственно циклам: например, *закатные дни его старости* (Искандер); *Весна (осень) его жизни* и т. п.

Вместе с тем жизнь человека как сегмент, отрезок времени имеет и достаточно ярко выраженные черты, позволяющие отнести её и к линейной форме времени. И, например, утверждение С.М. Толстой о “*линейности... человеческой жизни от рождения до смерти*”²⁵ представляется нам также достаточно обоснованным. Очевидно, здесь следует говорить о том, что в данном отрезке времени (жизни человека) диалектически сочетаются и линейное, и циклическое начало, интерпретируя и развивая которые можно прийти

к вышеприведённым, во многом противоположным по своему характеру, выводам.

Однако, несмотря на то, что о проблеме циклического времени сказано немало, нам удалось обнаружить не так много работ, где такое исследование происходит с опорой на анализ конкретного языкового материала.

В связи с вышесказанным представляется целесообразным сопоставить результаты настоящего исследования с выводами, полученными Е. С. Яковлевой в соответствующем разделе монографии “Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия)”. Автор данной работы, опираясь на метод лингвистического эксперимента²⁶, делает выводы, например, о том, что слова ***время, времена*** характеризуют линейное, историческое время, а слово ***пора*** — циклическое, космологическое²⁷. В данном случае нам представляется спорным как сам метод (когда “для синонимических слов подбирались контексты, в которых одно из них употребимо, а другое (другие) — нет”²⁸, так и ряд выводов, полученных в результате исследования. Об этом же говорит и К. Г. Красухин: “Е. С. Яковлева считает, что имя *время* обозначает в русской языковой картине мира линейное время, а *пора* — циклическое. Если бы это было так, то мы были бы свидетелями самой удивительной семантической эволюции: имя циклического времени стало обозначением линейного и наоборот. В действительности же *время* и *пора* соотносятся друг с другом как более широкое и более узкое понятие. *Пора* есть время наступления какого-либо состояния/события (пора надежд и грусти нежной), время реализации явления, человеческих способностей, природных процессов (пришла, прошла моя пора; пришла пора, она влюбилась). Поэтому *пора*

может приходить и уходить, а *время* также идти, бежать, течь. *Пора*, в отличие от *времени*, никогда не персонифицируется; она также не употребляется во множественном числе. На связь же *поры* с циклическим временем исследовательницу, очевидно, натолкнуло то, что это имя часто обозначает природные повторяющиеся процессы. Но, на наш взгляд, *время* и *пора* в современном русском языке вообще не связаны с концептом циклического и линейного времени”²⁹.

Материал, привлекаемый нами для исследования заявленной проблемы, — это преимущественно метафорическая лексика, посредством которой раскрывается ряд свойств, присущих только циклической форме времени: повторяемость циклических отрезков времени, их движение по некоему кругу и т. п. На наш взгляд, именно анализ подобного рода лексики (в сочетании с обозначениями отрезков, сегментов временных циклов) позволяет выявить глубинно имплицитированные черты, присущие осознанию циклического времени в РЯКМ. Следует оговориться, что круг такой лексики (специфической для выражения циклического времени) в русском языке ограничен, в большинстве случаев циклические отрезки времени характеризуются при помощи слов, не маркированных как-либо специально по отношению к циклической и линейной формам времени. Чаще всего движение сегментов того или иного цикла именуется посредством ЛСВ движения времени глаголов перемещения, посредством которых именуется подавляющая часть всех временных характеристик. Данные ЛСВ служат для обозначения движения как циклического времени, так и линейного, ср.: *За весной, красой природы, Лето знойное пройдёт — И туман, и непогоды Осень поздняя несёт* (Пуш-

кин); **Прошло полвека** с тех пор, как перестало биться одно из самых чутких сердец (Короленко). Маркированность создается в результате сочетания таких обобщенных глаголов движения с именами отрезков суточного и годового циклов.

В лексике, которая является сугубо специфичной для выражения особенностей циклической формы времени, представляется возможным выделить несколько групп обозначений, в большинстве которых чётко прослеживается исходная пространственная семантика: 1) *запаздывать, запаздывание, задержаться, вернуться, возвратиться, поздний, ранний* (последние четыре слова — в одном из своих временных значений); 2) *повернуть на, перекатиться на, переломиться на, пойти на; 3) глубокий, ма-кушка, зенит; 4) на склоне.*

1) Временные обозначения первой группы могут характеризовать:

285

а) годичный цикл: *По времени ей [белоголовой овсянке] надлежало бы уже давно отлететь к югу, но, вероятно, вследствие длинной осени и запаздывания весны перелёты птиц также запаздывают* (Арсеньев); **Осень** в этом году была **поздняя**. Листья совсем обвалились, а земля все ещё дышала тёплой сыростью (Короленко); **Весна** наступила в этом году **ранняя**, дружная и — как всегда на Полесье — неожиданная (Куприн); **Весна вернулась** в наши края (Бунин);

б) суточный цикл: **поздний рассвет;**

в) жизненный цикл: **ранняя смерть;** А которые ничего не дарят людям, а вместо этого преподносят им неприятные сюрпризы, — у тех бывает мрачно и противно на душе. Такие люди чахнут, сохнут и хворают нервной экземой. Память у них ослабевает, и ум затемняется. И они **умирают раньше времени** (Зощенко).

Метафорические модели первой группы отражают тот аспект идеи циклического времени, который раскрывает осознание абсолютной и непременной повторяемости отрезков (сегментов) циклического времени, а также то, что величина этих сегментов осмысливается как нечто константное, раз и навсегда данное. Активное использование таких сочетаний может интерпретироваться как свидетельство наличия в сознании человека некоего идеального, например, годового цикла, который имеет типичное членение на отрезки, протяжённость которых понимается как нечто нормативное и единственно верное. Здесь следует отметить, что такой идеальный цикл является продуктом колективного исторического мышления, расстояния между временными ориентирами отличаются друг от друга в зависимости от климатических условий каждой местности. Но общим является то, что в любой местности в сознании языкового коллектива заложено чувство того, что вот тогда-то должна наступить весна, тогда-то — зима и т. д.

Осознание цикличности времени проявляется прежде всего тогда, когда случается какое-либо нарушение круговорота времён, то есть если осознаётся диссонанс между временными величинами идеального цикла и настоящим положением вещей. Так, например, употребление выражения *Весна в этом году поздняя* может рассматриваться, на наш взгляд, как показатель того, что в сознании говорящего заложен некий временной стандарт, в соответствии с которым и оценивается данное сезонное состояние природы: по его мнению, весна и сопутствующие ей изменения должны наступать раньше. И именно признак цикличности хода времени, очевидно, является основанием для производства ме-

тафор **запаздывать, задерживаться** по отношению к отрезкам времени.

Основанием сравнения могут выступать как временные соответствия (то есть: *весна в этом году поздняя* по сравнению с теми сроками, в которые она наступает обычно; *поздняя* по сравнению с прошлым годом и т.д.), так и географические (климатические) соответствия (*весна здесь / там поздняя / ранняя* по сравнению с какой-либо другой местностью: *Ростовская зима странно запаздывала против переяславской* (В. Д. Иванов)). Дальнейшее развитие последнего метафорического сочетания может привести к эффекту “путешествия” во времени: *С переходом через Сихотэ-Алинь мы сразу попали в начало осени. Кое-где уже на деревьях листья начинала желтеть. И немудрено! Во-первых, мы были довольно высоко над уровнем моря, а во-вторых, во времени мы ещё раз перенеслись вперёд* (Арсеньев).

287

Хотя, как уже было сказано выше, некоторые обозначения этой группы могут сочетаться и с названиями отрезков прочих циклов, необходимо отметить, что, например, для суточного цикла данные сочетания нехарактерны. Очевидно, это связано с тем, что изменения в каждом новых сутках по сравнению с предыдущими очень незначительны для человеческого восприятия.

В связи с этим следует также отметить, что метафорические сочетания наименований отрезков циклов с глаголами **вернуться** и **возвратиться** не всегда указывают на отражение циклического сознания человека, так как такое выражение, как *Зима вернулась (возвратилась)*, может обозначать и как наступление зимы, и как проявление каких-либо характерных для зимы качеств (например, резкое похолодание, обильное выпадение снега и т. д.) весной.

2) Временные обозначения второй группы могут характеризовать:

а) годичный цикл: *Как зима повернула на весну, так и меня потянуло в лес* (Мамин-Сибиряк); *Лето пошло на осень, а осень на зиму* (В. Д. Иванов); *Перекатилось Солнце на лето, а Зима пошла на морозы* (В. Д. Иванов); *Наконец переломилась жестокая зима, и унялись трескучие морозы* (С. Аксаков);

б) суточный цикл: *Ночь только ещё переломилась* (Тэффи); *Ночь переломилась незаметно; в сером неопределенно-рассеянном свете ... вдруг проглянуло что-то утреннее, свежее* (Каверин).

Посредством таких временных обозначений может раскрываться нелинейный характер движения времени: актуализируется пространственная семантика *поворота, перелома* в траектории такого движения. Данные предикаты являются организующим компонентом рассматриваемых метафорических моделей. Анализируя указанные номинации, можно реконструировать (хотя бы отчасти) круговой характер этого движения: зима поворачивает (или переламывает) на весну, весна — на лето, лето — на осень, осень — на зиму и т. д.: **повернуть** (ИЗ Изменить направление своего движения; свернуть, завернуть; РЗ Принять иной характер, перемениться (о явлениях природы, о времени и т. п.), **переломиться** (ИЗ Сломавшись, разделиться надвое; РЗ Резко пойти на убыль).

Кроме того, следует отметить, что с помощью этих выражений акцентируется и особенность человеческого мышления при осознании временных циклов. В сознании человека доминирующими временными обозначениями, как при осознании годичного цикла, так и суточного, являются наиболее ярко выраженные,

полярные по своим свойствам отрезки циклов: зима / лето, ночь / день.

Разница между этими группами отрезков (главных и дополнительных) выражается здесь следующим образом: зима, лето, ночь и день “могут” не только плавно поворачивать по направлению к следующему отрезку цикла, но они ещё наделяются свойством и *переламываться* на этот отрезок. То есть эти сегменты наделяются свойством вершинности, что еще больше поляризует две главные точки каждого цикла³⁰.

3) Временные обозначения третьей группы могут характеризовать:

а) годичный цикл: *Прошло больше месяца, наступила глубокая зима* (Чехов); *Июль — макушка лета* (Чернов); *Лето шло в зенит* (Веллер);

б) суточный цикл: *Мы заснули только глубокой ночью* (Симонов);

в) жизненный цикл: *Сорок лет — макушка жизни* (Голованов); *Агафья Матвеевна была в зените своей жизни*; она жила и чувствовала, что жила полно, как прежде никогда не жила (Гончаров); *Глубокая старость*.

На основе рассмотрения вышеупомянутых сочетаний можно утверждать, что круги времён имеют в сознании человека пространственное вертикальное расположение: вверху — лето (день), внизу — зима (ночь). Например, **глубокий (ИЗ)** Находящийся на значительной глубине, далеко от поверхности; проникающий на значительную глубину) — это тот, который внизу. И, следовательно, при наличии в языковой системе сочетаний *глубокая зима, осень, ночь*, сочетания **глубокое лето* или **глубокий день* представляются невозможными. Здесь же можно отметить, что и слово **поздний** (в значе-

нии “представляющий собой конечную пору суток или какой-л. части суток, года”) также по-разному сочетается с именами “верхних” и “нижних” сегментов циклов. Например, вполне допустимы такие выражения, как *Это было поздней зимой (осенью, ночью)*. Но уже создание сочетаний **поздним днём, летом* представляет проблематичным. Также недопустимы сочетания метафор *макушка, зенит* с какими-либо временными обозначениями, кроме “верхних”. Таким образом, посредством анализа обозначений данной группы мы можем увидеть, что реконструируемый годичный круг (цикл) несколько несимметричен, так как к нижней сфере здесь, кроме зимы, относится ещё и осень, — в противовес сфере верхней, куда включается только лето. Возможно, такая асимметрия может быть объяснена иным, нежели сейчас, членением годичного цикла на сегменты в иные эпохи формирования и развития РЯКМ. (Впрочем, данный аспект не является предметом рассмотрения нашего исследования.)

290

4) Временные обозначения четвёртой группы могут характеризовать:

- а) годичный цикл: *На склоне* зимы; *На склоне* лета;
- б) суточный цикл: *Как часто в здешних местах, на склоне дня* ветер с моря нагнал тучи (Ардаматский); *На склоне* ночи.
- в) жизненный цикл: *Куда течёт из года в год // часов и дней сумятица? // Наверх по склону жизнь идёт, // а вниз по склону катится* (Губерман). Достаточно близко к этой группе выражений стоит и следующая метафора: *С дедушкой я говорю почти как с равным, словно чувствую, что мы с ним на одинаковом расстоянии от середины жизни, хотя и по разные стороны от неё...* (Искандер).

Здесь своего рода “полуциклы”: каждый из которых (суточный, годовой) представлен пространственно, в виде двух “холмов”, вершинами которых являются середины только “первичных” сегментов (*зимы, лета, ночи или дня*). Не может быть выражений **на склоне весны (осени, вечера, утра)* — то есть сочетаний с использованием обозначений переходных, промежуточных времён. Кроме того, здесь можно отметить, что семантика пространственных архетипических обозначений верха (положительная оценка) и низа (отрицательная) особенно ярко проявляется в этих сочетаниях при характеристике жизни человека: например, *на склоне жизни (лет)* — то есть в старости. И старение, таким образом, представляется как спуск с вершины, как движение вниз.

Пространственные характеристики достаточно ярко могут проявляться и в такой периферийной модельной ситуации, как констатация каких-либо отрезков времени, обозначаемая посредством метафоры остановки времени (зачастую с каким-либо пространственным маркером), например: *(на дворе) стоит осень*.

291

К таким метафорическим сочетаниям с актуализированным значением отсутствия движения времени относятся сочетания ЛСВ глагола *стоять* с обозначением какого-либо отрезка времени: **стоять** (И3 Быть на ногах в вертикальном положении (о людях, животных), не двигаясь с места; занимать место где-л., находясь в таком положении; Р31 Быть (о времени года, о времени). Подобные сочетания (*время стоит*) характерны, прежде всего, для обозначения настоящего времени. Также они могут быть использованы и для характеристизации отрезков прошедшего времени (но здесь возможна и конкурирующая конструкция с глаголом-связкой *быть*: **Было лето**).

К характерным особенностям этой конструкции (*стоит такое-то время*) относится возможная сочетаемость с обозначением пространства, места, указанием на то, где “стоит” время. Наиболее регулярно такое сочетание реализуется при обозначении настоящего времени. В качестве таких пространственных конкретизаторов семантики “бытования” времени чаще всего используются обозначения (*ночь*) *на дворе* и (*день*) *за окном*. Близость грядущих событий и отрезков времени, приближающихся (с разной скоростью) к человеку, может быть выражена метафорически с помощью целого ряда сочетаний, в которых временные характеристики также обозначаются при помощи конкретизаторов места: (*ночь*) *не за горами, не за лесом*; (*осень*) *у ворот, у дверей, на пороге*.

Вышеприведённые метафорические сочетания могут быть истолкованы в рамках оппозиции “своё (свой мир)” / “чужое”. Временная близость может быть выражена через использования архетипа дома как модели своего мира: близко — это то, что находится рядом с домом, у входа в дом: *у ворот, у дверей, на пороге*. — *Товарищи*, — сказал он. — *Весна на пороге!* (Николаева).

Во втором случае временная близость также выражается через метафорическое обозначение местоположения надвигающегося отрезка времени, и “близкое” здесь понимается как нечто находящееся в границах видимого пространства — не за горами, не за лесом: *Пригласила: — Ночуйте, ночь не за лесом уже* (В. Д. Иванов).

Таким образом, анализ метафорических обозначений позволяет выделить три пространственно-временные сферы, выражаемые через оппозицию “своё” / “чужое”.

К первой из них относятся отрезки времени, события, которые идентифицируются в визу-

альном плане как ещё не видимые, а в плане пространственной близости к человеку — далёкие, то есть такие, которые наступят ещё (относительно) не скоро. Можно сделать вывод о том, что те отрезки времени и события, которые подпадают под отнесённость к этой сфере, для говорящего малоактуальны, так как они не имеют какого-либо особого, специфического способа языкового выражения.

Во второй сфере располагаются отрезки времени и события, которые актуальны для человека в плане временной близости, что и выражается через близость пространственную: а) они различимы визуально: *ночь не за горами, не за лесом*; б) пространственно осмысливаются как находящиеся уже рядом с домом (входом в него): *зима у ворот, на пороге* и т. п. Наступившие отрезки времени пространственно выражаются через обозначение их “местонахождения” в обжитом человеком пространстве: *весна на дворе, за окном*.

293

В заключение представляется возможным подтвердить предположения, сделанные в начале раздела, о том, что, хотя пространственная семантика достаточно активно эксплуатируется в РЯКМ при обозначении целого ряда характеристик категории времени, она присутствует далеко не во всех метафорических номинациях времени и актуализируется только в преимущественно строго определённых случаях.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1999.

² Успенский Б. А. История и семиотика (восприятие времени как семиотическая проблема). Статья вторая // Труды по знаковым системам. XXIII. Тарту, 1989.

³ Шмелев А. Д. Русский язык и внеязыковая действительность. М., 2002.

⁴ Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М., 1994.

⁵ Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры: Сб. / Общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской. М., 1990.

⁶ Успенский Б. А. Указ. соч. С. 31.

⁷ Цивьян Т. В. Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990. С. 75.

⁸ Яковлева Е. С. Указ. соч. С. 74.

⁹ Шмелев А. Д. Указ. соч. С. 318.

¹⁰ Яковлева Е. С. Указ. соч. С. 72 – 81.

¹¹ Арутюнова Н. Д. Указ. соч. С. 689.

¹² Цивьян Т. В. Указ. соч. С. 75.

¹³ В настоящем разделе монографии словарные значения, кроме особо оговоренных случаев, приводятся по изданию: Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. З-е изд., стер. М., 1981.

¹⁴ Яковлева Е. С. Указ. соч. С. 73.

¹⁵ Степанов Ю. С. Счёт, имена чисел, алфавитные знаки чисел в индоевропейских языках // ВЯ. 1989. № 4. С. 21.

¹⁶ Цивьян Т. В. Модель мира и ее роль в создании (аван)текста // www.ruthenia.ru/folklore

¹⁷ Успенский Б. А. Указ. соч. С. 32 – 33.

¹⁸ Яковлева Е. С. Указ. соч. С. 97.

¹⁹ Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 29.

²⁰ Яковлева Е. С. Указ. соч. С. 97.

²¹ Мюллер В. К. Словарь иностранных слов. М., 1989.

²² Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992.

²³ Яковлева Е. С. Указ. соч. С. 100 – 101.

²⁴ Потаенко Н. А. Время в языке (опыт комплексного описания) // Логический анализ языка. Язык и время / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова, Т. Е. Янко. М., 1997. С. 114.

²⁵ Толстая С. М. Аксиология времени в славянской народной культуре // История и культура: Тезисы. М., 1991. С. 62.

²⁶ Яковлева Е. С. Указ. соч. С. 14.

²⁷ Там же. С. 192.

²⁸ Там же. С. 14 – 15.

²⁹ Красухин К. Г. Три модели индоевропейского времени на материале лексики и грамматики // Логический анализ языка. Язык и время / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова, Т. Е. Янко. М., 1997. С. 65.

³⁰ Кроме того, и в плане происхождения слов номинация “главных” отрезков была первичной. Наименования же промежуточных сегментов циклов были вторичными. Более подробно об этом см.: Толстой Н. И. Времени магический круг (по представлениям славян) // Там же. С. 17 – 27.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

296

В данном разделе рассматриваются аксиологические модели метафор с этической и эстетической оценкой человека. Предпринимается попытка проанализировать направление метафорического переноса, связанное с исходной когнитивной информацией о пространстве и результиативными гуманизированными оценками, определенный аспект которых формируется представлениями о форме, величине, вертикально-горизонтальной структурированности, локализации и т.д. Таким образом, решается задача выявления принципов метафорической корреляции образов из сферы ментального пространства этико-эстетических представлений человека и сферы физического пространства.

Пространство как важнейшая форма мира и жизни в нем человека разнообразно препрезентировано в языке, сознании, культуре и мифологии. Анализируя семиотику пространства, Ю. М. Лотман отмечал, что “всякая модель культуры может быть описана в терминах пространства”¹, категориям пространства свойственно играть роль не только пассивной рамки про-

исходящего, но и выражать природу самих событий, активно воздействуя на них.

Отмечая активность пространственных концептов в формировании многих типов номинаций, относящихся к другим, непространственным сферам, исследователи-лингвисты усматривают причины распространенности вторичных предикатов, мотивированных семантикой пространственных образов, в свойственным этой категории универсальности и всеобъемлющему характеру. Именно о пространстве можно говорить как о категории, формирующей пределы, в которых развертывается человеческая жизнь.

Ряд исследований, посвященных изучению принципов семантической корреляции образов пространства и образов иных, *непредметных* пространств, ментальных, социальных, гуманизированных (В. Г. Гак, А. Д. Шмелев, Н. К. Рябцева, Й. ван Лейвен-Турновцева и др.)², позволяет утверждать, что пространственные “схемы” и модели определяют в языке этническое, социокультурное своеобразие ценностных картин мира, так как большинство пространственных концептов связано с антропоцентрической сферой, выступая в роли своеобразной аксиологической призмы понимания социальных, бытовых, духовных проявлений человека.

297

Образы пространства во многом определяют логику формирования различных видов оценки, поскольку обладают обширной семантической сферой, возможностью выстраивать представление об оцениваемом через референтное соотнесение с такими структурами, как 1) типы пространств (в измерениях): точка – линия – поверхность – объем; 2) организация пространства – оппозиции: центр / периферия, открытое / закрытое пространство; 3) позиции

объектов, их пространственная соотнесенность (относительное пространство: близко / далеко, справа / слева и т. д.); 4) направления, ориентация, координаты; 5) мера длины, расстояния, поверхности, объема и др.; 6) восприятие пространства: вид, аспект, угол, точка (зрения) (о типах пространственных структур см.: В. Г. Гак³).

Таким образом, можно говорить о том, что категории пространства являются одним из базисных способов концептуализации значимых фрагментов картины мира, например сферы звучания (см. работы Н. А. Мишанкиной⁴), представлений о времени (см. работы Д. А. Катунина⁵), эмоциональной сферы человека (Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев⁶) и др. Имея в виду универсальность этой концептуальной категории, как и категории времени, можно говорить о том, что образы пространства являются не только объектом осмысления и означивания, но и средством концептуализации иных представлений человека, в частности оценочных представлений о сфере этических и эстетических проявлений. В этом смысле пространственные представления, вербализованные и образно проинтерпретированные, являются своеобразным измерительным компонентом гуманизированных оценок.

При рассмотрении оценки в аспекте ее способности преобразовывать информацию о разных аспектах человеческого опыта познания мира и себя целесообразно учитывать теоретические положения когнитивной лингвистики, одним из постулатов которой является положение о том, что оценка должна рассматриваться с точки зрения информационного потенциала, в контексте влияния культуры с ее нормативностью, символичностью, единством чувственного, эмоционального, рационального начал.

Культурологические и когнитивные аспекты оценочной семантики разрабатывались Т. В. Писановой на материале русского и испанского языков как отражение национально-культурных основ семантики этической и эстетической оценок⁷.

Обращаясь в рамках данного исследования к оценке этических и эстетических проявлений человека, следует сказать о том, что пространственная параметризация онтологически свойственна сублимированной оценке, поскольку представляет собой способ ее концептуализации, формируя представления о хорошем и плохом, красивом и некрасивом через представления о том, что имеет центр и периферию, направленность, поверхность, объем, отнесенность к точкам горизонтали и вертикали, верха и низа. Можно говорить о том, что “в лингвистическом отношении система пространственных координат формирует пространство этики и является поставщиком нравственных оценок, ср. *высокий / низкий ум, низменные инстинкты, низменные помыслы, правое дело и левая работа*”⁸.

299

Говоря о том, что концептуальные структуры пространства проецируются в пространство внутреннего мира человека, можно наблюдать, как образы с исходной пространственной семантикой прежде всего становятся когнитивным источником информации для формирования многочисленных и разнообразных языковых оценочных метафор. При помощи метафор с исходным, или прямым значением, актуализирующими представления о различных аспектах пространства, человек в себе самом оценивает социальные, интеллектуальные, практические (телеологические) и другие проявления.

Семантическое пространство этической и эстетической оценок представляет собой эмпи-

рическое и теоретическое знание о мире, в котором сконцентрирован культурно-национальный опыт носителей языка. Динамический характер семантической структуры естественного языка проявляется в том, что оценочные значения, отражая, с одной стороны, особенности аксиологического восприятия мира определенным этносом, а с другой — формируя в языковых значениях деонтические модальные установки, являются объектом гибкого моделирования, что особенно ярко проявляется в метафоре как лингвокогнитивной способности человека сравнивать и сопоставлять. Можно говорить о том, что сублимированная оценка человека с пространственным компонентом логично и неизбежно выражается в метафоре, которая, по мнению сторонников когнитивного подхода, является языковым отображением крайне важных аналоговых процессов. Метафора активно участвует в формировании личностной модели мира, играет важную роль в интеграции верbalной и чувственно-образной систем человека, а также выступает ключевым элементом категоризации языка, мышления и восприятия⁹. В основе процесса метафоризации лежат ассоциации, представляющие собой специфическое отражение концептуальной модели мира, имеющей антропоцентрическую и прагматическую направленность.

Характерной особенностью последних работ в области изучения метафоры является совмещение разных методик анализа — концептуального и структурно-семантического. При анализе метафорического структурирования исследователи обращаются к глубинным семантическим структурам языка, но с той же очевидностью исследование собственно семантических закономерностей образования метафоры

предполагает выход к проблеме метафорического миромоделирования.

Двигаясь в русле этого направления, мы пытаемся показать, как механизм метафоризации отражает глубинные процессы человеческого мышления и познания мира, как в продукте образного и понятийного аналогизирования — метафоре — воплощаются аспекты рационального и эмоционального опыта человека, находящие свое отражение в многообразии частных оценочных смыслов.

Рассматривая структуру оценки в целом, Е. М. Вольф (вслед за фон Вригтом и А. А. Ивиным), определяет ее как своего рода модальную рамку, обязательными элементами которой являются субъект, обозначающий лицо или социум, с точки зрения которого дается оценка, объект оценки, а также точка отсчета, включающая оценочную шкалу¹⁰. Как пишет В. Н. Телия: *“Нельзя не заметить, что оценочная метафора выделяет какой-то признак, отображенный в дескриптивной части значения. Этот признак и становится смысловой вершиной оценочного значения наряду с оценкой”*¹¹. Таким образом, семантическая связь элементов оценки осуществляется на базе аспекта оценки, указывающего на признаки объекта, по которым он оценивается. В качестве признака объекта выступает определенный компонент дескрипции, по отношению к которому устанавливается оценка, фиксирующая сенсорно-вкусовые, или гедонистические, психологические, нормативные, утилитарные, телеологические, этические или эстетические признаки оцениваемого объекта.

К числу наиболее сложных в плане экспликации мотивировочных оснований оценивания можно отнести этические и эстетические оценки. Специфика проявления в языке этого

вида оценок заключается в том, что они способны выбирать в качестве семантических основ своего формирования комплекс других оценочных смыслов — комбинаций частнооценочных значений¹².

Когнитивная установка человека на самоизвестие и самооценку предполагает в случае метафорического оценивания обращение к определенным понятийным областям (Дж. Лакофф, М. Джонсон¹³) или сферам-источникам для метафорической экспансии (В. З. Демьянков¹⁴). Использование различных типовых ситуаций для метафорической характеризации человека дает новый оттенок, аспект оценочно-метафорического значения. Так, исходная типовая ситуация “вкусовые ощущения” при метафорическом осмыслиении этических проявлений человека аспектуализирует его оценку по следующим направлениям: кислый вкус — *кислый человек*: `нудный, скучный, вялый`; сладкий или приторно-сладкий вкус — *сладкий человек*: `льстивый, лицемерный, приторно-нежный`. Исходная понятийная ситуация “тактильные ощущения” структурирована представлением о мягком, твердом, упругом, шершавом и т. д. При метафоризации каждое из этих представлений выступает семантическим модификатором результативного значения.

Гуманизированные — этические и эстетические — оценки комбинируются из сложного комплекса взаимоуточняющих оценочных смыслов, поэтому оценка доброго человека часто сопряжена с его телеологической оценкой, а оценка красивого человека — с этической (о взаимодействии концептов “красота” и “добро” см. также: Н. Д. Арутюнова¹⁵).

В данном исследовании предметом анализа является образно-семантическая корреляция

пространственных представлений и сублимированных оценок в диалектном языке, где подобный аксиологический механизм формирования оценки и метафоры проявляется наиболее ярко и показательно. Диалектная лексика представляет особый интерес в аспекте ее образного и оценочного потенциала: образно-переносные значения развиваются в диалектных системах на основе конкретно-чувственных, конкретно-наглядных образов, на основе ассоциативных признаков, находящих опору в опыте носителей говоров¹⁶.

Таким образом, в данной работе на диалектном материале рассматриваются пространственные образные схемы, лежащие в основе метафорической номинации различных ситуаций, относящихся к сфере этических и эстетических проявлений человека. Пропущенные через призму национального сознания представления и знания о национально-культурных и общечеловеческих ценностях формируют семантические основания оценочных значений. Структурами представления этих знаний могут быть образы пространства, соотносимые в своей семантике с разными частнооценочными значениями и формирующие таким образом в результивном метафорическом значении оценочно разноспектрную информацию, представленную комплексом практических, утилитарных, нормативных, телеснологических и других смыслов.

303

Важной особенностью восприятия пространственной картины мира является гетерогенность — она многослойна, включает в себя и мифологический универсум, и научное моделирование, и “бытовой здравый смысл”, при этом у обычного человека эти пласти образуют гетерогенную смесь, которая функционирует как нечто единое¹⁷. Как нам представляется, это свой-

ство человека воспринимать пространство комплексно отвечает комбинаторной природе оценок, которые для “обычного человека” так же синкетичны, как и пространство в его бытовых очертаниях. В силу этого неизбежна постоянная перекодировка пространственных образов на язык других моделей. В результате создается сложный, находящийся в постоянном движении семиотический механизм взаимодействия образов пространства и образов человека.

В этом случае человек выступает не в качестве дистанционной точки отсчета в пространстве, а как субъект, оценивающий ту или иную область бытования предметов с коммуникативно-прагматической точки зрения, определяющейся условиями момента речи. Поэтому представления о пространстве, рассмотренные субъектом сквозь призму собственных ощущений, связываются с представлениями темпоральными, уточняются образами движения и перемещения.

Как показал анализ материала, важным фактором формирования семантики этико-эстетических оценок через исходные образы пространства является представление о времени. Поскольку представление о пространстве связывается с представлением о времени через образ движения, можно говорить о том, что именно движение, понимаемое в широком смысле, способствует созданию синтетических, темпорально-пространственных моделей, наиболее адекватно воспроизводящих образ мира.

Таким образом, при дальнейшем анализе мы исходим из понимания того, что метафорическое моделирование этической и эстетической оценок человека, связываемое с исходными образами пространства, реализуется не только в границах пространственных моделей, но и

пространственно-временных, в которых этико-эстетические проявления человека связаны с идеей движения и интерпретируются через динамических образы.

Различные пространственные модели выступают как способы локализации сложных гуманизированных представлений о нравственном и безнравственном. При этом пространственные концепты, участвующие в формировании этических и эстетических оценок, действуют в рамках концептуально-понятийного поля, семантическим инвариантом которого является оппозиция норма — антинорма. Следует отметить, что в процессе метафорического оценивания проявляется естественная для языка оценки закономерность — преимущественное маркирование отклонений от нормы, ориентированность на отрицательный спектр оценки.

1. Итак, одной из продуктивных моделей метафорической интерпретации этических и эстетических проявлений человека в языке диалекта является модель, в рамках которой образы пространства актуализируют признак **освещенности / неосвещенности**. Экспликация этого значимого для восприятия пространства признака в результирующем значении актуализирует семантический признак `преграда, препятствие`, являющийся основным при формировании этических и эстетических смыслов в метафоре.

Культурная логика восприятия пространства диктует осмысление хорошей видимости и, соответственно, возможности беспрепятственного продвижения, хорошей ориентации как признаков, формирующих положительные оценочные смыслы. Наличие же препятствия в продвижении, возможного из-за плохой видимости, определяет оценочное основание для не-

гативных сублимированных оценок человека. Например: **мизикать** “испускать слабый свет, мерцать” > “делать что-либо неумело, без знания дела (Челяб., Оренб.)¹⁸. Дифференциация исходных и сублимированных оценок в этом случае происходит по следующей схеме: сенсорная оценка, актуализированная по шкале нормативности (несоответствие представлению о визуальной четкости при зрительном восприятии пространства) взаимодействует с практическим оценочным смыслом — актуализацией признака препятствия, связанного со слабым освещением. Готовый метафорический результат — этическая оценка нестоятельности в каком-либо деле, неспособности сделать что-либо качественно — представляется оценочно полипризнаковой: актуализация практического оценочного смысла в метафоре вызывает ассоциативное представление о том, что какая-либо работа, выполняемая вслепую, притусклом, мерцающим свете, является некачественной, часто бесполезной по своему результату. Аспектуализация этого дескриптивно-оценочного компонента в исходном значении служит ассоциативным основанием при метафорической интерпретации этической оценки человека, берущегося за дело без необходимых для этого умений. Кроме того, план выражения этического содержания метафоры представлен аспектом негативной психологической оценки того, кто переоценивает свои возможности, не рассчитывает силы.

Таким образом, ценностные эквиваленты из области сенсорных (ориентированных на восприятие окружающего человека пространства) практических оценок (фиксирующих восприятие по отношению к норме) в исходном значении определяют при метафорическом пе-

переносе то семантическое основание, которое позволяет вывести оценку в результивном значении по нескольким параметрам, аспектуализировать этическое содержание оценочным смыслом “нечеткий”, “нерезультивный”.

Рассматривая механизм метафоризации с точки зрения его возможности интерпретировать этические проявления человека, можно наблюдать, что в языке диалектоносителя оценка чаще всего фиксирует *темные* стороны его души и поступков.

Например, через метафорический образ “облачного, затянутого тучами неба” (**наволочь**) оценивается “ тот, кто занимается темными делами”: *дружба у него все с какой-то наволочью* (Оренб., Тобол.). Актуализация в исходном значении семы отсутствия света, темноты создает в семантике исходного значения психологически оценочное содержание — ощущение тревожности и возможной опасности создает основу для ассоциирования с таким поступком, как желание человека скрыть от окружающих истинную сторону своих дел, сделать их как бы невидимыми.

Рассмотрим следующее наименование, в котором через исходное значение **затуманивать** “покрывать туманом” оценивается тот, кто “врет, говорит небылицы” (Гурьев). Основой для метафорического переноса в область этической оценки в рассматриваемом примере послужил признак нечеткости пространственных очертаний, которая становится преградой при рассматривании чего-либо. Нечеткость очертаний, трудности при ориентации в пространстве при метафорическом соотнесении с речеповеденческими проявлениями человека, а именно с его стремлением скрыть действительное, подать то, что говорит, в выгодном для него свете, то

есть сделать истинный смысл высказывания неясным для слушателей, вызывает в сознании образ тумана, зыбкости границ между действительным и выдуманным. Если быть точнее, то этот визуальный образ можно назвать образом отсутствия видимости, когда из-за препятствий для зрительной обработки информации возникает ситуация домысливания, являющаяся вторым, наряду с признаком нечеткости, семантическим компонентом дескрипции исходного значения, ассоциативная связь которых с миром поведенческих проявлений человека дает оценку его нравственным качествам в переносном, а именно нарушению моральных предписаний быть правдивым.

В следующих примерах можно наблюдать, как актуализация исходных сенсорных и практических оценок восприятия пространства служит мотивировочным основанием для комплексной оценки внутренних и внешних качеств человека: *меркотный* “сумрачный”: *день выдался меркотный: ни солнца, ни дождя* > “скучный, нудный”: *от такого меркотного хоть глаза завязывай да беги* (Бурят.), *невъятный* “тусклый, мутный, непрозрачный” (*стекло, невъятное от пыли*) > “невзрачный, невыразительный” (о наружности: *лицо у него какое-то невъятное*) (Дон.).

В последнем примере основанием для переноса в область эстетической оценки послужил признак “нечеткость, размытость изображения”. Эстетическая оценка внешности человека чаще всего распространяется на его лицо, ту часть тела, которая наиболее открыта для выражения эмоций и внутренних состояний. Обращаясь к метафоре с точки зрения ее возможностей “*прописывать действительность заново, схватывая в любом явлении сущностное*” (В. Н. Телия), в

образах человеческой невыразительности можно увидеть не только эстетическое проявление, но и этический аспект оценочного содержания метафоры, психологическую оценку душевной и эмоциональной невыраженности, “тусклости” личностных качеств. Ассоциативная связь понятий ***тусклый, нечеткий*** и ***невыразительный*** является скрытым семантическим механизмом, актуализирующим запрет на то, чтобы считать красивым человека, лишенного естественной выразительности. В реализации отрицательной эстетической оценки задействованы модальные значения, которые при помощи метафорического механизма выстраиваются в последовательную схему содержательной интерпретации мотивов этической оценки. Внешность человека и главным образом лицо, сравниваемые с чем-либо тусклым, непрозрачным, вызывают в сознании антропологически, культурологически обоснованное представление не только о неяркой внешности, но и личностной невыразительности, безликости.

309

В семантическом пространстве результативной оценки происходит сплав разных оценочных измерений; направленными на сферу внешних и внутренних проявлений человека являются разные по своей природе оценки – практические, сублимированные, эмоциональные. Исходная семантика образов, связанных с пространством, ориентирована на принципиальный синкретизм (поскольку пространство воспринимается не дискретно, а в комплексе своих параметров: затемненное, связанное с преградой, ненадежное, опасное). Выраженная в исходном значении амальгамированность оценок становится семантическим принципом выражения оценок в результативном. При этом в метафорической оценке, в отличие от общей

или частной оценок, проявляется уникальный механизм, позволяющий реализовать в переносном значении определенный аспект — вершину оценочного смысла, связанную с восприятием определенного образа: образа пространства, звучания, предмета и т. д. И в то же время актуализированный метафорой образ естественно сопряжен с набором разных признаков. Можно говорить о том, что метафора — это та область формирования оценки, преимуществами которой являются очевидная индивидуализация, обоснованность сублимированной оценки через ее соотнесенность с определенным исходным признаком-мотиватором и через него — с комплексом уточняющих, частных, аспектных смыслов.

310

В рамках пространственной модели метафоризации этические и эстетические проявления человека также интерпретируются через образы **пространственной локализации**. Анализ материала позволяет обнаружить, что эталоны расположения в пространстве зачастую устанавливаются при активном участии лексем-соматизмов, большинство из которых репрезентируют локализацию нравственных представлений по вертикали “верх — низ” или по горизонтали “вперед — назад”.

К числу таких метафор относятся лексемы, исходная семантика которых интерпретируется следующим образом: “принимать дугообразную, изогнутую форму, прогибаться, клониться”, например: гнуться “ломаться, упрямиться, как бы изгибаясь при попытках избежать чего-либо”: *гнулся, гнулся да и четыре тысячи дает, гнется весь* (М. Яр); **горбатого могила исправит** “о человеке с устойчивыми вредными привычками”: *Они и страшили меня, но горбатого могила исправит* (Б. Нест.). В обыденном соз-

нании такие части тела, как спина, плечи, нос, связаны на основании представления признаков функциональной способности перемещаться в пространстве относительно некоего стандарта расположения по вертикальной и горизонтальной осям координат. В норме для этих частей тела естественно занимать определенное положение: спина является основной вертикалью в теле человека. В случае употребления слов и выражений “гнет спину”, “гнется”, “ломается” в значении “угодничает”, “избегает чего-либо”, метафорический смысл оценки интерпретирует такое положение тела человека как нарушение его вертикального положения (спина воспринимается как своеобразный моральный хребет человека, которому надлежит, согласно поведенческой норме, быть *прямым, не гнувшимся*).

В этом случае можно говорить о том, что оценочная метафора фиксирует смещение вертикальной плоскости морального состояния (нарушение нормы держать спину, равно как и голову прямо, быть достойным) в горизонтальную, когда оценочная шкала не находит основания для выражения оценки “хорошо”, потому что народной этике, обыденному сознанию свойственна ориентированность на “вертикальные” показатели оценки. В то же время поведение человека, рассматриваемое в аспекте пространственно ориентированных оценок, оценивается отрицательно, если происходит смещение горизонтальной линии в вертикальную. Выражения со значением “задирать нос, голову”: **подоймать нос** “зазнаваться, презрительно относиться к окружающим”: *из нашего брата выйдет, нос подоймет, с хрестьяншиной не говорит* (Пет.) или **задрать хвост** “начать воображать”: *задрала хвост, не разговариват ни с кем.*

Вообразят много (Шум.) воспринимаются как оценочная интерпретация необоснованного “стремления” линий горизонтали к вертикали: для таких частей тела, как нос и голова, физиологически обосновано “располагаться” на горизонтальной оси, поэтому нарушение этого положения расценивается как нарушение поведенческой нормы быть доброжелательным, не смотреть сверху вниз.

Таким образом, метафоры с актуализированным признаком изменения частей тела в пространстве функционируют как этические оценки поведения человека: в одном случае идентифицируя или квалифицируя локализацию по вертикали, в другом — устанавливая эталон нормы расположения в системе координат относительно вертикальной и горизонтальной осей.

2. Достаточно продуктивными в случае этического и эстетического оценивания являются пространственно-временные модели, актуализирующие в метафорической оценке образы пространства, связанные с идеей движения.

Наиболее актуальными для интерпретации этических проявлений в рамках данной модели являются образы кривизны, ломанных линий, а также образы повторяющихся круговых движений. Эти элементы пространственной организации выступают как параметры оценки социальных появлений человека. Моделирующая функция кривого, кручения и кругового движения весьма продуктивна в случае концептуализации таких явлений, как обман и непостоянство. Общим значением всех относящихся к этому концепту проявлений становится интерпретация кривого как аномативного, нарушающего симметрию.

В языке диалекта обман устойчиво ассоциируется с чем-либо кривым и извилистым. Ме-

тафорические образы, связывающие идею нравственной несостоительности с извилистой дорогой, кривой тропинкой и т. д., передают концептуальное содержание в зрительно представимой форме, вызывают в сознании устойчивые ассоциации с сюжетами о загубленной душе того, кто пошел непрямой дорогой и окольным путем: **сувилистый** “извилистый, непрямой”: *тропинка в лесу извилистая* > “ложивый, изворотливый” он уж точно *сувилистый, не хочет правду сказать* (Мухоршибирск. р., Забайк.); **обкатывать** “объезжать вокруг” > “обмануть, обобрать” (Карел); **огибать** “сгибать” > “обманывать, надувать”: он *шибко огибает, хитрая такая огибала, не приведи бог* (Орл.).

Часто идея обмана метафорически связывается с образом круга, кружения: **круговой** “хороводный, круговой” > “ложивый, плутоватый” (Енис.); **кружить** “бродить, слоняться бесцельно по улицам” > “болтать вздор, чепуху” (Урал.).

Буквальное значение в подобных примерах метафор переносным значением усваивается двояко: с одной стороны, это оценка бесцельности – `слоняться`, с другой – представление о кружении связывается с запутыванием (важный элемент хороводной игры – спрятаться в круге), когда стираются границы начала и конца, не фиксируется что-то отдельное.

Аналогичные явления моделируют внутреннюю структуру физических и психических референтов, в качестве которых выступают представления о рациональном и иррациональном. Для метафорической интерпретации этих представлений о человеке используются образы перемещения в пространстве с актуализированными признаками кругообразного вращения, резкости, например: **крученъ** “о непостоянном, меняющем свои привязанности, симпатии чело-

веке”: если он бегает туды-сюды между девками`, сёдня — с тобой, завтра — с другой, то вот я называю его крутень (Б. Яр), **покручивать** “погуливать, кутить, вести разгульный образ жизни”: Он раньше маленько покручивал. Ну такой головорез! Ну бойкий, развитый! (Верш.), **крутить** “избегать прямого ответа с помощью каких-либо уловок, хитрить”: А у кого спросишь [Скажут]: “Иди к тому, у кого работал. А я тебя не видел, иди к тому”; И так вот, елки, начинают крутить (Верш.); **кривить душой** “быть неискренним, лицемерить”: На войне муж не был, не взяли. Неправда, отвертелся, не хотел служить, по правде сказать, я не люблю душой кривить (Мон.).

Выделяя в процессе анализа две группы метафорических оценок, ориентированных на сферы этического и эстетического в человеке, следует сказать о том, что по отношению к этическим проявлениям наиболее продуктивной оказывается пространственно-временная модель, реализующая в качестве исходных дескриптивных смыслов представления об определенным образом направленных движениях — по кривой линии — *сувилистый*, движении по кругу — *кружить*, о движении, содержащем компонент однонаправленности, однообразия и повторения — *крутень*. Процесс метафоризации в этом случае представляет собой семантический сплав взаимоуточняющих смыслов, прагматическим эффектом которого в результативном значении становится оценка социально значимых действий, оценка, выражающая одобрение / неодобрение в параметрах не только гуманизированных значений, но и в аспектах эффективности, нормативности, телеологичности действий человека. Оценка, содержащая пространственно-временный

компонент, в этом случае является аспектуализирующим параметром социально-нормативных действий человека — бытовых поступков, речевого поведения, поэтому можно говорить о ее дистальном характере — настроенности на то, что характеризует человека как социально активного индивида.

3. Противоположный пространственный вектор закрепляет в сознании носителей языка представления о проксимальных оценочных проявлениях, о том, что характеризуется применительно к самому человеку как определенным образом устроенному организму. В проксимальном пространстве, связываемом таким образом с особенностями внешнего вида человека, его физическим сложением, пространственные образы, чаще всего соотносимые с параметрическим представлением о размере и форме, организуют оценки в пределах оппозиций “большой — маленький”, “высокий — низкий”, “толстый — худой” как “эстетически ценный — неценный”, отражая представления о том, что непосредственно принадлежит человеку, его телу.

315

Таким образом, по отношению к эстетическим проявлениям человека устанавливается оценка, задающая **пространственную параметрическую модель** метафоризирования, которая реализует отношения дескриптивно-оценочной корреляции между исходными образами со значением формы, вида объекта и результативными образами с эстетической оценкой, определенный аспект которой представляют иные виды оценок.

В наибольшей степени эстетическая оценка устанавливается по отношению к тому, кто не соответствует стандартным представлениям о величине и росте. При этом наблюдаются сложные переплетения представлений о значимости

величины и формы, антропоцентричность же размера представляет сама стратегия измерения объекта в языке.

Коллективная обязательность эстетической нормы, рассматриваемой через метафорические наименования человека с эстетической оценкой, проявляется в предписании не считать красивым того, кто является чрезмерно толстым или худым, не отличается правильными пропорциями тела, как в случаях: **копна** “скирд хлеба” > “об очень высокой и толстой женщины”, **лесина** “тонкая, длинная жердь” > “о высоком человеке” (Пск., Твер.), **оглоблина** “оглобля” > “об очень высоком и худом человеке”: когда высокий — оглоблина называется или жердь скажут (Том., Кем.), **алясина** “длинный кнут” > “о высоком парне” (Яросл.), **лекан** “небольшой обрубок дерева” > “о толстом человеке, толстяке” (Вят.), **бабашка** “поплавок” > “о толстом, небольшого роста человеке” (Южн.-Сиб.), **корчага** “большой глиняный сосуд, горшок, служащий для хозяйственных надобностей” > “о толстом неповоротливом человеке” (Волог.), **голдобина** “бревно” > “медлительный, тяжелый на подъем, неуклюжий человек” (Пск.), **ладья** “выдолбленная из дерева лодка” > “о толстом неповоротливом человеке”: ладья есть ладья, не разбежится на работу (Олон., Яросл.).

316

Как можно видеть, онтологически несовместимые эстетические и практические нормы, отсылающие к разным видам оценок — рационалистическим и сублимированным — взаимопересекаемы и даже взаимозаменяемы в том случае, если в фокус оценки попадает человек. Эстетическая оценка, будучи выраженной в метафоре, пропускается через комплекс различных оценок и норм, которые в национально-культурном сообществе функционируют в каче-

стве критериев разнообразных ценностей, и апеллирует к социальным аспектам человека.

Как показывает анализ исследуемого материала, эстетическая оценка соответствует не только природным свойствам человека, комплексу его анатомических и психофизиологических особенностей, но и качествам, выходящим за границы компетенции эстетической нормы. Рассмотренные примеры убеждают, что социальные ограничения, накладываемые на эстетическую норму, сужают сферу распространения эстетической оценки, которая в определенной степени перераспределяет свои регулятивные функции между рационалистическими и психологическими оценками, ориентирующими на оценку полезных качеств человека как активного и работоспособного члена общества.

Проксимально ориентированные оценки настроены на метафоризацию эстетических явлений человека с точки зрения соответствия представлениям о пропорциях. Среди выделяемых признаков, актуализируемых моделью со значением параметризации, — `неправильное телосложение`, `тучность`, `чрезмерная полнота`, например: **дупленатый** “имеющий дупло, пустоту внутри”: *дуплената есь (картошка), в середине она тленая, испортится, то ли че за сохнет >* “излишне полный, рыхлый человек”: *а человек тоже бывает некошной, то ли я горбата, то ли я некошна — дуплената* (Забайк.), **раскваситься** “прокиснуть, пропасть, расплузться” > “располнеть, раздаться”: *у тебя талия все та же — не расквашена*” (Сверлд.), **разъезжаться** “расползаться, расплыватьсь (о тесте)” > “сильно располнеть”: *баба-то ваша совсем разъехалась, и в двери не войдет* (Арх., Холмог.), **развара** “вялый, неповоротливый человек, словно вареный”: *Развара говорят иногда, это*

кто тихо ходит или едет (Губ.), **ботеть** “разбухать”: *дверь-то разбухла, вот и не открывается* > “о толстом человеке”: *о толстом человеке скажут: ну совсем разботел* (Карел.).

Семантический признак “деструктурированный”, актуализированный в дескрипции исходного значения, транспонируется в метафорическое значение и тем самым не только объективно расширяет основание эстетической оценки, связанной с дескрипцией “толстый”, но и способствует актуализации негативной рационалистической оценки. Как изменившая свою структуру древесина, либо другой материал, теряет свои основные свойства, так и объект оценки, метафорически интерпретируемый через образ расползшегося теста, разбухшего дерева, воспринимается через практический аспект оценочного содержания — чрезмерно полный, рыхлый человек неэффективен в работе и характеризуется как медлительный и нерасторопный, то есть тот, от которого мало практической пользы.

Комплекс актуализированных в исходном значении оценочных смыслов коррелирует с эстетической, эмоциональной и рационалистической оценками. При этом полипризнаковость семантики исходного значения расширяет основание эстетической оценки, насыщает дескрипцию “непривлекательный” разноспектральными оценочными смыслами — сенсорно-гедонистическим и телеснологическим (оценка неэффективности болезненно полного, толстого человека в практическом деле). О метафорической возможности представления очень полного человека как квашни, трухлявого дерева и под. можно говорить как о способе визуальной концептуализации оценочно-дескриптивного содержания метафоры. Аксиологический механизм распределения

ления оценок исходного и результативного значений в метафоре позволяет рассматривать оценку размеров человека, отклоняющихся от нормы, как оценку его трудовых навыков и способностей. Тело бездельника и обжоры утрачивает присущие ему пропорции; объедение, лень, праздность делают человека некрасивым, безобразным и даже уродливым. В связи с этим параметрическая оценка выражает свой смысл через оппозицию “внутри – снаружи”, когда дурные внутренние свойства как бы выводятся наружу, обнаруживаются путем создания внешнего не-приглядного облика человека.

Важным для оценочной квалификации этико-эстетического проявления человека в рассматриваемых наименованиях становится морфемное значение приставки *раз-* как выражение крайней степени процесса изменения структуры. Смысл этого формантного показателя степени как в исходном, так и в результативном значении сводится к негативной оценочной семантике: `разбухнуть, развариться` – значит потерять полезные качества в самой сильной степени в отношении продукта (вспомогательного объекта) и объекта оценки. Актуализация в исходном значении сенсорно-вкусовой оценки (фиксирующей неприятный вкус, запах, вид), стандартной и практической оценок определяет мотивировочное основание для оценки того, кто *раскисает*, *разбухает*, т.е. теряет свои полезные в контексте трудовой деятельности качества и становится медлительным, инертным, вялым. В свою очередь, эти признаки результативного значения становятся семантической базой для квалификации вредных, аномальных и неудачных проявлений, оцениваемых по шкале психологических и этических оценок.

Анализируемый материал позволяет предположить, что частнооценочные смыслы структурируются в метафорическом значении по модели, характерной для метафорического переноса — от конкретного к абстрактному, то есть от конкретно-чувственных оценок к сублимированным. Действие аналогии при оценочном переосмыслении человека приводит к тому, что в метафорическом значении происходит более тонкая дифференциация оценочных смыслов. Конкретно-чувственные и практические оценки, ориентированные на предметную сферу, преобразовываются в сублимированные оценочные смыслы, аспектуализирующие эстетическую оценку (общее оценочное содержание) гедонистическим и рациональным оттенками, и тем самым переключают эстетический план оценки в социальный, указывая на такие качества эстетически оцениваемого человека, как полезность и эффективность его жизнедеятельности. Параметрический признак, связанный с представлением о величине, форме, объеме, задает параметры восприятия эстетического проявления человека по шкале соответствия практическим, нормативным,teleологическим оценкам, расширяя основания оценки, когда определенным деталям внешности приписываются признаки, связанные с проявлением характера, волеизъявления, привычек, всего того, что характеризует психоэмоциональную и социальную сферы человека.

Итак, в рамках данной работы была предпринята попытка выявления принципов формирования семантики этических и эстетических оценок человека через концептуальные представления о пространстве, которые при моделировании системы этико-эстетических представлений и соответствующих им гуманизированных

ных оценок выступают не просто как важнейшие образы культуры, но и как своеобразная “система координат” восприятия и отражения мира.

Поскольку в пространственные модели вписан сам человек, его как субъекта и объекта оценки можно рассматривать в двух плоскостях пространства: “ближнего” (проксимального) и “дальнего” (дистального) – именно эти сферы попадают в фокус оценки – этической (сфера поведения) и эстетической (внешнего проявления).

Человек вступает в сложные взаимоотношения с пространственным образом мира и прежде всего это проявляется в том, что, с одной стороны, он создается человеком, а с другой – активно формирует погруженного в него человека, что находит свое отражение в способности носителя языка моделировать представления о различных сферах жизни через образы пространства, времени, движения. Особый интерес вызывают принципы семантической корреляции самого сложного вида сублимированных оценок и образов пространства, через которые этические и эстетические оценки получают свою специфику, проявляющуюся в аспектуализации исходных признаков вертикально-горизонтальной структурированности, локализации, параметрической организации и т. д.

321

Анализ метафорических пространственных образов с этико-эстетической оценкой выявляет продуктивный при формировании ценностной картины мира механизм аксиологической взаимозависимости понятий нравственной ценности и локального расположения: архетипизированные в народной культуре пространственные образы верха и низа, дальнего и ближнего, центра и периферии сообщают исходному метафорическому значению значимую для оценки человека ценностную информацию. Восприятие

пространства уже настраивает на гуманизированную оценку с позиций “хорошо — плохо”, поэтому можно говорить о том, что нравственным понятиям присущ локальный признак, а локальным — нравственный.

Рассмотрев метафорические наименования с точки зрения актуализированной информации о пространстве, презентирующей аспекты оценочно-познавательной деятельности человека, мы отмечаем особую роль в организации метафорического значения практической оценки, актуальной как для исходных значений, так и для результативных. Практические оценки сопровождают первичные (сенсорные) оценки, аспектуализируют этические и эстетические смыслы, устанавливая логическую связь познаваемых оцениваемых объектов, определяя то, что имеет ценность в духовно-практической деятельности людей. Возможно, актуальность этого вида оценок обусловлена их функциональной направленностью: именно практические оценки позволяют передать человеку свои знания и опыт в освоении мира.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство – СПБ, 2000. С. 298.

² Лейвен-Турновцева Й. ван. Панстратические и панто-нические аспекты семантизации отклонений от нормы в стандарте и нон-стандарте европейских языков // Логический анализ языка: Языки этики. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 134 – 149; Рябцева Н. К. Этические знания и их “предметное” воплощение // Там же. С. 178 – 184.

³ Гак В. Г. Языковые преобразования // http://www-philol.msu.ru/slovphil/books/jsk_15pd...

⁴ Мишанкина Н. А. Метафорические модели звучания // Картины русского мира: аксиология в языке и тексте.

Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. С.164 – 194 (Серия “Монографии”; вып. 13).

⁵ Катунин Д. А. Метафорические модели времени // Там же. С. 139 – 164.

⁶ Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Перемещение в пространстве как метафора эмоций // Логический анализ языка. Языки пространств. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 277 – 289.

⁷ Писанова Т. В. Национально-культурные аспекты оценочной семантики (эстетическая и этическая оценки): Автoref. дис. ... докт. филол. наук. М., 1997.

⁸ Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени, восприятия). М., 1994. С. 272

⁹ Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр. М.: Языки русской культуры, 1999.

¹⁰ Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. 2-е изд., доп. М.: Эдиториал УРСС, 2002.

¹¹ Телия В. Н. О различии рациональной и эмотивной (эмоциональной) оценки // Функциональная семантика. М.: Наука, 1990. С. 31 – 38.

¹² Ермоленкина Л. И. Метафорическое моделирование этико-эстетической оценки человека в русских народных говорах: Автoref. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2003.

¹³ Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 387 – 415

¹⁴ Демьянков В. З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // ВЯ. 1994. № 4. С. 17 – 33.

¹⁵ Арутюнова Н. Д. Истина. Добро. Красота: взаимодействие концептов // Логический анализ языка. Языки эстетики: Концептуальные поля прекрасного и безобразного. М.: Индрик, 2004. С. 5 – 30.

¹⁶ Лукьянова Н. А. Экспрессивная лексика разговорного употребления. Проблемы семантики. Новосибирск: Наука, 1986.

¹⁷ Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Дом бытия языка:

В поисках новых путей развития лингвострановедения: Концепция логоэпистемы. М.: Икар, 2000. С. 114.

¹⁸ Пометы даются по следующим источникам материала:

Словарь русских народных говоров: В 34 вып. Л.: Наука, 1999;

Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1999;

Словарь говора д. Акчим Красновишерского р-на Пермской области. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1984;

Словарь образных слов и выражений народного говора / Под ред. О. И. Блиновой. Томск: Изд-во НТЛ, 1997;

Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей: В 5 вып. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1999;

Словарь русских говоров Сибири. Т. 1 (Ч. 1, 2) – 2 / Российская академия наук, Сибир. отд-е, Институт филологии. Новосибирск, 1999;

Словарь русских говоров Среднего Урала. Дополнения. Екатеринбург: Изд-во Уральск. ун-та, 1996.

324

Список сокращений (географические названия)

Акчим. — деревня Акчим Пермской области

Арх. — Архангельская область

Б. Яр — Белый Яр Томской области

Б.-Нест. — Больше-Нестерово Парабельского района Томской области

Байкал. — Байкальский район Читинской области

Бурят. — Республика Бурятия

Верш. — Вершинино Томского района Томской области

Влад. — Владими尔斯кая область

Волог. — Вологодская область

Вят. — Вятская область

Губ. — Губино Томского района Томской области

Дон. — районы, расположенные по течению реки Дон

Енис. — Енисейский район Красноярского края

Забайк. — районы, расположенные на территории Забайкалья

Карел. — Республика Карелия

Кем. — Кемеровская область

Мон. — Монастырка Шегарского района Томской области

Мухоршибир. — Мухоршибирский район Республики Бурятия

Олон. — Олонецкая область

Оренб. — Оренбургский район

Орл. — Орловская область

Пет. — Петухово Кривошеинского района Томской области

Пск. — Псковская область

Свердл. — Свердловская область

Том. — Томская область

Тобол. — Тобольский район Тюменской области

Твер. — Тверская область

Урал. — районы, расположенные на территории Среднего Урала

Челяб. — Челябинская область

Шум. — Шумиха Кемеровского района Кемеровской области

Юго-Зап.Сиб. — районы, расположенные на территории Юго-Западной Сибири

Южн.-Сиб. — районы, расположенные на территории юга Западной Сибири

Яросл. — Ярославская область

2.3

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ МЕТАФОРЫ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

326

В разделе рассматриваются варианты метафорического моделирования образов языка на основе семантики пространства в лингвистическом научном тексте, проводится мысль о существовании особых “линий метафоричности”, выявляющих теоретическое ядро, совокупность базовых концептов, лежащих в основе лингвистических направлений. Доказывается мысль о том, что пространственная метафора организует смысловое пространство исследований, выполненных в русле структурализма.

Предметом нашего анализа являются варианты метафорического пространственного моделирования образов языка в лингвистическом научном тексте.

Прежде чем приступить к обсуждению основного вопроса раздела, представляется необходимым охарактеризовать исходные теоретические установки и термины.

Система формирования лексической семантики на основе пространственных образов — одно из проявлений общей закономерности смыслового аналогического уподобления мира умопостигаемого явлениям физического,

чувственно воспринимаемого мира в языках. Как отмечал Б. Ли Уорф, пространственное представление является базисным способом моделирования сферы абстрактного в языках “европейского стандарта” (SAE): “Оно является частью всей нашей системы – объективизации – мысленного представления качеств и потенций как пространственных, хотя они не являются на самом деле пространственными (насколько это ощущается нашими чувствами). Значение существительных (в SAE), отталкиваясь от названий физических тел, ведет к обозначениям совершенно иного характера... Это зашло так далеко, что мы постоянно обращаемся к метафорам, даже когда говорим о простейших непространственных ситуациях. Я “схватываю” “нить” рассуждений моего собеседника, но если их “уровень” слишком “высок”, мое внимание может “рассеяться” и “потерять связь” с их “текением”...”¹ Пространственное моделирование сферы абстрактного является объединяющим началом, характеризующим стиль “европейского” мышления.

Отмечаемая многими исследователями универсальность пространственной интерпретации многих умопостигаемых явлений в языках как инвариантных структурах не снимает необходимости исследования **вариантов дискурсивного воплощения** этой общей закономерности. Острота вопроса о роли пространственного моделирования концептосферы **ученного текста** определяется тем, что одним из основных языковых механизмов воплощения рассматриваемой особенности в семантической организации языков выступает метафора, система метафорических номинаций.

Проблема “метафора и научный текст” является в настоящее время одной из дискуссион-

ных. Мнения колеблются от полного отрицания эффективности функционирования метафор, тем более терминов-метафор, в научном тексте вследствие размытости сферы референции метафорической номинации до признания парадигмальной значимости ключевых терминов-метафор в научном дискурсе: “...метафора — жизненный дух парадигмы (или, точнее, ее основная организующая связь), — подчеркивает D. J. Haraway². На наш взгляд, убедительным доказательством верности второй точки зрения являются результаты исследования А. Е. Седова, выявившего в работах российских генетиков закономерность смены “физикализма” метафорических образов сначала через создание метафор в “лингвистико-кибернетическом стиле”, а затем “анимизирующем”, что непосредственно соотнесено с этапами научного познания, “на пути в глубь генетических систем”³.

328

Исследование лингвистических текстов в данном аспекте также показывает, что научный дискурс реагирует на смену исследовательских теоретических установок при изучении и описании единого объекта-языка не только принципиальным изменением ядра терминосистемы, но и более общей лексико-семантической и лексико-стилистической трансформацией научного текста. В модификациях лексического слоя текстов, принадлежащих разным парадигмальным направлениям одной науки, можно проследить и особые “линии метафоричности”, порой весьма ярко представляющие, точно выявляющие теоретическое ядро, совокупность базовых концептов, лежащих в основе соответствующих направлений⁴.

Свообразие функционирования терминаметафоры в научном тексте определяется особой смысловой емкостью метафорической но-

минации. Смыловая объемность метафорического именования является следствием, во-первых, семантического сдвоения прямого номинативного и переносного, образного значения, рождающего особый эффект стереоскопичности смысла, вскрывающего глубинные, неявные, зачастую интуитивно, дологически воспринятые исследователем смыслы. Особая смысловая емкость метафорической номинации формируется наличием наряду с понятийным содержанием образного коннотативного слоя, расширяющего когнитивные возможности метафорического имени.

Во-вторых, метафорические номинации, как правило, объединяются в лексические поля на основе смыслового единства баз метафорического переноса — лексем с прямым номинативным значением. Текстовое введение одного из элементов поля приводит к актуализации смыслового фона всей парадигмы.

Взгляд на лингвистический текст сквозь призму термина-метафоры, а также систему ключевых метафорических обозначений текста, являющихся яркими показателями теоретической доминанты исследования, может служить одним из способов текстологического анализа научного произведения с целью выявления теоретико-методологических установок его авторов.

В пределах данного раздела мы стремимся показать концептоструктурирующую, эвристическую функцию метафорических номинаций, создаваемых на основе актуализации **пространственных смысловых компонентов** исходных номинативных значений в научном лингвистическом тексте. Обращение к данным функциям “ткани метафор” научного лингвистического текста позволяет выявить своеобразие опоры на пространственные образы при формировании

концептосферы разных научных лингвистических школ и направлений.

Говоря о характере образного пространственного моделирования ключевых концептов научного дискурса, следует отметить изначальную разнаправленность его действия. Пространственная метафора может выступать как в роли своеобразного инструмента “опредмечивания” научных абстракций, их насыщенные предметными коннотациями, так и в роли образного способа “распредмечивания научных понятий”, придания им качества “жестких” абстракций.

Такая двойная функционально-семантическая направленность пространственной метафоры реализуется с опорой на различные ряды конкретных метафороупотреблений. С одной стороны, это ряды лексических номинаций, в значение которых семантика пространства входит как один из компонентов предметного значения. Это такие лексемы, как *поле, дерево, ступень, порог* и т. д., ср.: *лексико-семантическое поле, дерево зависимостей, родословное дерево, словообразовательное гнездо, порог тождества единицы, корень слова* и др. В этом случае пространственное уподобление явлений и единиц языка явлениям и предметам внешнего мира выступает в качестве способа “опредмечивания” фрагмента мира мыслимого, “умозрительного”. Б. Ли Уорф называет его “объективизированным” или воображаемым, поскольку оно построено по моделям внешнего мира”. Пространство, данное нам в визуальном наблюдении, воспринимается через предметы, его наполняющие, вследствие чего его отражение насыщено предметными ассоциациями. Важнейшая предметная коннотация пространства — признак устойчивости, постоянства, яв-

лленности “здесь и сейчас”, данности в непосредственном визуальном и — часто — в тактильном ощущении.

Так, например, метафорическим термином *родословное древо* обозначаются **отношения** (“чистая”, “распредмеченная” абстракция) генетической зависимости **языков**, представленных в нашем сознании как некие сложно организованные ментальные сущности — образы-гештальты. Данные отношения предстают в предметно-пространственном образе дре-ва, насыщающем абстрактный терминологический смысл пространственными и предметными коннотациями.

С другой стороны, основой пространственного метафорического моделирования единиц и отношений языковой системы становятся лексемы *граница, круг, грань, уровень, плоскость, ярус, вершина*, именующие в прямом номинативном значении пространственный аспект бытия предметов (ср.: *граница лексико-семантического поля, вершина гнезда, ярус языковой системы, лексический уровень языка* и т. д.). В этом случае номинация явлений языка опирается на сферу-источник абстрактной пространственной семантики: лексемы *круг, линия, грань, плоскость* выступают в качестве пространственных абстракций конкретных предметов, вещей. Привносимая ими коннотация предметности является весьма ослабленной по сравнению со сферой-источником терминов первой группы и является основой дальнейшего абстрагирования при перенесении имени в сферу непредметного мира, мира, не данного нам в непосредственном визуальном и тактильном ощущении. Ср., например, метафору *круга языка* как среды существования человека, введенную в научный оборот В. Гумбольдтом.

Выдвижение пространственного аспекта бытия мира — это результат аналитического, абстрагирующего сознания. Это процесс “распределечивания”, который происходит прежде всего на основе актуализации, смыслового выдвижения признаков **размера и формы** визуально воспринимаемых предметов. Именно в процессах аналитического геометрического “распределечивания” внешнего мира формировался идеал европейской рациональности.

О фундаментальности геометрического метода Евклида для европейской системы рациональности, проявляющейся также и в формировании грамматической мысли, пишут Ф. Дж. Сталь, Л. Рено⁵. Геометричность как идеал формализованного знания, к которому должно стремиться **грамматическое описание**, кладется в основу создания средневековой грамматики модистов: “Через все сочинения модистов проходит мысль о том, что грамматика должна рассматривать строение слова, данного Богом Человеку как Дар Речи и Разума в единстве, в **полном отвлечении от того материала**, в котором они воплощены в конкретных языках”⁶. Геометризм в мышлении предстает как квинтэссенция аналитического метода — геометрический образ является способом интерпретации явления, вещи в аспекте формы. Основные операционные понятия, формируемые в результате такого направления абстракции, это *граница, круг, грань, уровень, плоскость, ярус, вершина, линия, ось, точка, верх – низ, центр – периферия, правое – левое*.

Вместе с тем пространственное моделирование мира — это и вычленение в его бытии аспектов **существования** различных элементов, **пространственного распределения** предметов, имеющих размер и форму, становящихся в ре-

зультате такого рассмотрения частями, элементами чего-то большего, целостного⁷. Структурированность – базовый признак пространства, вследствие чего путь пространственного моделирования объекта неизбежно выводит к осознанию его **структурности**.

При этом пространство предстает как среда сосуществования Я, человека, воспринимающего и именующего мир, и мира вещного, имеющего субстанциональную определенность и в то же время структурированность. Человек, анализируя этот аспект своего бытия, осознает свое единство с миром, включенность в его материальность и структурность, и в то же время мир предстает пространственно структурированным асимметрично, относительно человека.

Таким образом, пространственная метафора в научном лингвистическом тексте выступает в качестве лингвокогнитивного механизма, способного объединить различные смысловые тенденции:

– тенденции к “опредмечиванию” лингвистического понятия, насыщения его предметными коннотациями и его “распредмечиванию” – актуализации его абстрактного смысла, аспектированного через геометрический образ;

– тенденции к структурированию, представлению языка через образы пространственного соотношения и тенденции к актуализации его антропоцентричности. Мир в пространственных образах языка предстает антропоцентричным и антропометричным, будучи ориентированным и измеренным относительно и “по меркам” человека.

Возвращаясь к проблеме пространственного **метафорического** моделирования образов языка в **научном лингвистическом** тексте, отметим, что система пространственного моделиро-

вания сферы абстрактного в языках относится к более общему уровню обобщения, нежели действие базисной языковой метафоры. Пространственное моделирование — это общая линия смыслового аналогического уподобления сфер физического мира и мира абстрактного, умопостигаемого, проявляющаяся через действие ряда базисных метафор.

Анализируя роль метафорического моделирования в научном лингвистическом тексте, отметим, что линии метафоричности, во-первых, могут быть отражением общих лингвокогнитивных закономерностей формирования семантики в русском языке, в других языках европейского стандарта, по Б. Уорфу. Научный текст в значительной мере опирается на использование общеупотребительной лексики, вследствие чего в его структуру проникают лексемы, семантика которых построена на метафорическом пространственном образе.

Во-вторых, значимость пространственного моделирования языка, языковых элементов в лингвистическом научном тексте определяется своеобразием первичного материала анализа — Языка. Язык в изучении дан прежде всего как **текст**. Текст разворачивается как линейная последовательность единиц, имеющих пространственное бытие. В европейской грамматической традиции нашли отражение моменты формирования пространственных образов в грамматических терминах⁸, ср. термины, обозначающие элементы структуры слова, другие грамматические понятия: *корень слова, приставка, окончание, подлежащее, предложение, предлог, приставка, наречие, форма* и др. Внутренняя форма данных и многих других терминов обнаруживает явные лексико-семантические свидетельства осознания языка как пространственно развора-

чиваемого текста. Взаимосвязь, тесная взаимообусловленность пространственного образа языка как созданного текста и языка как “сказывания”, языка в его динамической сущности находит выражение во внутренней форме лингвистической терминологии, ср., например, *подлежащее и сказуемое*.

Значимость пространственных образов в формировании грамматической терминологии определяется и тем, что она складывалась при доминировании логико-математического идеала научности.

Вследствие этого пространственное моделирование в лингвистических работах выступает как универсальная модель формирования абстрактной семантики: выделяемые языковые единицы осознаются прежде всего как нечто обособленное, некая отдельность, предмет и, следовательно, предстают в их пространственной определенности: наделяются протяженностью, границами, соотнесенностью с другими предметами, внутренними и внешними сторонами и т. д.

335

Такие пространственные метафоры создаются в результате осознания отдельности фрагментов языка, что осуществляется через когнитивный механизм их опредмечивания, а следовательно, наделения его пространственными характеристиками. Это касается как языка в целом, так и его отдельных элементов.

И вместе с тем анализ научных лингвистических текстов свидетельствует о том, что в рамках различных научных направлений метафорические модели какой-либо одной семантической направленности могут “сгущаться”, отражая в образной структуре текста доминантные теоретические идеи. Именно в таком случае говорят о метафорическом отражении “жизненного

духа парадигмы". В ряду таких метафорических моделей находится и пространственная метафора, которая, вплетаясь в структуру научных текстов практически всех школ и направлений, при определенных теоретических установках может выходить на первый план, занимая статус парадигмальной.

Языкознание пережило по крайней мере смену трех парадигмальных направлений, в каждом из которых выделялся особый предмет исследования, в соответствии с которым формировалась исследовательские цели, методология.

Сравнительно-историческое языкознание представило аспект развития языков и взаимосвязанные дивергентно-конвергентные процессы исторической динамики бытия языков.

Структурная лингвистика проинтерпретировала синхронный аспект существования языка как системы знаков, сущность которых определяется положением в целостной структуре.

Функциональная парадигма создает модель языко-речевой деятельности как осуществляющихся процессов интеракции-коммуникации.

Каждое из направлений формирует свой понятийно-терминологический аппарат, в том числе опираясь на терминологию смежных наук и терминологизируя общенародную лексику. Своебразие научной парадигмы отражается и в системе терминов-метафор, привлекаемых для интерпретации языка, его отдельных аспектов, единиц, уровней и т. д., в особых сплетениях "ткани метафор". Можно говорить об отражении парадигмального теоретического единства в общности **основы** метафорической ткани научного текста.

Так, сравнительно-историческое языкознание опирается на идею изменчивости, создавая метафорический образ естественного организ-

ма языка, отражением чего является устойчивость **анимационных** моделей метафорообразования в лингвистических тестах, отражающих аспект исторической динамики языкового существования. Пространственно предметные образы *древо (дерево), корень, ветвь, семья языков, гнездо* входят в структуру терминов, отражающих разные аспекты генетической стороны языка, его элементов: *гнездо родственных слов, славянская ветвь индоевропейских языков, родословное древо европейских языков и т. д.* Ср., например: ...*происхождение грамматических форм устанавливается ... и путем сопоставления родственных по происхождению явлений, в течение тысячелетий разделенных друг с другом, но тем не менее несущих на себе отпечаток несомненных семейных черт; Отношения древнеиндийского языка к своим европейским родственникам настолько ясны...*⁹; *необходимо предположить не две, а три ступени развития человеческого языка: первая — создание, так сказать, рост и становление корней и слов; вторая — расцвет законченной в своем совершенстве флексии; третья — стремление к ясности мысли...*¹⁰

Для функциональной парадигмы ключевой является антропоморфная модель языка, в которой язык предстает не только и не столько как живой организм, но и как мыслящий и реализующий цели. Ср., например: *Мы “владеем языком” — но, в известном смысле, и он владеет нами. Говоря это, я вовсе не имею в виду возрождать в очередной раз красивую романтическую легенду о строе Muttersprache как некоей животворящей силе, направляющей наши мысли и поступки. Я только хочу сказать — и можно ли с этим не согласиться? — что язык соучастствует во всех наших мыслях и поступках, и что не в на-*

шей власти отменить или как-то произвольно локализовать это соучастие¹¹.

На наш взгляд, именно в рамках структурализма как целостного парадигмального направления создается последовательная пространственно организованная модель языка¹².

Структурализм интерпретирует язык прежде всего как некую пространственную модель, где ключевыми метафорами-терминами являются *уровни, точки, границы* и под. М. Макаров, рассуждая о смене лингвистических парадигм от структурализма к функционализму, связывает эти процессы с более общими парадигмальными изменениями в науке, заключающимися в переходе от “механистической онтологии Ньютона” к “дискурсивной онтологии Выготского”, как их определяют Ром Харрэ и Грант Жилет. Существенно важным представляется при этом истолкование онтологии как “научного способа вычленения и представления предмета анализа из совокупного объекта познания”, в том числе устанавливающего “систему координат, с помощью которой локализуются объекты исследования. В старой онтологии [Ньютона. — З.Р.] эту роль играют пространственно-временные рамки: какая-либо сущность идентифицируется и описывается по **своему месту в пространстве и времени**, причем в данный момент времени она может быть только в одной точке пространства; нечто, занимающее другую точку в пространстве в тот же самый момент времени, даже обладая абсолютно теми же свойствами, рассматривается уже как *другая сущность*”¹³.

Ярким образцом такого моделирования языка, его элементов, их отношений между ними служит уровневая модель языка, сложившаяся в рамках структурализма, модель, представ-

ляющая язык как “этажерку” *уровней*, где единицы, поднимаясь по *ярусам* стратификационной модели, обретают новые свойства.

Образ языка как некоего пространства, заполненного элементами, имеющими также предметно-пространственную определенность, отражается в терминосистеме структурализма. Функциональное доминирование пространственных образов проявляется и в текстах структуралистки ориентированных работ.

Продемонстрируем это положение на одном достаточно ярком противопоставлении метафорических систем в работах по математической лингвистике¹⁴ и работе, выполненной в рамках современного функционализма¹⁵.

В анализ вовлекались живые образные и генетические метафоры, метафоры-термины и метафорические номинации, относящиеся к общепринятой лексике. Анализ даже весьма незначительных по объему отрезков текстов обнаружил, с одной стороны, противопоставленность доминирующих в тексте метафорических образов, с другой — их непосредственную соотнесенность с противопоставленностью теоретических оснований соответствующих научных направлений.

И в работах структуралистов, и в работах Н. Д. Арутюновой непосредственным объектом описания является синтаксический уровень языка. При этом в текстах С. К. Шаумяна и Ю. К. Лекомцева доминирует пространственная метафора, представляющая синтаксический уровень языка как некую сферу соположенных единиц, для вскрытия глубинной сущности которых важны прежде всего их функции, понимаемые как соотношения, интерпретированные в пространственных образах (*древовидная диаграмма, верхний узел, нижний узел, конечный*

пункт построения, семантическая область, типовая инстанция, граница цепи сомножителей, верхняя граница и др. (С. К. Шаумян, Ю. К. Лекомцев), *терминальная цепочка, концевые вершины дерева, высота элемента, верхняя грань множества, конечные связные цепи* (Ю. К. Лекомцев), и пространственных действиях: *удаление дериватора, правила вывода, семантическая выводимость, правило удаления, число вхождений элементарных эпистемонов* (С. К. Шаумян, Ю. К. Лекомцев).

В работе Н. Д. Арутюновой при наличии пространственных метафор (*позиция субъекта, замещение, поле восприятия, сфера идентифицирующих значений и т. д.*) в отражении уровневой сущности единиц доминирует анимационная и антропоморфная метафора, представляющая сущность единицы как функцию. Но функция понимается в этом направлении лингвистики как роль, назначение единицы, что и является основанием метафорической интерпретации функций языковых элементов как драмы их отношений с другими элементами системы языка, миром и человеком: *значение приспособливается к выполнению заданий, позиция ремы не предъявляет требований, позиция сказуемого довольствовалась бы малым количеством семантики, сказуемое требует, сказуемое относится безразлично и т. д.*

Выводы, сделанные при сопоставлении двух текстов, характеризующихся различной методологической направленностью, но обращенных к одному объекту исследования, подтвердились и при сравнительном анализе работ, имеющих разные объекты, но объединенные методологически. В проанализированных нами текстах дериватологов, опубликованных в двух выпусках “Проблемы структурной лингвистики”¹⁶, об-

наружаются общие линии метафоричности с работами по структурному синтаксису.

Анализируемые работы выполнены в рамках структурного метода, имея предметом анализа фрагменты словообразовательной подсистемы языка через анализ словообразовательных гнезд. В работах разных авторов предпринимается попытка последовательно системного, структурного, синхронного описания гнезд: структурируются фрагменты лексикона, связанные отношениями производности.

Отношения производности, исторические, генетические по сути (производящее исторически предшествует производному, являясь предпосылкой его создания), моделируются как отношения синхронно существующих и отличающихся степенью формально-смысловой сложности единиц. Эта двойственность — **синхронно-структурная интерпретация диахронического процесса** — отражается в текстовом столкновении метафор, парадигмально закрепленных.

341

В теории словообразования, пережившей взлет в русистике в 1970 – 1990-е гг., активно дискутировался вопрос о том, возможен ли путь описания словообразования с позиций последовательного синхронизма, если сам объект по существу диахроничен. В результате теоретических дискуссий, конкретных исследований, проведенных на основе теоретических установок последовательного синхронизма, сложилась теория синхронного словообразования, интерпретирующая диахронические процессы в терминах соотношений.

Отражением своеобразия предмета и аспекта исследования — последовательно структуралистского описания диахронических явлений с позиций синхронизма — стало текстовое столкновение метафорических полей разной

направленности, столкновение анимационных и пространственных моделей метафорообразования. В ткани метафор таких текстов объединяются метафорические линии двух исследовательских подходов — диахронического и синхронно-системного, направленных на описание разных аспектов языка.

Объект анализа в лингвистических текстах этого направления обозначен метафорическими терминами, созданными по общей модели уподобления языка живому организму, процессов, в нем происходящих, процессам развития, жизни и смерти естественного организма. Это термины *гнездо родственных слов, родственные слова, однокорневые слова* и др.

Данный предмет исследуется в идеологии структурализма, вследствие чего анимационные метафоры соединяются с пространственными, геометрическими образами. Активно используются “геометрические” метафорические термины для обозначения отношений единиц в пределах гнезда родственных слов: *вершина, шаг, точка, зона, ступень, направление, расстояние, узел* и т. д.: ... двум членам **словообразовательного гнезда** могут соответствовать более чем два слова, так как на одной и той же **ступени** при одном и том же **направлении** производности могут встречаться равнопроизводные слова, списки которых могут быть достаточно велики”¹⁷; **Расстояние** между объектами будем определять модулем разности их частот, деленным на наибольшую из них... **Среднее расстояние** между производящими меньшее среднего расстояния между производными, отличия маркованных членов оппозиции значительнее, чем немаркованных; потомки близких дивергируют”¹⁸.

Термин *гнездо* употребляется как обозначения семантической и формальной обуслов-

ленности одного явления языка другим, проявляющегося как генетическая обусловленность, обозначаемая в лингвистических работах также метафорическим термином *родство* (элементов языка). Как отмечалось, термин *гнездо* является реализацией, конкретным вариантом воплощения ключевой парадигмальной анимационной метафорической модели “язык — живой организм”.

Использование этого термина в работах структурного направления является одним из способов маркирования объекта исследования — совокупности лексических единиц, генетически восходящих к одному источнику, связанных отношениями последовательной и параллельной производности.

В структуралистски ориентированных работах термин *гнездо*, сохраняя смысл “объединение родственных слов, восходящих к одному общему источнику”, получает новую интерпретацию: некое единство, устанавливаемое на основе формально-семантических соотношений. Вследствие этого ключевым термином при описании **отношений** слов в пределах гнезда становится метафорический термин *место*: *Живой и постоянно наблюдающийся в любом языке процесс — изменение значений слов и перестройка их структуры — приводит к изменению их места в гнезде, переразложению гнезд или даже отрыву от гнезда того или иного слова*¹⁹. Пространственный термин *место* (в гнезде) синонимичен другому метафорическому термину *точка гнезда* и интерпретируется как сфера реализации деривационной функции, результат применения деривационной операции, что обнаруживает его синонимичность базовому структуралистскому термину *значимость* (элемента системы): *Точки, порождающие гроздья синонимов,*

*зависят от части речи и, очевидно, от языка; “Грамматико-словообразовательная синонимия, возникшая в **точке** RRO, отражается далее в **точке** RRRO, т.е. в **зоне** вторичной суффиксальной имперфективации и возвратного залога от глаголов CB”²⁰. Наряду с геометрическими пространственными образами для обозначения отношений зависимости в пределах словообразовательного гнезда используются метафорические термины с предметно-пространственной исходной семантикой: *узел*, *ступень*, *такт*: Здесь (в структурном типе гнезд) на втором **такте** еще чаще, чем в **гнездах** предыдущей группы, встречается разнообразие префиксальных глаголов, третий **такт** представлен образованиями на -ся... [Альтман, с. 59]; двум членам словообразовательного гнезда могут соответствовать более чем два слова, так как на одной и той же **ступени** при одном и том же направлении производности могут встречаться равнопроизводные слова, списки которых могут быть достаточно велики²¹; В изображении ряда при помощи векторных графов кружком с точкой внутри обозначается терминальный *узел* хорошо интерпретирующейся *ветви*²².*

Последовательность точек (ступеней, тактов) гнезда образует *линии*, *ветви* или *цепи*. Линии графа с расположенными на них точками моделируют взаимные отношения производных слов и их соотношения с исходным непроизводным словом и организуют пространство гнезда в целом.

Термином *вершина гнезда* обозначается непроизводное слово, исходная единица порождения в рамках единства родственных слов.

Состав гнезда интерпретируется в пространственном метафорическом термине *граница*: *Одна из основных проблем, возникающих при*

*построении словообразовательного гнезда, — это проблема его **границы** в синхронном плане²³.*

Деривационные отношения могут быть представлены **статично** в графической метафоре, образно обозначаясь как *ветви графа* или *цепи*, ориентированные относительно *вершины*. Характер деривационных зависимостей также определяется в терминах статичных пространственных соотношений: термин *расстояние* обозначает степень формально-семантической зависимости соотносимых единиц гнезда: *«Расстояние между объектами будем определять модулем разности их частот, деленным на наибольшую из них.... Среднее расстояние между производящими меньше среднего расстояния между производными, отличия маркированных членов оппозиции значительнее, чем немаркированных; потомки близких дивергируют»²⁴*. Результаты деривационных операций отражаются в метафорических терминах положения относительно вершины гнезда: *ниже по цепи* является метафорическим пространственным обозначением сложности деривационной истории единицы, являющейся результатом последовательного применения деривационных трансформаций.

Деривационные отношения могут определяться также в пространственно-динамической метафоре — метафоре перемещения в физическом пространстве. Вводится метафорический термин *шаг* для обозначения деривационного отношения: *Межшаговые синонимы моделируются различными точками гнезда, находящимися на одной и той же линии либо на параллельных линиях векторного графа; В трехзвеневых видовых цепях картина сдвигается на шаг*²⁵. Деривационное производство единиц — *удлиняет цепи*, что приводит к их *смещению*.

Свойство целостности гнезда как комплексной языковой единицы объективируется в метафорическом термине *разрыв гнезда*, обозначающем нарушение целостности как нормы существования гнезда в структуре языка: *Однако как и всегда при исследовании каких-либо языковых отношений, здесь возникает опасность не заметить проявления какой-либо тенденции (применительно к нашей теме – это перестройки или разрыва гнезд)...; Речь идет не всегда только об отрыве слова от гнезда, но чаще – разрыве гнезд, перестройке их структуры и образовании новых гнезд*²⁶.

Обратим внимание на актуализацию внутренней формы метафорического термина *разрыв гнезда* в следующем контексте: *С нашей точки зрения, “аварийное состояние” гнезда, содержащее производные от city и от citizen, диагностируется структурой графа на рис. 11. Разрыв гнезда* вполне вероятен, несмотря на допустимость словообразовательных отношений между *city* и *citizen* (в случае изоляции из гнезда)²⁷.

Пространственная целостность осмысливается в противопоставлении центра и периферии: *Не раз было показано, что новообразования, предсуществующие в сокровищнице языка* [Флоренский, 1972, 350], демонстрируют продуктивное, *центральное* в его оппозиции непродуктивному, *периферийному* [Карцевский, 1927, 41 – 42, 1...]²⁸ Словообразовательное гнездо представлено в работах структуралистской направленности не только как некое целостное пространство, структурированное системой геометрически простираемых отношений, но гнездо в соответствии с постулатами структурализма рассматривается как элемент структуры словообразовательной

подсистемы языка, входящим в отношения функционального распределения с другими гнездами. Этот аспект структурного анализа словообразовательного гнезда также представлен в метафорическом термине, построенном на актуализации пространственного образа. В описание функционального распределения гнезд словообразовательной подсистемы вводится термин *окружение*: ***Расширение областей действия*** рассматриваемой структуры Л-гнезд обязано лишь расчленению уже существующих Л-гнезд. Поэтому многим Л-гнездам, состав которых изменился, приходится прописать новую словообразовательную структуру. Подобная процедура позволяет обнаружить ***ближайшее окружение*** обсуждаемого С-гнезда, перевести описание С-гнезда на язык размытых множеств, охарактеризовать каждое гнездо возможными для него флюктуациями. В ***ближайшее окружение*** рассматриваемого гнезда входят С-гнезда того же типа, отличающиеся от данного, например, наличием существительного²⁹.

347

Таким образом, гнездо как система родственных слов, осмысливаясь в идеологии структурализма, стремящейся генетический аспект трансформировать в структурный, описывается и использованием своеобразного наложения на “генетическую” анимационную метафору структурной пространственной метафоры, представляющей соотношения (функции) элементов гнезда³⁰. Данный тип пространственного моделирования обобщается в метафоре *дерева зависимостей*. Представляется важным и интересным проследить смысловые трансформации метафорического образа *дерева* при его функционировании в текстах разных лингвистических направлений.

Метафора-термин отличается синтетичностью образа, сохраняет базовые свойства метафоры как лингвокогнитивной единицы, среди которых — наложение аналитического и образно-синтетического начал в формировании целостного значения. С одной стороны, метафора может быть проинтерпретирована как уподобление/отождествление явлений по одному, ведущему, базовому признаку (следствием чего являются имеющие право на существование утверждения о том, что метафора — это скрытое сравнение), с другой стороны, метафора строится как процесс отождествления целостных, гештальтных смыслов. Именно вследствие своей синтетичности метафора *дерева* передает смысл родства языков как генетического тождества. Термин вбирает все предметные коннотации *дерева* как живого организма — идеи связности, единства всех частей (ветви, ствол, корень), изменчивости, роста (а также благоприятных и неблагоприятных условий для роста в окружающей среде), старения, смерти и т. д. Как известно, все эти образы активно использовались и используются при описании генетического аспекта бытия языка. Вместе с тем в диахронической лингвистике в метафорическом образе дерева актуализируется и пространственный аспект. Дерево одновременно предстает и как линейная графическая структура, образно в пространственной форме моделирующая временные процессы и временные отношения языков. В данном случае пространственный образ служит передаче причинных, в основе своей генетических, отношений, что является частным случаем языкового отражения взаимосвязи категорий пространства и времени. Процессы формирования языкового своеобразия, протекающие во врем-

мени, моделируются графически в пространственных соотношениях линий — ветвей: чем ближе ветвь в графической модели дерева к основанию ствола, тем ранее обозначился процесс языковой дивергенции, данным пространственным образом обозначенный. Степень близости мест расхождения ветвей в графической модели дерева служит средством пространственного моделирования времени процессов языковой дивергенции, приводящих к языковому обособлению. Моделируется временной процесс и его результат — языковое обособление, структурное распределение языков, существующее здесь и сейчас как результат длительных исторических процессов.

Таким образом, одна метафорическая номинация служит выделению нескольких аспектов обозначенного явления на основе контекстной актуализации различных аспектов исходного образа.

В структурной лингвистике лексема *дерево* в метафорическом значении входит в другое терминологическое сочетания, образуя термин *дерево зависимостей*. Как известно, понятие отношения, зависимости является ключевым в терминосистеме структурализма, как понятие родства в пределах сравнительно-исторической парадигмы. В структурализме анимационный аспект метафоры *дерева* максимально дезактуализируется, на первый план выдвигается собственно пространственный образ дерева. “Натуральная” метафора математизируется, предстает как геометрическая схема отношений.

Графы-ветви дерева зависимостей служат средством моделирования типа отношений, направления семантических и синхронно-функциональных связей, но не временных.

В анализируемых нами работах по структурной дериватологии метафора *дерева зависимостей* объединяется с метафорическим термином *словообразовательное гнездо*. Слово *гнездо* в прямом номинативном значении называет специально подготовленное место, вместилище для кладки яиц и выведения птенцов птицами; эти смыслы имплицируют семантические компоненты “родство”, “восхождение к одному источнику”, то есть аспекты генезиса явления.

В анализируемых текстах гнезда интерпретируются как “дерево зависимостей”, представленное в виде “векторного графа”: “Грамматико-словообразовательные синонимы в русском языке связаны только с глагольной ветвью графа гнезда”³¹.

В системе зависимостей векторного графа оказывается существенно важной фиксация:

— *симметрии и асимметрии*, выступающих в качестве метафорических номинаций обратимости и необратимости отношений производности: *Отношение производности не просто направлено, оно односторонне: производящее и производное не могут меняться ролями — имея это в виду, говорят, что отношение производности антисимметрично;*

— *параллелизма* как метафоры тождественности какого-либо аспекта единицы: *Первоочередная задача изучения параллелизма производных — эксплицировать в модели словообразовательной системы языка различие словообразовательной вариативности и словообразовательной синонимии*”;

— *направления* как метафорического обозначения типа зависимости: *Может фиксироваться двунаправленная выводимость, или двусторонняя мотивация*³² и т. д.

Таким образом, представление о языке как пространстве, структурированном, заполненном элементами, имеющем пространственную маркированность, проявлено во всех направлениях лингвистики, начиная от античных грамматик, объектом непосредственного анализа в которых был текст, однако в структурализме эта модель оказывается доминирующей метафорической моделью.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Уорф Б. Л. Отношение норм поведения к языку // <http://www.philosophy.ru/library/whorf/01.html>, с. 7.

² Цит. по: Седов А. Е. Метафоры в генетике // Вестник Российской академии наук. 2000. Т. 70, № 6, С. 526.

³ Там же. С. 526 – 534.

⁴ О “духе времени” в науке, формируемом “тканью метафор”, говорит П. Серио, характеризуя историческую смену доминирующих научных теорий: “Постараемся выявить это вытесненное прошлое, эту основу знаний и незнаний, эти основоположные отсылки, эту ткань метафор, которая поддерживает научную деятельность, это надежное прочное ядро знаний и догм, которое дает исследователям твердую почву под ногами, но скрывает от них другие пути мысли” (Серио П. Структура и целостность. Об интеллектуальных истоках структурализма в Центральной и Восточной Европе. 1920 – 30-е гг. М., 2001. С. 51).

351

⁵ См. об этом: Парубок А. В. О методологических основаниях индийской лингвистики // История лингвистических учений: Средневековый восток. Л., 1981. С. 155.

⁶ Бокадорова Н. Ю. Грамматика и метафизика модистов как явление позднесредневековой культуры // Логический анализ языка: Языки этики. М., 2000. С. 428.

⁷ “Пространство воспринимается как протяженность (рядоположенность и сосуществование различных элементов), в качестве свойств пространства выделяется

структурность (существование и взаимодействие элементов, наличие внутренних связей, наличие изменений), связность и непрерывность, относительная прерывность, проявляющаяся в раздельном существовании материальных объектов и систем, имеющих определенные размеры и границы” (Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 519 – 520).

⁸ Как известно, русская грамматическая терминология формируется, в основе своей, на пути заимствования или калькирования греческой грамматической терминосистемы, которая формировалась для описания правил создания правильного письменного текста.

⁹ Бонн Ф. Сравнительная грамматика санскрита, зенда, армянского, греческого, латинского, литовского, старославянского, готского и немецкого // Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. М., 1960. Ч. 1. С. 31.

¹⁰ Гримм Я. О происхождении языка // Там же. С. 60.

¹¹ Гаспаров Б. Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового существования. М., 1996.

¹² Симптоматично, на наш взгляд, появление “геометрических” метафор, их пересечение с анимационной метафорой сравнительно-исторической парадигмы при обращении историка языка к методологии структурализма. В. Топоров пишет: *Пытаясь учесть и элементы структурного подхода, и элементы, осуществляющие контроль и корректирующие правильность данной этимологии (аналог “обратной связи” в некоторых системах), можно предложить следующее понимание задач этимологии: определение координат разных систем (фонологической, словообразовательной, лексической, семантической, поэтической и т. п.), пересечение которых порождает данное слово, и определение последующей траектории слова* (выделено нами — З.Р.) (Топоров В. Н. Общие проблемы этимологии и некоторые смежные проблемы // Топоров В. Н. Исследования по этимологии и семантике. Т. 1: Теория и некоторые частные ее приложения. М., 2005. С. 25).

¹³ Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М., 2003. С. 16.

3. И. Резанова. Пространственные метафоры в лингвистическом тексте

¹⁴ Тексты: *Шаумян С. К., Лекомцев Ю. К.* Алгебраические аспекты аппликативной грамматики // Проблемы структурной лингвистики. 1971. М., 1972. С. 5 – 34; *Лекомцев Ю. К.* Деревья НС и делимитат структуры по объединению // Там же. С. 34 – 47.

¹⁵ *Арутюнова Н. Д.* Логико-коммуникативная функция и значение слова // Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1988. С. 1 – 91.

¹⁶ Проблемы структурной лингвистики. 1979. М., 1981; Проблемы структурной лингвистики. 1984. М., 1988.

¹⁷ *Альтман И. В.* Отглагольные гнезда // Проблемы структурной лингвистики. 1979. М., 1981. С. 54 – 55.

¹⁸ *Гинзбург Е. Л.* Преобразования словообразовательных гнезд. 1 // Там же. С. 46.

¹⁹ *Альтман И. В.* Отглагольные гнезда // Там же. С. 55.

²⁰ *Соболева П. А.* Синонимия в словообразовательном гнезде // Проблемы структурной лингвистики. 1984. М., 1988. С. 6.

²¹ *Альтман И. В.* Указ. соч. С. 59, 54 – 55.

²² *Емельянова Н. В.* Снятие асемантической полифории в словообразовательном ряду // Проблемы структурной лингвистики. 1984. М., 1988. С. 34.

²³ *Барченкова М. Д.* Границы словообразовательного гнезда // Проблемы структурной лингвистики. 1979. М., 1981. С. 60.

²⁴ *Гинзбург Е. Л.* Указ. соч. С. 46.

²⁵ *Соболева П. А.* Синонимия в словообразовательном гнезде // Проблемы структурной лингвистики. 1984. М., 1988. С. 4, 6.

²⁶ *Альтман И. В.* Указ. соч. С. 55.

²⁷ *Барченкова М. Д.* Указ. соч. С. 68.

²⁸ *Гинзбург Е. Л.* Указ. соч. С. 45.

²⁹ Там же. С. 46.

³⁰ Как отмечается в ФЭС, “к специфическим (локальным) свойствам пространства материальных систем относятся симметрия и асимметрия, конкретная форма и размеры, местоположение, расстояние между телами, пространственное распределение вещества и поля, границы, от-

деляющие различные системы” (Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 519 – 520).

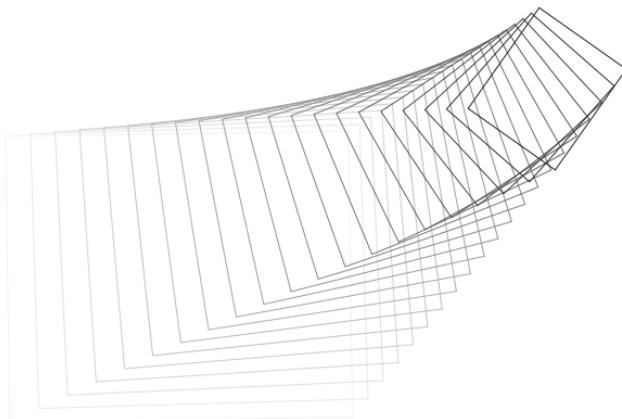
³¹ Соболева П. А. Указ. соч. С. 5.

³² Гинзбург Е. Л. Указ. соч. С. 42, 15, 48.

ANNOTATIONS

ЛИТЕРАТУРА

ОБ АВТОРАХ



ANNOTATIONS

Poryadina Rita N.

Spiritual World in Space Models

The idea of commonness of the physical, natural and spiritual world perception models was the basis of the analysis in the article given. The images of space structure function as geographic space prototypes. They are models of information processing of the way human beings exist in the natural and social world. The natural organisation of the universe is transferred on the spiritual world of people, reflected in language and culture. The models of motion within the space, of special scope, the vertical model “top – bottom”, the three-dimensional model “inner – outer” and the distance model “close – distant” are described.

357

Gyngazova Ludmila G.

Physical and Spiritual Space

in Discourse of Traditional Culture Bearer

The given part describes space categories realised in the discourse of the traditional culture bearer's linguistic individual. Outer physical and inner spiritual space in the perception of a definite language bearer is described.

Emer Yulia A.

Folklore Text: Space Structure of Genre

The given part contains the results of the research of the world-modelling function of the space constituent of the frame “adultery” in lyric songs and chastooshkas. Following the genres' purpose, communicative tasks, aesthetics, the space constituent of the genres considered is of

major significance in the folklore world pattern creation. The category analysed both pictures the empiric space and explains the hero's behaviour and values, determines and models his world image.

**Tubalova Inna V., Emer Yulia A.
Space Structure of Holiday Discourse**

In the given part of the monograph the space structure of the holiday discourse is considered. The material the research was carried on was the holidays “Posledniy zvonok” (school / university-leaving party) and “Posvjashcheniye v studety” (students' initiation party). Holiday space, given as an opposition to everyday one, is organised according to the archaic ritual and mythological model. Such an organization of holiday discourse is caused by the tasks of the holidays' considered – to model the initiation ritual.

358

**Korolyova Yulia V.
Category of Space and Ways
of its Transformation in Language**

Many scientific works of various spheres of knowledge discuss the problem of defining the scope of the category of space and its content. Like philosophy and sociology, linguistics tends to consider physical space as primary, while other forms of space existence are described as secondary, which is the result of additional cognitive operations in brain and language representation. The fact is that space notions are interpreted in a number of ways, but the connection between space and non-space meanings is considered genetically modified. The idea is supported by the steady models of transforming the primary space meaning into the secondary one existing in language. The transformation affects contents of

both language categories and separate units, including verbal prefixes.

**Dronova Lyubov P.
Space Image, Close and Distant**

The given part presents evidence of deep historical roots of connection between the categories of space and general evaluation. Reconstruction of notions that organise the space world of a human being shows that these notions were of major significance at the earliest and subsequent stages of Indo-European culture as they were widely used when forming the category of general positive and negative evaluation, and, possibly, the category of being.

**Tolstik Svetlana A.
Russian Parameter Appearance Image:
Concept “Thin” in Synchronism
and Diachrony**

359

Integrated historical, etymological, linguistic and culturological analysis demonstrates diverse correlations of space characteristics of person's appearance and evaluation: by means of lexis various subcultures verbalise with more or fewer details the structure of the nationally peculiar concept “thin” in its evolution.

**Katunin Dmitry A.
Space Aspects of Metaphorical
Characteristics of Time
in Russian Language World Image**

In the given part initial space meanings are analysed. They may represent metaphorically the category of space in Russian language world image. The fragments of the world image where space images operate according to a model that highlights temporal characteristics are singled out and

described. The patterns are traced both on semantic and grammatical levels of models analysed.

**Yermolenkina Larissa I.
Space Metaphorical Models
of Ethic and Aesthetic Evaluation**

The given part describes axiological models of metaphors with ethic and aesthetic evaluation of a human being. Metaphorical transfer is analysed, which is connected with basic cognitive information on space and resulting humanised evaluation. The notions of the shape, size, vertical and horizontal structure, location, etc form one of the aspects of this evaluation. Thus the task of finding the principles of metaphorical correlation of images from the mental space of the human's ethic and aesthetic notions and from the physical space is solved.

360

**Rezanova Zoya I.
Space Metaphors in Linguistic Texts**

The given part describes variants of metaphorical modelling of language images on the basis of space semantics in the linguistic scientific text. The idea conveyed is that there are peculiar "lines of metaphoricalness" that bring out the theoretical nucleus, the whole of the basic concepts that underlie the linguistic branches. The thought that space metaphor structures the notional space of structuralism linguistic researches is proved.

ЛИТЕРАТУРА

Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. М.; Л., 1958 – 1989.

Авилова Н. С. Вид глагола и семантика глагольного слова. М., 1976.

Адоньева С. Б. Фольклористика и современное гуманитарное знание // Первый всероссийский конгресс фольклористов: Сб. докладов. М., 2005. Т. 1.

Адоньева С. Б. Прагматика фольклора. СПб., 2004.

Альтман И. В. Отглагольные гнезда // Проблемы структурной лингвистики. М., 1981.

Аникин В. П. Теория фольклора: Курс лекций. М., 1996.

Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.

Апресян Ю. Д. Избранные труды: В 2 т. Т. 2. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.

Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Интегральное описание языка и системная лексикография. Избранные труды. М., 1995. Т. 2.

Арутюнова Н. Д. Об объекте общей оценки // Вопросы языкоznания. 1985. № 3.

Арутюнова Н. Д. Логико-коммуникативная функция и значение слова // Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1988.

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1999.

Арутюнова Н. Д. О стыде и совести // Логический анализ языка: Языки этики. М., 2000.

Арутюнова Н. Д. Язык цели // Логический анализ языка. Избранное. 1988 – 1995. М., 2003.

Арутюнова Н. Д. Истина. Доброта. Красота: взаимодействие концептов // Логический анализ языка. Языки эстетики: Концептуальные поля прекрасного и безобразного. М., 2004.

Банкова Т. Б. Лексика томского городского просторечия (типология описания): Дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1987.

- Барченкова М. Д.* Границы словообразовательного гнезда// Проблемы структурной лингвистики. М., 1981
- Бахтин М. М.* Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000.
- Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества. М., 1986.
- Белоусов А. Ф.* Школьный быт и фольклор. Ч. 1 – 2: Учеб. материал по русскому фольклору. Таллин, 1992.
- Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 2002.
- Бидерманн Г.* Энциклопедия символов. М., 1996.
- Богатырев П. Г.* Вопросы теории народного искусства. М., 1971.
- Богуславский В. М.* Человек в зеркале русской культуры, литературы и языка. М., 1994.
- Бокадорова Н. Ю.* Грамматика и метафизика модистов как явление позднесредневековой культуры // Логический анализ языка: Языки этики. М., 2000.
- Бонн Ф.* Сравнительная грамматика санскрита, зенда, армянского, греческого, латинского, литовского, старославянского, готского и немецкого // Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. М., 1960. Ч. 1.
- Борисов С. Б.* Субкультура девичества: российская провинция 70 – 90-х гг. ХХ в.: Автореф. дис. ... канд. филол. наук // www.ruthenia.ru/folklor
- Борисова С. Н.* Пространство – Человек – Текст. Ульяновск, 2003.
- Бохонная М. Е.* Эстетическая интерпретация “вещного” мира в языке среднеобского фольклора (на материале лирической песни и частушки): Дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2006.
- Брагина Н. Г.* Фрагмент лингвокультурологического лексикона (базовые понятия) // Фразеология в контексте культуры. М., 1999.
- Брагина Н. Г.* Память в языке и культуре. М., 2007.
- Бродский И. А.* Путешествие в Стамбул // Бродский И. А. Форма времени: Стихотворения, эссе, пьесы: В 2 т. Т. 2: Стихотворения, эссе, пьесы. Минск, 1992.

Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Перемещение в пространстве как метафора эмоций // Логический анализ языка. Языки пространств. М., 2000.

Бушнелл Д. Грамматика настенных надписей // Психологические особенности самодеятельных подростково-юношеских групп. М., 1990.

Вараксин Л. А. Семантический аспект русской глагольной префиксации. Екатеринбург, 1996.

Василевич А. П. Концепт телосложения в восприятии наивного носителя языка: часть и целое // Язык и когнитивная деятельность. М., 1989.

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1997.

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов / Пер. с англ. А. Д. Шмелёва. М., 2001.

Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Дом бытия языка: В поисках новых путей развития лингвострановедения: Концепция логоэпистемы. М., 2000.

Вершининский словарь / Гл. ред. О. И. Блинова. Т. 1 – 7. Томск, 1998 – 2002.

Вихрос И., Щербаков А. Большой финско-русский словарь / Под ред. В. Оллыкайнен и И. Сало. 3-е изд., стер. М., 1996.

Волохина Г. А., Попова З. Д. Русские глагольные приставки: семантическое устройство, системные отношения. Воронеж, 1993.

Вольф Е. М. Субъективная модальность и семантика пропозиции // Прагматика и проблемы интенциональности. М., 1988.

Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. 2-е изд., доп. М., 2002.

Воркачев С. Г. Национально-культурная специфика концепта любви в русской и испанской паремиологии // Филологические науки. 1995. № 3.

Всеволодова М. В., Владимирский Е. Ю. Способы выражения пространственных отношений в современном русском языке. М., 1982.

Гак В. Г. Номинация действия // Логический анализ языка. Модели действия. М., 1992.

Гак В. Г. Языковые преобразования. М., 1998.

Гак В. Г. Пространство вне пространства // Логический анализ языка. Языки пространств. М., 2000.

Гак В. Г. Языковые преобразования // http://www-philol.msu.ru/slovphil/books/jsk_15pd...

Гаспаров Б. Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового существования. М., 1996.

Гжегорчикова Р. Понятийная оппозиция верх — низ (пол. ‘wierzch’ — ‘spyd’) и языковая модель пространства // Логический анализ языка. Языки пространств / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова, И. Б. Левонтина. М., 2000.

Гинзбург Е. Л. Преобразования словообразовательных гнезд. 1 // Проблемы структурной лингвистики. М., 1981.

Гинзбург Е. Л. Преобразования словообразовательных гнезд. Синонимия однокоренных // Проблемы структурной лингвистики. М., 1988.

Гловинская М. Я. Семантика глаголов речи с точки зрения теории речевых актов // Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993.

Гольдин В. Е. Теоретические проблемы коммуникативной диалектологии: Дис. в виде научн. докл., представленная на соиск. учён. степени докт. филол. наук. Саратов, 1997.

Гольдин В. Е. Внутренняя типология русской речи и строение русистики // Русский язык сегодня. М., 2000.

Гольдин В. Е. Доминанты традиционной сельской культуры речевого общения // Аванесовский сб. К 100-летию со дня рождения чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесова. М., 2002.

Гrimm Я. О происхождении языка // Звеницев В. А. История языкоznания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 1. М., 1960.

Гужова И. В. Праздник как феномен культуры в контексте целостного подхода: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. Томск, 2006.

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.

Гуревич П. С. Проблемы субкультуры в современной западной социологии // Социологические исследования. 1998. № 10.

Гусев В. Е. Эстетика фольклора. Л., 1967.

Гынгазова Л. Г. Словарь диалектной языковой личности как отражение концептуализации мира // От Словаря В. И. Даля к лексикографии XXI века. Владивосток, 2002.

Даль В. И. Пословицы русского народа: В 3 т. СПб., 1996.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. / Под ред. проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ. Т. 1: А – З. М., 1998.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. / Репринтное воспроизведение издания 1903 – 1909 гг. Под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ. М., 1994.

Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. 2-е изд. М., 1976.

Дементьев В. В., Седов К. Ф. Социопрагматический аспект теории речевых жанров. Саратов, 1998.

Демьянков В. З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопросы языкоznания. 1994. №4.

Добрушина Е. Р., Меллина Е. А., Пайар Д. Русские приставки: многозначность и семантическое единство. М., 2001.

Дронова Л. П. Языковая история становления оппозиции “свой” – “чужой” и категория оценочности // Европейские исследования в Сибири: Материалы всерос. науч. конф. “Мир и общество в ситуации фронтира: проблема идентичности”. Томск, 2004. Вып. 4.

Дубровина К. Н. Студенческий жаргон // Научная деятельность высшей школы: Филологические науки. 1982. № 1.

Емельянова Н. В. Снятие асемантической полиформии в словообразовательном ряду // Проблемы структурной лингвистики. М., 1988.

Ермоленкина Л. И. Метафорическое моделирование этико-эстетической оценки человека в русских народных говорах: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2003.

Жили да были: Фольклор и обряды томских сибиряков / Собиратель, составитель и автор комментариев П. Е. Бардина. Томск, 1997.

Зеленин Д. К. Современная русская частушка // Заветные частушки из собрания А.Д. Волкова: В 2 т. М., 1999. Т. 2.

Земцовский И. И. Русская протяжная песня. Л., 1967.

Иванцова Е. В. Источниковая база лингвоперсонологии: реальность и стратегии развития // Сибирский филологический журнал. 2005. № 3 – 4.

Ивин А. А. Основания логики оценок. М., 1970.

Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский). Введение // Сравнительный словарь (б – К). М., 1971.

Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М., 2003.

Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М., 2004.

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.

Касевич В. Б. Буддизм. Картина мира. Язык. СПб., 2004.

Катунин Д. А. Метафорические модели времени // Картины русского мира: аксиология в языке и тексте. Томск, 2005.

Каштанова Е. Е. Лингвокультурологические основания русского концепта “любовь” (спектральный анализ): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Свердловск, 1977.

Кириченко А. С. Системные семантические характеристики и область денотации предлога *между*// Исследования по семантике предлогов: Сб. статей. М., 2000.

Королева Ю. В., Лебедева Н. Б. Русские глаголы с приставкой НА- кумулятивно-накопительного способа действия // Явление вариативности в языке: Материалы Всерос. конф. (13 – 15 декабря 1994 г.). Кемерово, 1997.

Красухин К. Г. Дейктические показатели в категориях времени и наклонения (на материале древних индоевро-

пейских языков) // Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность, дейксис. М., 1992.

Красухин К. Г. Три модели индоевропейского времени на материале лексики и грамматики // Логический анализ языка. Язык и время / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова, Т. Е. Янко. М., 1997.

Краткий албанско-русский словарь. 13 000 слов / Сост. Р. Д. Коши, Д. И. Косталлари; Под ред. А. Косталлари. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1951.

Крейдлин Г. Е. Метафора семантических пространств и значение предлога // Вопр. языкоznания. 1994. № 5.

Кронгауз М. А. Глагольная приставка, или координата времени // Логический анализ языка. Язык и время. М., 1997.

Кронгауз М. А. Исследования в области глагольной префиксации: современное положение дел и перспективы // Глагольная префиксация в русском языке. М., 1997.

Кронгауз М. А. Опыт словарного описания приставки от- // Глагольная префиксация в русском языке. М., 1997.

Кронгауз М. А. Приставки и глаголы в русском языке: семантическая грамматика. М., 1998.

Кубрякова Е. С. Глаголы действия через их когнитивные характеристики // Логический анализ языка: Модели действия. М., 1992.

Кубрякова Е. С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика — психология — когнитивная наука // Вопр. языкоznания. 1994. №4.

Куликовский Г. И. Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898.

Кустова Г. И. Типы производных значений и механизмы языкового расширения. М., 2004.

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры: Сб. / Общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской. М., 1990.

Лейвен-Турновцева Й. ван. Панстратические и панточеские аспекты семантизации отклонений от нормы в

стандарте и ион-стандарте европейских языков // Логический анализ языка: Языки этики. М., 2000.

Лекомцев Ю. К. Деревья НС и делимитат структуры по объединению // Проблемы структурной лингвистики. М., 1972.

Леонтьева С. Г. Поэзия пионерских праздников // www.ruthenia.ru/folklor.

Либерис А. Литовско-русский словарь. Вильнюс, 1962.

Логический анализ языка. Языки пространств. М., 2000.

Лотман Ю. М. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // Литературное наследие декабристов: Сб. под ред. В. Г. Базанова и В. Э. Вацуро. Л., 1975.

Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2000.

Лукъянова Н. А. Экспрессивная лексика разговорного употребления. Проблемы семантики. Новосибирск, 1986.

Льюис Г., Педерсен Х. Краткая сравнительная грамматика кельтских языков / Пер. с англ.; Ред., предисл. и примеч. В. Н. Ярцевой. М., 1954.

Мазурова Ю. В. Наречия верха и низа в русском языке // Исследования по семантике предлогов: Сб. статей. М., 2000.

Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М., 2003.

Маляр Т. Н. Пространственные концепты в семантике английских предложно-наречных слов и сочетаний in front (of), ahead (of), behind, beyond // Исследования по семантике предлогов: Сб. статей. М., 2000.

Матвеева С. Я. Субкультура в динамике культуры // Субкультурные объединения молодежи. М., 1987.

Мишанкина Н. А. Метафорические модели звучания // Картины русского мира: аксиология в языке и тексте. Томск, 2005.

Неелов Е. М. Натурфилософия русской волшебной сказки. Петрозаводск, 1989.

Неклюдов С. Ю. Несколько слов о “постфольклоре” // www.ruthenia.ru/folklor.

Никитина С. Е., Кукушкина Е. Ю. Дом в свадебных притчаниях и духовных стихах (опыт тезаурунского описания). М., 2000.

Николаева Т. М. Качественные прилагательные и отражение “картины мира” // Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии. М., 1983.

Новикова Л. А. Деминутивы существительных как производное основы и суффикса: Статья 1 // Информация и языковой знак. Тюмень, 1979.

Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Сост. Ю. Д. Апресян и др. М., 2000. Вып. 1 – 2.

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992.

Парибок А. В. О методологических основаниях индийской лингвистики // История лингвистических учений: Средневековый восток. Л., 1981.

Пеньковский А. Б. Очерки по русской семантике. М., 2004.

Петроченко М. Н. Семантический компонент “свой / чужой” в фольклорном и диалектном бытовом текстах: Дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2005.

Пименова М. В. Этногерменевтика языковой наивной картины внутреннего мира человека. Кемерово, 1999.

Писанова Т. В. Национально-культурные аспекты оценочной семантики (эстетическая и этическая оценки): Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1997.

Платонова А. Е. Культурология: Учеб. пособие для высшей школы. М., 2003.

Плунгян В. А., Рахилина Е. В. Полисемия служебных слов: предлоги *через* и *сквозь* // Русистика сегодня. 1996. № 3.

Плунгян В. А., Рахилина Е. В. По поводу “локалистской” концепции значения: предлог ПОД- // Исследования по семантике предлогов: Сб. статей. М., 2000.

Попов Р. Н. Орловская лингвистическая школа // Образование и общество. 2001. № 4 (10) // http://www.education.rekom.ru/4_2001/popow.html.

Постовалова В. И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М., 1988.

Потаенко Н. А. Время в языке (опыт комплексного описания) // Логический анализ языка. Язык и время / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова, Т. Е. Янко. М., 1997.

Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура / Ред. АН. Музей антроп. и этнограф. им. Петра Великого (КУНСТКАМЕРА); Отв. ред. А. С. Мыльников. СПб., 1994.

Пропп В. Я. Поэтика фольклора: Собр. трудов / Ред. Г. Н. Шелогурова; Сост., предисл. и comment. А. Н. Мартыновой. М., 1998.

Пропп В. Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. М., 1976.

Рахманова Л. И. Стилистические и лексико-грамматические особенности размерно-оценочных существительных в современном русском языке // Учен. зап. МГПИИЯ. 1971. Т. 58.

Резанова З. И. Концептуальные метафорические модели “человек это мир” и “мир это человек”: к проблеме обратимости (на материале сибирских русских народных говоров) // Актуальные проблемы русистики. Языковые аспекты регионального существования человека. Томск, 2006. Вып. 3.

Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М., 1988.

Русская грамматика: В 2 т. / Под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1980. Т. 1.

Рябцева Н. К. Размер и количество в языковой картине мира // Логический анализ языка: Языки пространств / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова, И. Б. Левотина. М., 2000.

Рябцева Н. К. Этические знания и их “предметное” воплощение // Логический анализ языка: Языки этики. М., 2000.

Садова Т. С. Народная примета как текст и проблемы лингвистики фольклорного текста: Дис. ... докт. филол. наук. СПб., 2004.

Седов А. Е. Метафоры в генетике // Вестник Российской академии наук. 2000. Т. 70, № 6.

Селиверстова О. Н. Семантическая структура предлога НА // Исследования по семантике предлогов: Сб. статей. М., 2000.

Семенова С. Ю. О некоторых свойствах имен пространственных параметров // Логический анализ языка:

Языки пространств / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова, И. Б. Левотина. М., 2000.

Семерены О. Введение в сравнительное языкознание / Пер. с нем. Б. А. Абрамова; Под ред. и с предисл. Н. С. Чемоданова. М., 1980.

Серио П. Структура и целостность. Об интеллектуальных истоках структурализма в Центральной и Восточной Европе. 1920 – 30-е гг. М., 2001.

Скребцова Т. Г. Американская школа когнитивной лингвистики / Послесл. Н. Л. Сухачева. СПб., 2000.

Словарь иностранных слов. М., 1989.

Словарь русского языка: В 4 т. / Гл. ред. А. П. Евгеньева. 2-е изд., испр., доп. М., 1981 – 1984.

Словарь русского языка XI – XVII вв. М., 1975. Вып. 1.

Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Филин (Вып. 1 – 23), Ф. П. Сороколетов (Вып. 24 – 37). Л.; СПб., 1965 – 2003.

Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби (Дополнение): В 2 т. / Под ред. О. И. Блиновой, В. В. Палагиной. Томск, 1974 – 1975.

Словарь синонимов русского языка / Ред. А. П. Евгеньева. Л., 1970 – 1971. Т. 1 – 2.

Соболева П. А. Синонимия в словообразовательном гнезде // Проблемы структурной лингвистики. М., 1988.

Спиридонова Н. Ф. Язык и восприятие: семантика качественных прилагательных: Дис. ... канд. филол. наук. М., 2000.

Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка. М., 1985.

Степанов Ю. С. Счёт, имена чисел, алфавитные знаки чисел в индоевропейских языках // ВЯ. 1989. № 4 – 5.

Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997.

Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры: 2-е изд., испр. и доп. М., 2001.

Сяшкович Т. Ф. Слоунік Гродзенской вобласці. Мінск, 1983.

Телия В.Н. О различии рациональной и эмотивной (эмоциональной) оценки// Функциональная семантика. М., 1990.

Теория функциональной грамматики: Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность. СПб., 1996.

Тлумачальны слоунік беларускай мовы / Под ред. К. К. Атраховича (Кандрата Крапивы). Мінск: Галоуная редакцыя Беларускай савецкай энцыклапедыі, 1977 – 1984. Т. 1 – 5.

Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. проф. Д. Ушакова. М., 1996. Т. 1.

Толстая С.М. Аксиология времени в славянской народной культуре // История и культура: Тезисы. М., 1991.

Толстая С.М. Верbalные ритуалы в славянской народной культуре // Логический анализ языка: Язык речевых действий. М., 1994.

372

Толстая С.М. Славянские народные представления о смерти в зеркале фразеологии // Фразеология в контексте культуры. М., 1999.

Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М.. 1995.

Толстой Н.И. Времени магический круг (по представлениям славян) // Логический анализ языка. Язык и время / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова, Т. Е. Янко. М., 1997.

Толстой Н.И. Язык и культура // Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1999.

Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983.

Топоров В. Н. Мост // Миры народов мира: Энциклопедия: В 2 т. / Под ред. С. А. Токарева. 2-е изд. М., 1997. Т. 2.

Топоров В. Н. Общие проблемы этимологии и некоторые смежные проблемы // Топоров В. Н. Исследования по этимологии и семантике. Т. 1: Теория и некоторые частные ее приложения. М., 2005.

Уорф Б. Л. Отношение норм поведения к языку // <http://www.philosophy.ru/library/whorf/01.html>

Урысон Е. В. Эстетическая оценка тела человека в русском языке // Логический анализ языка: Концептуальные поля прекрасного и безобразного / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова. М., 2004.

Успенский Б. А. История и семиотика (восприятие времени как семиотическая проблема). Статья вторая // Труды по знаковым системам. XXIII. Тарту, 1989.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1964 – 1973.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. 2-е изд., стер. / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачёва. М., 1986 – 1987. Т. 1 – 4.

Философская энциклопедия. М., 1967.

Философский энциклопедический словарь. М., 2003.

Фрейденберг. <http://cultinfo.ru/cat/WebCat.dll/1>

Ханютин А. Школьный рукописный альбом-песенник: новый успех старого жанра // Массовый успех. М., 1989.

Хроленко А. Т. Семантика народно-песенного слова. Курск, 1990.

Цивьян Т. В. К семантике пространственных элементов в волшебной сказке // Типологические исследования по фольклору: Сб. ст. памяти В. Я. Проппа. М., 1975.

Цивьян Т. В. Дом в фольклорной модели мира (на материале балканских загадок) // Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та. Вып. 463. Труды по знаковым системам. Х. Тарту, 1978.

Цивьян Т. В. Лингвистические основы балканской модели мира / Ин-т славяноведения и балканстики. М., 1990.

Цивьян Т. В. Модель мира и ее роль в создании (аван)текста // www.ruthenia.ru/folklore

Черванева В. А., Артеменко Е. Б. Пространство и время в фольклорно-языковой картине мира. Воронеж, 2004.

Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. М., 1994.

Чернышевский Н. Г. Эстетика. М., 1958.

Шаумян С. К., Лекомцев Ю. К. Алгебраические аспекты аппликативной грамматики // Проблемы структурной лингвистики. М., 1972

Шмелев А. Д. Русская языковая картина мира: Материалы к словарю. М., 2002.

Шмелев А. Д. Русский язык и внеязыковая действительность. М., 2002.

Шумов К. Э. “Эротические” студенческие граффити // Секс и эротика в русской традиционной культуре. М., 1996.

Шумов К. Э. Студенческие традиции // Современный городской фольклор. М., 2003.

Щепанская Т. Б. Традиции городских субкультур // Современный городской фольклор. М., 2003.

Эдельман Д. И. Иранские и славянские языки: Исторические отношения. М., 2002.

Эмер Ю. А. Растительный мир в языке фольклора // Актуальные проблемы лингвистики: Материалы региональной конференции молодых ученых “Актуальные проблемы лингвистики, литературоведения и журналистики” (24 марта 2000 г.). Томск, 2001.

Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд / Ред. О. Н. Трубачёв. М., 1974 – 2002.

Этимологический словарь тюркских языков / Отв. ред. Г. Ф. Благова. М., 1997. Вып. 1.

Этимологический словарь украинского языка / Сост. Р. В. Болдырев и др. Киев, 1982 – 1989. Т. 1 – 7.

Юнаковская А. А. Омское городское просторечие: Фразеология: Словарь. Омск, 2004.

Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998.

Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира: модели пространства, времени, восприятия. М., 1994.

Яковлева Е. С. Пространство умозрения и его выражение в русском языке // Логический анализ языка. Языки пространств. М., 2000.

Якобсон Р. О. О русском фольклоре // Якобсон Р. Язык и бессознательное. М., 1996.

Bader F. Etydes del composition nominale en micenien. 1: Les prefixes melioratifs du Grec. Roma, 1969.

Buck A. D. A dictionary of selected synonyms in the principal indo-european languages. Chicago, 1949.

Etymologisches Wörterbuch der Deutschen / W. Pfeifer etc. 1–2 Bde. Berlin, 1993.

Friedrich J. Einige hethitische Etymologien // Indogermanische Forschung, 1923. Bd. 41.

Frisk Hj. Griechisches etymologisches Wörterbuch. 1 – 2 Bde. Heidelberg, 1954 – 1963. Bd. 1.

Lehmann W. P. A gothic etymological dictionary. Leiden: E.J.Brill, 1986.

Machek V. Etymologický slovník jazyka èeského a slovenského. Praha: Nakladatelství èeskoslovenské Akademie, 1957.

Mayrhofer M. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Heidelberg, 1953 – 1964. Bd. 1 – 3.

Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch des slavischen sprachen. Wien, 1886.

Paul H. Deutsches Wörterbuch. 9, vollst. neu bearb. Aufl. Tübingen: Niemeyer, 1992.

Pokorný J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.

Schwyzer E. Die altindischen und altiranischen Wörter für gut und böse // Festgabe Adolf Kaegi von Schülern und Freunden dargebracht zum 30. September 1919. Frauenfeld, 1919.

Skok P. Etimologijski rjeènik hrvatskoga ili srpskoga jeziaka. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1973. T. 1-3.

Walde A. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 3-te, neubearb. Aufl. von Hofmann J. B. Bd. 1 – 2. Heidelberg, 1938 – 1954.

Walde A. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, hgb. J. Pokorný. 3 Bde. Berlin; Leipzig, 1928 – 1932.

ОБ АВТОРАХ

Гынгазова Людмила Георгиевна — доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка филологического факультета Томского государственного университета.

Основные научные интересы (о.н.и.): лексикография, когнитивная семантика, лингвокультурология, диалектология.

E-mail: 4749@mail.tomsknet.ru

Дронова Любовь Петровна — доцент, доктор филологических наук, доцент кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета.

О.н.и.: сравнительно-историческое, типологическое языкознание, семантика, языковые контакты.

E-mail: lpdronova@mail.ru

Ермоленкина Лариса Ивановна — кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и истории языка Томского государственного педагогического университета.

О.н.и.: метафорическое моделирование в различных типах дискурсивных практик; социолингвистические исследования.

E-mail: arblar2004@rambler.ru

Катунин Дмитрий Анатольевич — кандидат филологических наук, доцент кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета.

О.н.и.: миромоделирующий потенциал языка, социолингвистические исследования (языковая политика).

E-mail: katunin@mail.tsu.ru, katunin@newsman.tsu.ru

Королева Юлия Вадимовна — доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего, славяно-русского языкоznания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета.

О.н.и.: семантика славянского глагола.

E-mail: klassika4@yandex.ru

Порядина Рита Николаевна — доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего, славяно-русского языкоznания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета.

О.н.и.: языковая семантика, коммуникативная и когнитивная лингвистика, языковая картина мира.

E-mail: dimvike@mail.ru

377

Резанова Зоя Ивановна — профессор, доктор филологических наук, зав. кафедрой общего, славяно-русского языкоznания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета.

О.н.и.: русская дериватология, история языкоznания, когнитивистика, теория метафоры, анализ дискурса.

E-mail: resso@rambler.ru

Толстик Светлана Александровна — кандидат филологических наук, доцент кафедры общего, славяно-русского языкоznания и классичес-

кой филологии филологического факультета Томского государственного университета.

О.н.и.: Этимология, историческая лексикология, лингвокультурология.

E-mail: stolstik@mail.ru

Тубалова Инна Витальевна — доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета.

О.н.и.: лингвофольклористика, когнитивная лингвистика, текстообразование.

E-mail: katunin@newsman.tsu.ru

Эмер Юлия Антоновна — доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии филологического факультета Томского государственного университета.

О.н.и.: лингвофольклористика, функциональное словообразование, когнитивная лингвистика.

E-mail: julika71@mail.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

380

Предисловие	5
1. Пространственные модели мира	
1.1. Дискурсивные модели пространства	
1.1.1. Духовный мир в образах пространства (<i>Порядина Р. Н.</i>)	11
1.1.2. Физическое и духовное пространство в дискурсе носителя традиционной культуры (<i>Гынгазова Л. Г.</i>)	78
1.1.3. Фольклорный текст: пространственная организация жанра (<i>Эмер Ю. А.</i>)	110
1.1.4. Пространственная организация праздничного дискурса (<i>Тубалова И. В.</i> , <i>Эмер Ю. А.</i>)	152
1.2. Языковые модели пространства	
1.2.1. Категория пространства и способы ее трансформации в языке (на материале русских глагольных префиксов) (<i>Королева Ю. В.</i>)	188
1.2.2. Образ пространства: далекий и близкий (<i>Дронова Л. П.</i>)	226

1.2.3. Русский параметрический образ внешности: концепт 'худой' в синхронии и диахронии (<i>Толстик С. А.</i>)	243
2. Метафорическое моделирование пространства	
2.1. Пространственные аспекты метафорических характеристик времени в русской языковой картине мира (<i>Катунин Д. А.</i>)	263
2.2. Пространственные метафорические модели этико-эстетической оценки (<i>Ермоленкина Л. И.</i>)	296
2.3. Пространственные метафоры в лингвистическом тексте (<i>Резанова З. И.</i>)	326
Annotations	381
Литература	357
Об авторах	361
	376

Картины русского мира: пространственные модели в языке и тексте

Порядина Рита Николаевна, Гынгазова Людмила Георгиевна,
Эмер Юлия Антоновна, Тубалова Инна Витальевна,
Королева Юлия Вадимовна, Дронова Любовь Петровна,
Толстик Светлана Александровна, Катунин Дмитрий Анатольевич,
Ермоленкина Лариса Ивановна, Резанова Зоя Ивановна

Редактор *Д. А. Катунин*

Корректор *Е. В. Лукина*

Компьютерная верстка *В. Е. Куприянов*

Подписано в печать 07.11.07. Формат 84x108 1/32.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Petersburg.
Усл. п. л. 26,0. Уч.-изд. л. 24,0. Тираж 1000 экз.
Заказ 98 – 13.11.07

Издательство «UFO-Plus»:
Россия, 634060, г. Томск, ул. К. Маркса, 19.
E-mail: ufoprint@mail.ru